

ЮРИЙ
ДРУЖНИКОВ

6

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

6



Юрий Дружников

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 6



YURI DRUZHNIKOV

**Collected Works
in Six Volumes**

Volume Six

**Essays
Memoirs
Interviews
Notebooks**

**Baltimore
1998**

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

**Собрание сочинений
в шести томах**

Том шестой

**Публицистика
Воспоминания
Интервью
Заметки**

**Балтимор
1998**

YURI DRUZHNIKOV
COLLECTED WORKS IN SIX VOLUMES

Volume Six

Russian edition

Copyright © Yuri Druzhnikov
All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Druzhnikov, Yuri, 1933 — Collected Works in Six Volumes
Sobranie sochinenii v shesti tomakh / Yuri Druzhnikov

Volume One. Micronovels and Short Stories.
Volume Two. Angels on the Head of a Pin.
Volume Three. Prisoner of Russia (Pushkin).
Volume Four. Literary Criticism. Informer 001.
Volume Five. Prose and Plays for Children.
Volume Six. Essays. Memoirs.
p. cm.

Includes an Introduction (Volume One), bibliographical references and index.

ISBN 1-885563-16-7 (set)

ISBN 1-885563-15-9 (v.6)

1. Russian literature—Fiction. 2. Russia—XIX—XX century History.

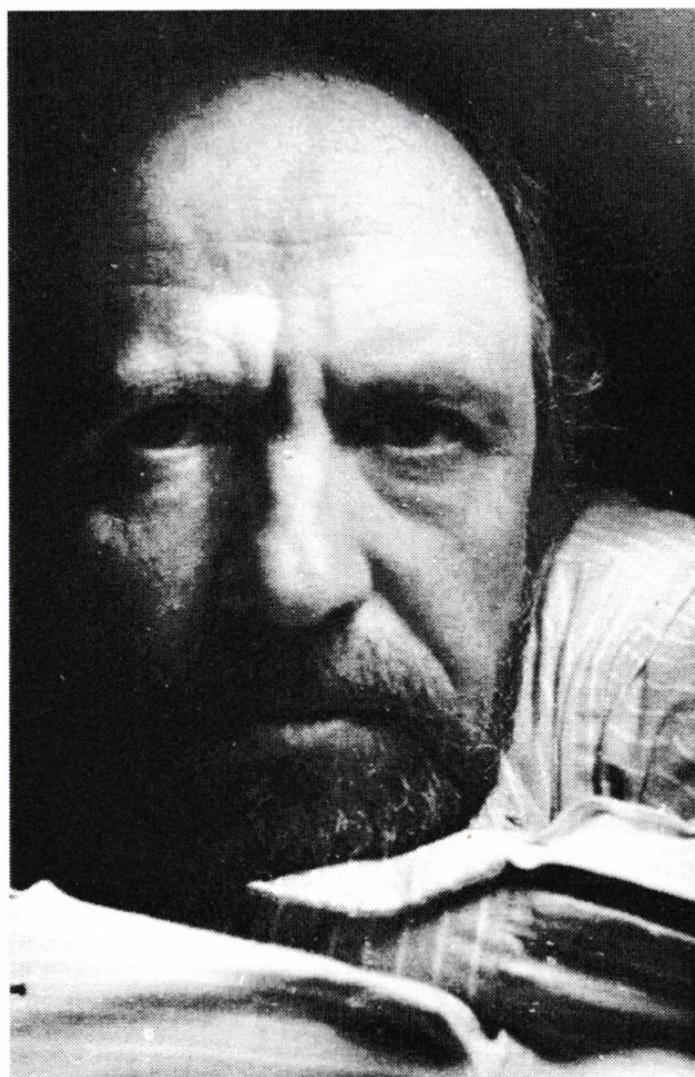
3. Russian writers—Literary criticism.

I. Title. II. Title: Sobranie Sochinenii.

PG3350.5.J68D78 1998
891.71'44--dc20 98-60549
CIP

Published by VIA Press
6100 Park Heights Ave
Baltimore, MD 21215
tel.(410) 358-0900

Manufactured in the United States of America



**ЭССЕ,
ФЕЛЬЕТОНЫ,
ВОСПОМИНАНИЯ**



Иллюстрации Линдетса Линдха к эссе Дружникова «Я родился в очереди» в шведской газете «Экспрессен» (1979).

Я РОДИЛСЯ В ОЧЕРЕДИ

Так уж получилось, что я действительно родился в очереди.

Мою мать привезли в родильный дом у Яузских ворот в Москве, который сохранился по сию пору. Мать стояла в длинной очереди к регистраторше. Схватки начались еще дома, и причиной этих схваток было мое непреодолимое желание появиться на свет. К несчастью, мать забыла захватить паспорт, и отец что было сил помчался за ним обратно домой. И хотя отец чуть не стал чемпионом в беге на длинную дистанцию, к тому времени, когда он вернулся, я уже родился.

С тех пор очередь стала неотъемлемой частью моего существования. Или, точнее, я стал частью огромного живого организма, который называется очередью. Ежедневно я стоял в очередях за хлебом, за стаканом воды, чтобы купить рубашку или ботинки, за учебниками и тетрадями, за паспортом и военным билетом, чтобы подать документы в институт, чтобы взять книгу в библиотеке, залечить зуб, жениться, развестись.

Мальчишкой я узнал об очередях на арест. Мужчины и женщины укладывали в чемоданчики нижнее белье, сухари и проводили ночи без сна, ожидая, когда за ними придут. Тогда наступал черед другой очереди – на расследование их дела. После суда – очередь на отправку в пересылку, а там очередь в лагерь. В лагере тоже свои очереди: за нарядом на работу, за пайкой хлеба, за кружкой воды.

Вообще, мы, русские, очереди обожаем.

Если вы писатель и хотели бы стать членом Союза писателей, станьте в очередь. Я ждал своей очереди шесть лет. Долгие годы мои рукописи лежали в издательствах. Некоторые выходили, другие ждут своей очереди по сей день.

Когда писатель умирает, некролог о нем ожидает очереди на публикацию. Райком или горком партии решают, опубликовать несколько слов прощания или нет в зависимости от того, хорошего или плохого поведения был покойник. Иной раз уж и на похоронах отговорили и отплакали, а некролога все нет. Очередь умершего не дошла до тех, кто командует: разрешить сообщить о похоронах в газете или нет. Московская газета «Вечерняя Москва» обычно печатает объявление о смерти в пропорции: два русских к одному еврею. Поглядите на четвертую страницу. Там соблюдается следующий порядок: мертвый русский сверху, мертвый еврей – под ним. И в этой очереди Великая нация, Старший брат – всегда выше, всегда впереди.

Впрочем, прошу прощения: мысли о смерти появились в моей голове без очереди, поэтому вернемся к живым очередям.

У нас привычно стоять в очередях за всем. Мы не можем себе представить иной жизни. Всегда и всюду стоим мы в очереди. Стоим за билетом на новый фильм. И стоим, чтобы посмотреть старый. Моя дочь хотела увидеть американскую картину тридцатых годов на английском языке. Это можно было сделать только в специальном кинотеатре, достав билет за месяц до просмотра. Она стояла в очереди шесть часов и вернулась в слезах: в очереди все чуть не передрались из-за билетов, ругань висела в воздухе, а в толпе началась давка.

Если приезжий из провинции спешит увидеть тело Ленина и занимает очередь в мавзолее до восхода солнца, к вечеру он будет свободен: здесь строгий порядок, специальные люди подбадривают задержавшихся на секунду, и километровая очередь движется быстро.

Чтобы перебраться из коммунальной квартиры с соседями и общей кухней в отдельную, я ждал очереди тринадцать лет. Записался на холодильник и получил его через три года. После семи лет ожидания в очереди на автомобиль я получил открытку: «№83746, гр. Дружников, немедленно внесите деньги за автомашину. Если они не будут уплачены до 7.30 вечера, вы лишитесь права на приобретение автомобиля».

Уплатив деньги, я почему-то ждал еще три месяца. Наконец, наступил счастливый миг: я выехал за ворота на собственном «Москвиче». Через два квартала машина остановилась. Домой я не приехал, ночевал в машине. Мне сказали, что на гарантийный ремонт, который будут делать утром, надо занимать очередь с вечера. Когда машину отремонтировали, я прежде всего поехал занимать очередь за новыми покрышками, которая предполагалась года на четыре. Благодаря такой предпримчивости, мне удалось купить новые шины как раз тогда, когда уже нельзя стало ездить на старых.

Но даже если ваша очередь подошла, это еще не значит, что ожиданиям конец. Однажды в поезде я разговорился с женщиной из Казани. Она ждала своей очереди на установку телефона, при этом вот уже тринадцать лет ей говорили, что ее номер – первый. Догадываетесь, почему?

Фрукты между октябрём и июнем я вижу только у себя на кухне. Их много здесь: огурцы, помидоры, спаржа, виноград, клубника, помидоры. Они выглядят очень свежими и сочными на листках иностранного календаря с картинками, который мне подарили американские друзья. Очередей за фруктами почти нет, потому что фрукты в магазинах бывают редко. Но одно время, уж не знаю почему, в магазинах было много моркови. Я пошел и встал в очередь за соковыжималкой. Когда я ее, наконец, купил, морковь из магазинов исчезла, и было не ясно, из чего выжимать сок. Неожиданно появился картофель, надо срочно выяснить, нельзя ли вместо морковного сока пить картофельный?

Любая женщина у нас знает: если в магазине нету очереди – нечего туда и заходить, там ничего нет. Но часто бывает, что ничего в магазине нет, а очередь стоит. Спозаранку бабушки занимают места возле входа.

- Чего выбросили?
- Ничего, милоч, – охотно отвечает бабушка.
- А тогда чего же вы ждете?
- Дак ведь, может, чего-нибудь выбросят...

Очереди формируют определенные жизненные навыки. Стоять в очереди – самоценная деятельность. Случайно подслушал разговор:

– Вчера в нашем промтоварном очередь была. Я встала, полдня стояла.

- Чего взяла?
- Ничего не взяла.
- Кончилось?
- Да нет, так поглядела и раздумала...

Не имело значения, что давали, важно было – стоять.

Стояние в очереди требует особого опыта. Мы изучаем эту мудрую науку с детства: без нее нельзя выжить. Есть женщины, ухитряющиеся быть в шести очередях в трех магазинах, двух палатках и на рынке одновременно. И в каждой очереди такая особа возникает точно в момент, когда начинают выдавать. Это, несомненно, еще и особый талант.

Высшая степень искусства, однако, заключается в том, чтобы достать все, что нужно, вообще не простояв в очередях.

Однажды приятель позвонил мне и радостно сообщил:

- Слыхал? Выбросили Мандельштама.

Я схватил такси и через двадцать минут уже ввинчивался в толпу, осаждавшую книжную лавку только для членов Союза писателей на Кузнецком мосту. Дежурный общественник, полюбив карандаш, написал на моей ладони номер 384. Через пять часов действительно привезли однотомник Осипа Мандельштама, и он появился на прилавке. Но мне он не достался. Последний экземпляр схватил человек впереди меня с написанным на ладони номером 381.

Интересно, что о продаже стихотворений Мандельштама, который был убит в лагерной очереди за куском хлеба и потом несколько десятков лет был у нас под запретом, никаких объявлений не делалось, но все мы как-то об этом пронюхали. А секретари Союза писателей и члены парткома о продаже не знали, но им сообщили. Они тихо заезжали в книжную лавку на следующий день, и продавец с каменным лицом вытаскивал каждому начальнику по томику Мандельштама, заранее завернутому в бумагу, чтобы рядовые писатели (не говоря уж о читателях) этого не видели.

Во многих местах написано, что депутаты и герои Советского Союза обслуживаются вне очереди. Что касается начальства, для него всё распределяется без очереди по особым каналам в зависимости от высоты положения каждого. На определенном уровне их шоферы и секретари отправляются в закрытые распределители и там закупают всё по особым спискам.

Начальники заняты заботами о нашем счастливом будущем, и им некогда стоять в очередях. И, конечно, для того, чтобы думать о нашем будущем, начальникам нужно лучше питаться, им нужны особые продукты.

Что касается нас, мы – люди простые. Мы стоим в простых очередях за простой картошкой.

Очередь – явление вечное, спешить в ней ни к чему. Когда надо будет, она сама подойдет, если вы еще останетесь в живых. Впрочем, право стоять в долгой очереди передается по наследству, и это одно из достижений нашей замечательной системы. Если умер отец, его сын, представив соответствующие документы, может продолжить дело отца и ждать нужную вещь, приходя в магазин раз в месяц на переключку.

Однажды чужестранец, идя со мной по Москве, воскликнул:

– Но почему? Почему вообще существуют эти очереди?! Разве у вас недостаточно населения, чтобы нанять трех продавщиц туда, где стоит одна?

– Продавщиц-то, конечно, хватит! Но, видите ли, три продавщицы продадут весь запас колбасы за полчаса. И что тогда они будут делать остальную часть дня?

Я думаю, кое-кто у нас заинтересован в сохранении очередей. У физиков есть такой термин: диссипация, то есть рассеяние энергии. Это когда энергия куда-то девается. Не ведаю, знают ли физики, куда именно, но наши власти знают очень хорошо. Очередь есть весьма хитроумное и удачное нововведение в области рассеяния человеческой энергии. Представьте себе жизнь без очередей. Это очень опасно для государства. Чем люди заполнят день, если не придется стоять в очередях? О чем начнут думать? Что им захочется делать? В сущности, очередь – это огромная государственная соковыжималка.

Очередь есть суть и единственный способ существования российского человека от рождения до смерти. Вся Россия стоит в очереди за лучшей жизнью, и другого не дано. Писатели стоят в очереди и после смерти, ждут признания, издания своих книг, – за примерами ходить недалеко.

Что касается советских газет, то они с удовольствием общаются об очередях на Западе. Когда там был энергетический кризис, у нас охотно печатали фотографии с очередями авто-

мобилей у бензоколонок. Злые языки тогда говорили, что эти фото снимают в Москве, исхитряясь, чтобы не было видно зданий, марок автомобилей и подробностей. Но так или иначе, очереди на Западе тоже бывают, и мы горды, что в этом тоже стоим впереди других стран и что другие страны заимствуют достижения советской цивилизации.

Однажды в очереди я услышал, как человек, простой русский работяга, сказал:

– Часа два простоишь, так не то что в Израиль – к китайцам согласишься уехать!

Я и сам устал стоять в очередях. И хотя жаль было не достоять в очереди в издательстве и увидеть вышедшей свою книгу, я отправился в ОВИР.

Тут, за визами за границу, множество видимых и невидимых очередей. Шесть месяцев я ждал в очереди только для того, чтобы услышать одно слово: «Отказано». С тех пор я стою в очереди и уже намотал на ус то же слово много раз. Иногда здесь слышен шепот новичка:

– Кто последний в очереди за свободой? Я за вами!

Эта очередь – своеобразный клуб, где нет иных развлечений, кроме рассказывания и выслушивания самых разнообразных слухов. Говорят, например, что тех, кто не хочет уезжать, будут заставлять уехать, а тех, кто хочет уехать, будут держать в очереди вечно.

Вчера я встретил приятеля. Это произошло в маленьком переулке возле ГУМа – универсама в центре Москвы. Мы остановились поболтать. Неподалеку змеилась длинная очередь к двери с надписью «Ж». Сотни две девочек, женщин, старух подпрыгивали в нетерпении. Вдруг наш разговор прервала леда средних лет с бегающими глазами.

– Вы последний? – воскликнула она.

– Я?!..

Но не ожидая ответа, она крикнула:

– Я за вами!

И приняла позу бегуна на старте.

Москва, 1978.

ЛИКВИДАЦИЯ ПИСАТЕЛЯ №8552

В Москве исчез писатель, и довольно долго это оставалось незаметным. Писатель ведь – не актер, не бизнесмен и не политик. С утра до ночи он дома, за машинкой, в одиночестве. Возможно даже, не подходит к телефону. Одиночество пока все еще самое лучшее средство, чтобы писать. Исчез писатель, и читатели полагали, что он сочиняет новый роман. Наиболее циничные коллеги жалели: небось, сменил чай на водку и спивается, как все.

Сам писатель, однако, некоторое время и не подозревал, что он исчез. Но однажды на улице его остановил критик и удивился:

– А вы разве не умерли в прошлом году?

– Насколько мне известно, нет, – ответил писатель.

– Тогда почему же мне велели вычеркнуть ваше имя из анализа литературного процесса этого года?

Потом писателю позвонила библиотекаря, добрая и умная, которая организовывала его встречи с читателями по меньшей мере пятьдесят раз. Ее скрипучий голосок он сразу узнал.

– Я звоню из автомата, – затараторила она. – По имени меня не называйте. Пришло указание все ваши книги изъять и сжечь. Ну, в общем... я их потихоньку самым старым читателям раздала... А что там у вас случилось?..

Книги писателя исчезли из магазинов. Имя перестало появляться на страницах газет и журналов. Голос его, до этого регулярно звучавший в популярной радиопередаче «Взрослым

– о детях», умолк. Немного спустя ликвидированный писатель услышал свое собственное имя в фойе Центрального дома литераторов. Незнакомый человек произнес:

– Слыхали новость? Ну, конечно, он уже в Америке. Еще один!

Писатель и не знал, что он уже живет в Америке. Он пошел в поликлинику в Москве лечить зуб. Но главный врач поликлиники сказал, что он получил указание больше не лечить ни его, ни его семью.

– Вы хотите, чтобы я стал беззубым?

– Не я хочу, а я не хочу! Я не хочу себе неприятностей.

Странные события между тем продолжались. Новый юмористический роман писателя «Каникулы по-человечески» в издательстве «Советская Россия» был снят с печатных машин. Писателю шепотом сказали, что это было сделано «по звонку оттуда». Книга прозы «Тридцатое февраля» в издательстве «Советский писатель» и сборник рассказов «Зайцемобиль» в издательстве «Московский рабочий» также мистически исчезли, и автор не смог получить не только деньги за свои труды, но и рукописи. Последних, как ему объяснили, не могут найти.

Немного времени спустя приятель прилетел из Астрахани, красивого города в устье Волги. Он был свидетелем странного эпизода. Ранним утром вдоль набережной шли две женщины в черных халатах и длинными ножами соскребали со щитов театральные афиши с именем исчезнувшего писателя и вполне невинным названием его комедии «Учитель влюбился».

Теперь писатель и сам начал сомневаться в своем собственном существовании. Он был абсолютно уверен, что он еще не живет в Америке. Но оказалось, он не живет и в Москве. Тогда где же он?

Несуществующий человек был раньше весьма популярной темой русской литературы. Гоголевский герой, путешествуя по России, скупал мертвые души. Толстой вывел на сцену живой труп. Тынянов нарисовал подпоручика Кижэ. Но теперь живого писателя сделали чем-то вроде вышедших из моды литературных героев. Он стал мертвой душой, живым трупом и подпоручиком Кижэ. Новизна ситуации состояла в том, что как писатель человек был полностью ликвидирован, но физически еще кое-как существовал.

И в том, и в другом я был абсолютно уверен, потому что я сам оказался этим исчезнувшим писателем. Ликвидировали меня самого.

Любопытным было то обстоятельство, что Союз писателей не посылал мне никаких бумаг об исключении. Последним было письмо с благодарностью за большую общественную работу в писательской организации, – за то, что я работал с молодыми писателями. Но это было «до». Что же делать теперь?

Решил я играть в наивность: отправил письмо Георгию Маркову, первому секретарю Союза писателей. Исключен я или нет? И если исключен, то на каком юридическом основании? А если нет, почему меня лишили права заниматься своей профессией?

Ответа я не получил. Видимо, поскольку Союз уже ликвидировал писателя №8552, отвечать теперь было некому.

Тогда я поплелся выяснить, что происходит. Бдительные дежурные у входа в Центральный дом литераторов сразу узнали меня и не пустили в дверь.

Но почему?

Велено сказать, сами догадаетесь, почему.

На деле чего уж тут догадываться? Ведь кое-кого и до меня исключали. Номер моего членского билета 8552 есть, в сущности, мой порядковый номер в списках со времени создания единого Союза советских писателей в 1934 году. Список литераторов, исключенных из Союза за это время, содержит самые известные в русской литературе имена. Парадокс в том, что именно исключенные писатели, такие как Ахматова, Зощенко, Пастернак, Солженицын (список можно продолжать долго), и составляют золотую сокровищницу современной русской литературы. А писатели, которые их исключали, напрочь забыты. Циники утверждают: для того и принимают в Союз писателей, чтобы человек остерегался, что его исключат, и писал то, что желательно. Периодически изгонять некоторых для примера просто необходимо, чтобы другие, те, кого еще пока не исключили, тоже боялись.

Но если так, зачем они сделали это тайно не только от других, но и от меня самого? Других исключали с шумом, а тут тишина. Такой случай произошел впервые. Раньше всегда

исключения проводились официально. Исключенных писателей называли врагами, идеологическими диверсантами, агентами ЦРУ и клеймили в газетах публично. Теперь ввели новые порядки, с их точки зрения, более гуманные.

Исключение, начиная с меня, – секретная операция. Официально больше не третируют, газеты молчат, все шито-крыто. Союз писателей стал настолько секретной организацией, что рядовому члену не положено знать, состоит он в Союзе писателей или уже нет. Слухи, однако, исправно циркулируют, видимо, чтобы другие писатели не вздумали перестать бояться.

Благодаря дружбе с Неизвестным Солдатом (так мы теперь говорим, если не хотим называть имя), я узнал, что на закрытом собрании Московской писательской организации первый секретарь доложил собравшимся, что данный писатель встал на путь измены своему народу. За ликвидацию меня как писателя проголосовали в едином порыве все секретари и члены правления.

Обвинение в измене, позвольте вам сказать, не анекдот, за него по советскому Уголовному кодексу грозит смертная казнь. У меня оказалось достаточно времени, чтобы обдумать свое преступление. Согласно какой логике эмиграция приравнивается к измене? Каким образом я изменил своему народу? Я русский писатель, частица русской культуры, истории и литературы, где бы я ни жил.

– Скажу тебе по секрету, – оглянувшись, сказал мне в конце концов в неофициальной беседе на улице один из руководителей Союза писателей. – Наверху недовольны тем, что происходит.

Я сделал изумленное лицо.

– А что происходит?

– Ну, утечка культуры, потеря мозгов – называй как хочешь. Надо сдерживать поток. Ты только себе портишь тем, что шумишь, на Западе печатаешься. За это, между прочим, сажают. Молчи – и тебя скорее выпустят.

– Но если они так ценят мой мозг, почему мне не дают публиковаться?

– Твой мозг уже не ценят, – просто сказал он. – У тебя теперь не наш мозг. И сам факт, что такое происходит, нашему руководству неприятен. Зачем же его афишировать?

– Понимаю: я засекречен. Исключение из Союза писателей – государственный секрет. Что бы я ни написал, печатать нельзя: тайна. А как же мое право на труд?

– Ой! – он застонал, будто у него заболел зуб. – Слушай, не употребляй ты этого антисоветского слова «право»!

– Значит, печататься мне здесь не дадут. Что же мне остается? Писать детские рассказы для Самиздата?

– Ш-ш-ш! Только навредишь себе такими разговорами. Лучше всего – молчи!

В наивном девятнадцатом веке считали, что русский писатель по сути своей человек, главная задача которого говорить правду, как он ее понимает. Союз писателей устами своего руководства изрек свою последнюю директиву: главная задача писателя – молчать.

Теперь придется в соответствии с новыми требованиями секретности усовершенствовать литературные жанры. Секретный роман: его разрешается читать только одному читателю – цензору. Совершенно секретная комедия: зрители смотрят ее, а занавес при этом закрыт. Совершенно секретные, особой важности стихи: поэт открывает рот, но не произносит звуков – как рыба в воде.

Раньше разыскивали врагов среди своих и поднимали вокруг них шум. Теперь тоже разыскивают врагов, но побыстрей их прячут, чтобы все было тихо.

Основной принцип дематериализации элементарен. Писатель, который уезжает, как бы и не существовал. Он изымается не только из настоящего, но и из прошлого. Секретный код, состоящий из одного слова, поступает в издательства, в газеты и журналы, на радио и телевидение, в кино и театры, в библиотеки и дворцы культуры. Вот живой пример, как работает система.

Известный историк Александр Некрич подал заявление на выезд. В очень солидном московском издательстве раздается звонок. Строгий баритон сообщает:

– Некрича – *тоже*.

Тоже – это есть условный код, означающий, что Некрич из товарища превратился в господина, то есть выехал, и его имя следует дематериализовать. Процесс этот не такой простой, как может показаться дилетантам.

Главный редактор (назовем участников условно) Петров вызывает заведующую редакцией Кукушкину. Спросив ее о погоде, смотрит на потолок и, как бы между прочим, равнодушным голосом сообщает:

– Кстати, Некрича – *тоже*.

Кукушкина понимающе кивает, идет к себе и сообщает старшему редактору Бессмертному:

– Некрича – *тоже*.

Старший редактор Бессмертный – человек беспартийный, он может позволить себе хихикнуть или, наоборот, с возмущением негромко воскликнуть:

– Черт бы их побрал, скоро некого будет печатать!

Бессмертный идет к младшему редактору Люсе, которая как раз начала подчищать и подклеивать очередную рукопись для сдачи в типографию. На ходу он соображает, как бы подороже продать новость.

– Если я кое-что скажу, – таинственно произносит он, – что я с этого буду иметь?

– Это зависит от того, что именно скажете, – неопределенно обещает Люся.

– Некрича – *тоже*.

– Здравсте! За это не только ничего не причитается с меня. За это мне надо платить сверхурочные.

И правда, у младшего редактора прибавляется куча работы.

Процесс дематериализации, то есть ликвидации следов писателя в литературе, сложен и тяжел. Книги требуется изъять из обращения, имя вынуть из всех библиографий, сносок, ссылок, статей, обзоров и рецензий. Все, что младший редактор Люся прочитала, надо снова перечесать. Не дай Бог Люсе пропустить имя Некрича в каком-нибудь малюсеньком примечании! И это только в одном издательстве. А сколько их – да еще журналов, газет, библиотечных каталогов...

Как тут не посочувствовать моим коллегам по Союзу писателей. Многие из них прислуживают в редколлегиях и редсоветах бесплатно, на общественных началах. Они заседают, единодушно одобряют, единогласно поднимают руки, строчат секретные отчеты для начальства, которые никогда не будут опубликованы. Книги им писать уже некогда. Но опыт накоплен

немалый, и работа по изъятию несознательных авторов на всех уровнях продвигается успешно.

Лег я спать, и снится мне, что я оказался в США, в том самом Американском ПЕН-клубе, куда меня заочно приняли. А там знакомая ситуация. Курт Воннегут, поругав власти, вдруг заявил, что едет в Германию. Президент ПЕН-клуба Бернард Маламуд мгновенно, по секретному звонку из ФБР, дает команду дематериализовать Воннегута. Сам Воннегут об этом не подозревает: его ведь исключили тайно.

Издатель вызывает редактора и небрежно бросает:

– Воннегута – *тоже*.

У редактора прибавляется работы.

И вот пришел читатель-почитатель Воннегута в магазин, а ему говорят:

– Не знаем такого писателя. Что-то вы ошиблись. Нет такого и никогда не было.

– То есть как это не было?

– Тс-ссс... Не было, и все тут.

Читатель – в библиотеку, но и тут то же самое.

В это время пролетел слух, будто Бернард Маламуд собирается поехать во Францию. Стало быть, он тоже встал на путь измены своему народу. Мгновенно он уже не только не президент Американского ПЕН-клуба, но даже и не член его. И некая личность, исполняющая обязанности секретаря, обзванивает издательства:

– Маламуда – *тоже*.

Затем его лишают американского гражданства, и вернуться в Соединенные Штаты Маламуду запрещено.

Артур Миллер отправился в Китай. Союз Авторов тайно голосует за его исключение, и вот Миллер в черном списке. Книги его изымают из библиотек и сжигают. Рукопись его новой книги таинственно исчезла из издательства. Его пьеса, которая с таким успехом шла весь сезон на Бродвее, снята без объяснений. В общем, Миллера – *тоже*.

Я просыпаюсь в поту, пью воду. Что-то мне в Америке не нравится. Не поехать ли жить в Москву? Там, как известно, всё тихо.

Москва, 1979.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

Друзья, родные и коллеги еще недели за две до нашего отъезда уверяли, что очередь попрощаться с нами («доступ к телу», как сформулировал сосед-сатирик) длиннее, чем очередь в мавзолей. Сравнить не могу: в мавзолее с детства не был. Но в нашу малюсенькую квартирку возле метро «Аэропорт» по вечерам можно только протиснуться. Кто-нибудь из детей сидит на телефоне:

– Да, выпускают... Да, все в порядке... Да, приходите...

Стены увешаны плакатами, цитатами из вождей, стихами. «А ты участвуешь в перестройке?» – спрашивает с плаката образцовый работяга, сжимающий в руке гаечный ключ. На лицо его наклеена моя бородатая физиономия. В коридоре лозунг: «Давно пора ехать, а люди чего-то ждут. В.И.Ленин». Неужели Ленин такое говорил? Говорил, и не такое еще! Стены кухни расписаны напутствиями друзей в прозе и в стихах.

– Такие вольности – несомненный результат послаблений сверху, – говорит зашедший без звонка знакомый официальный писатель. – Может, останетесь?

Ему молча указывают на стену. Там стихи:

А все-таки мы улетели,
И нет нас в советской стране,
В той самой, где дуют метели
И все мы по уши в раю.

– Осторожно! Вы еще не улетели. Всякое бывает...

– Улетят! Теперь они проданное национальное достояние.

На стол выложено все, что удалось достать, запастись на черный день тотального изобилия. Все тотчас поедается. С выпивкой сложнее, ибо водитель троллейбуса объявляет остановку «Винный магазин», а следующая остановка называется «Конец очереди». Зашел накануне в парфюмерный купить на дорогу кусок мыла. Очередь минут на сорок. Оказывается, дают туалетную воду, и собрались алкаши со всего околотка. Не более трех бутылок в одни руки. Стоящему за мной бывшему милиционеру дяде Степе повезло: он с моей помощью взял шесть. Пускай выпьет бедняга за нашу дорогу. А мы ухитряемся добыть кое-что менее вредное для здоровья через знакомых с черного хода за полуторную цену.

Привыкший к ежедневному размеренному писанию с утра, без поблажек (хотя и в стол много лет, но расслабляться нельзя), – вот уж две недели я не пишу. Зато сочиняю справки, оставляю на хранение друзьям рукописи, плачу за ремонт квартиры, которого не будет, и выполняю десяток нелепых процедур для получения виз. Глупо рассказывать об этом подробно: прошедшим через это все известно, а не прошедшие не могут нормальным своим сознанием охватить феномен в целом. К тому же на фоне десяти лет жизни взаперти разве это трудности?

По поводу нашей квартирki уже конфликт в кооперативе: кому она достанется. Кооператив считается заурядным среди писательских домов в нашем «дворянском гнезде».

– Смотри, в каких шикарнх домах живут советские писатели, – показал я, стоя на балконе, писателю, русисту из Швеции.

– О, конечно, – согласился он, – это типичные американские трущобы.

В эмиграционный бум семидесятых годов из нашего кооператива выехало шестьдесят процентов населения во главе с председателем кооператива кинорежиссером Каликом. В квартире рядом, как с возмущением рассказывала соседка, торжественно сжигали перед отъездом комсомольские билеты и чуть не спалили дом. Потом советские войска выехали в Афганистан, и над страной нависла андроповщина. Теперь что-то потеплело. Ржавая железная дверь заскрипела, и брезжит по-

лоска света. Одного выпускают, другому обещают. Но ворота прижаты кованым сапогом.

Около трехсот раз я провожал других, пекся об оставленных родителях и детях, добывал из-под земли дефицитные лекарства, не по почте отправлял и получал письма, хоронил. Отъездные фото Галича, Льва Копелева, Войновича, Владимова снимаем со стен, дарим друзьям, потому что, наконец, и в моем собственном доме проводы. Неужели и в самом деле на этот раз провожают меня?

Пообещай мне это год назад, я бы не реагировал: чиновники разных уровней, от Министерства культуры до ЦК, как говорится, пудрили мозги нам множество раз. Но именно год назад мы с женой поехали в Самарканд – для заработка я переводил роман живого местного классика с его русского на общеупотребительный.

Жену мою повели к местной гадалке, которая, как сказали, лично посетила Мекку. К старухе стояла очередь. За десять рублей гадалка открыла книгу с ветхими страницами и скрипучим голосом пропела:

– Мужа твоего несправедливо обижают. Его преследует человек в форме. Но через год у него большая дорога. Нет, не дорога домой, и не в тюрьму, а еще куда-то... И мужа твоего ждет успех.

Не до успеха нам было. Выжить бы, сохранить себя, спасти рукописи от конфискаторов в форме и литературоведов в штатском. Приближался юбилей – 10-летие немоты, 10-летие в вакууме, 10-летие внутренней эмиграции. В рекламируемую эпоху гласности такой юбилей представлялся особенно актуальным.

Писатель решил проверить гласность на прочность. Для всех она, эта гласность, или только для «чистых»? И вообще, поступило указание всем дружно перестраиваться, а Союз писателей остается монстром, глухим к реалиям жизни.

Правда, первого секретаря Союза писателей, в маразме принявшего трибуну Съезда писателей за туалетную кабину, под робкий гул аудитории вывели под руки. Другой секретарь призвал писателей учиться демократии, после чего его поспешно переквалифицировали в управдомы Института мировой литературы. Руководство Союза писателей сосредоточилось в руках мафиозных практиков соцреализма.

Печальная эта картина оставляла мало надежд, однако я написал им почти сердечные письма: дескать, не пора ли меня отпустить по-хорошему? В ответ получил грубое письмо: вы должны сами знать, куда обращаться, тем более, что вы к нам не имеете никакого отношения.

Вот что значит гласность! Все-таки проговорились, что исключили. А ведь десять лет скрывали, на письма с Запада отвечали, что такого писателя вообще нет. Теперь же я есть, но «не имею отношения». Союз писателей – общественная организация, почему же за восемь тысяч ее членов все решает пара бюрократов? Прошу дать мне возможность выступить в «Литературной газете» или на собрании, чтобы я мог обратиться непосредственно к писателям. Они не ответили.

Оставалось обратиться с очередным открытым письмом, на этот раз прямо к писателям, минуя инстанции. Открытое письмо это разослали мы в полутысяче копий, сделанных на машинке, ибо у каждого ксерокса дежурит чекист. Опубликованное сразу же, в мае, в «Новом русском слове» и переданное затем многими «голосами», письмо это, видимо, сработало, хотя тогда мы этого еще не поняли.

В нашей тесной квартире кипела работа. Мы готовились к выставке, посвященной уникальному юбилею. Не знаю, звучал он в унисон или в диссонанс с объявленной Горбачевым открытостью. Вывеска у двери гласила: «10 лет изъятия писателя из советской литературы».

– Nonwriter, – не знаю, как это перевести на русский, – размышлял профессор из США, один из посетителей выставки и великий знаток русской литературы. – Это и есть нечто среднее между поручиком Кижее, мертвой душой и живым трупом. Термин английский, а явление советское...

На выставке – книги «бывшего писателя», пьесы, купюры из рукописей, изъятые цензурой, иллюстрации художников к рассказам, вырезки из прессы с критическими статьями, фотографии встреч с читателями, публикации на Западе, наказуемые по статьям Уголовного кодекса.

Не существующий официально юбилей по случаю открытия выставки разослал сотню приглашений на пресс-конференцию – советским и иностранным журналистам, радио и ТВ, а также руководству Союза писателей, Министерства куль-

туры и ОВИРа, чтобы на конференции ответили на вопросы прессы. Игра? Пусть так. Но они сами придумали эту игру, называется она «Гласность».

Накануне открытия выставки раздался неожиданный звонок начальника Московского ОВИРа. Уже несколько лет в эту организацию я не обращался, а тут такая честь.

– Президиум Верховного Совета и Министерство внутренних дел, – торжественно произносит он, – разрешает вам выехать, если ваше поведение будет хорошим.

Вот и еще расширился круг учреждений, заботящихся о моем поведении. Это радует: остальные государственные проблемы – и экономические, и международные – они уже решили, только мое поведение их немного беспокоит. И как раз перед открытием выставки.

– Послушай, – сказал приятель, – представился отличный способ проверить знакомых. Тебя никто не уговаривал отменить весь этот карнавал?

– Никто, – уверил я его.

– Слава Богу, везет тебе на друзей!

На другой день вдоль родной улицы Усиевича выстроился ряд машин явно неотечественного производства. Ни советские журналисты, ни чиновники не явились. Гласность охранялась молодым человеком в черных очках, сменившим нашу старушку-лифтершу, и группой молодых в черной «Волге», подогнанной вплотную к подъезду. Выставка открылась.

Погода в Москве в это лето была неопределенная: то жара, то холод, то солнце, то затяжные дожди. Появились туристы из бывших советских граждан (с хорошим поведением): в стремлении получить твердую валюту помягчел мизантропизм. Мертвого Бориса Пастернака восстановили в членстве в полуживом Союзе писателей. А овировский хомут на нашей шее и после торжественных обещаний был затянут прочно, как всегда. Москва слезам не верит, это было испытано не раз, но и мы слезам Москвы не верим – знаем им цену.

Опять доверенная машинистка работает две недели без отдыха, печатает под копирку полторы тысячи открытых писем протеста. Посылаю их в редакции, в ЦК, в Союз писателей, в Моссовет. Пишу, что хочу сделать свое положение более ясным, поскольку книги и рукописи уже похоронены, а я, как

мне кажется, еще жив. И потому намереваюсь открыть Новый Союз писателей для тех, кто лишен возможности публиковать свои произведения на родине, в общем, для писателей-лишенцев. Называться он будет Союз авторов, как это принято в большинстве цивилизованных стран. Прошу руководство Союза писателей прислать список исключенных из СП членов, но только живых, так как Союз авторов, в отличие от Союза писателей, мертвых не принимает. При Союзе авторов, в соответствии с реанимированным нэпом, открывается независимое издательство «Золотой петушок».

Первым автором нового издательства я выбрал сам себя. И готовил рукописи к изданию. В Центральный дом литераторов, куда меня перестали пускать десять лет назад, отправил заявление с просьбой предоставить зал новому Союзу авторов и первому частному издательству «Золотой петушок» для торжественного открытия, которое состоится в сентябре, накануне открытия в Москве Международной книжной ярмарки. Но Дом литераторов срочно заперли на ремонт.

Неожиданно позвонили нам из Американского посольства, пригласили в гости – сейчас, сразу: группа конгрессменов приехала в Москву, и днем окон в расписании нет. Жена сказала, что одного меня она ночью не отпустит. Лил проливной дождь. В полночь мы уже беседовали.

Конгрессмен Джерри Сикорский, неутомимый борец за права человека, уже давно бомбардировал Горбачева письмами, и не он один. А тут Сикорский заявил, что не уедет из Москвы, пока я не получу визы. Я очень испугался, что Сикорский станет вместе с нами отказником. Но страх оказался напрасным. Утром нам выдали визы с такой вежливостью, какой я не подвергался ни разу за всю мою советскую жизнь.

И вот – прощание, описанное выше.

– Хохотать или плакать? – спросила моя взрослая дочь.

На практике то и другое было вместе. Проводы предпоследние, последние, послепоследние и самые последние. Ни дня без строчки, а тут ни дня со строчкой, один бушующий вокруг нас фольклор. Кажется, только один раз, когда мы сами приглашали по телефону и когда заглядывали прощаться аккредитованные в Москве журналисты, возле нашего подъезда опять дежурили топтуны. Хотелось их понять, простить, пригласить

выпить, – холодно на дворе, и дождь накрапывал. Хотя... вру, конечно: не хотелось ни понять, ни простить, ни пригласить, и понятно, почему. Впрочем, понятно ли?

Объясните мне, для чего писателя, то есть животное вполне мирное, десять лет целеустремленно травить, да так, чтобы он не только злобную власть, но и страну свою постепенно перестал уважать? Зачем растлевать советских писателей, заставляя их единогласно осуждать на собраниях коллегу, врать иностранцам, выскребать имя? Подсчитает ли бухгалтер с Лубянки, во что обошлись народной казне десять лет слежки, подслушивания, обысков, размножения рукописей (они показывали мне на допросе «их» экземпляры)? А зарплата следователей, инспекторов, топтунов, их протертые подошвы? А уничтожение тиража моей книги в типографии? А нравственный урон власти в глазах читателей, из которых целеустремленно делают дураков? И почему обошелся в глазах зарубежных коллег облик страны, в которой вольготно вору, а спецслужбы заняты тем, что засовывают кляпы в рот писателям, грозя им лагерем и психушкой?

Может, я по инерции брюзжу, и это все в прошлом?

Наконец, таможенники в аэропорту Шереметьево.

– Вот этот, – говорит один в штатском другому в форме. – Позвони шефу...

Это мы слышали: и с трапа снимают, и из самолета вынимают. Позвонив, таможенник тихо возвращается, что-то шепчет другому. Может, напоследок ткнуть нас зонтиком? Появляется сонный шеф в штатском.

– Рукописи, фотопленки, письма, магнитные записи?..

Старая песня... Пожимаю плечами. Шмонают вещи. В них – ни листочка записей, ни строки, ни телефона друзей... Рукописи давно ушли за границу другим, таинственным путем.

Мы растерянно оглядываемся. За перилами толпа наших друзей. Они смеются, рыдают, машут нам, что-то произносят. Москва для нас – это они. Чуть поодаль от них двое в спортивных куртках. Руки в карманах. Напряженные лица. Тусклые глаза. Они тоже провожают нас, и за это им течет зарплата. Они – тоже Москва.

Габлиц, 1987.

ЩЕЛЬ В ПРИОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Для непосвященных в бюрократические тайны советской литературы поясним, что автор произведения под названием «Ответ Ю.И.К.» – секретарь Союза писателей СССР и главный редактор журнала «Дружба народов» С.А.Энский-Баруздин.¹ Ах, простите, знаю, что его фамилия не Энский, а просто Баруздин, но, как заметил читатель, редактор сам предложил такую игру, назвав меня в журнале конспиративно – Ю.И.К. Почему я уверен, что письмо именно мне?

Во-первых, автор сам поясняет, что это не литературный прием, и тут могу подтвердить: он говорит правду. Пишущая и читательская аудитория читала мое открытое письмо к Союзу писателей, переданное по радиоголосам, и эту историю знает. Коллеги из Москвы сразу прислали мне журнал.

Во-вторых, год назад, когда меня, бесправного, еще держали в Москве, Баруздин сам прислал это самое письмо, отсканное на машинке, мне домой. Были и угрозы из Союза писателей по телефону. Сейчас я сверил то письмо с опубликованным текстом. Оно несколько удлинилось для публикации, и моя фамилия заменилась буквой «К». Прямо как у Ильфа: мы сидели в Севастополе, на берегу Энского моря.

Не собирался я отвечать на письмо, если б не эта публикация. Для чего она – через полгода после того, как я выехал на

¹ С.Баруздин. Ответ Ю.И.К. «Дружба народов», №3, 1988, сс.164-167.

Запад? Да еще под эффектной рубрикой «Глобус дружбы народов», в которой смысл, как в одесской рекламе «Торговля хорошего настроения». Чувство такта, говорится в тексте, повелело убрать имя. Самое время секретарю Союза писателей, посаженному в кресло личным заместителем Сталина в литературе Дмитрием Поликарповым, теперь, в эпоху гласности, вспомнить о существовании морали.

В 1977 году секретари Союза писателей (и Баруздин в их числе) по сигналу из органов тайно изъяли меня из литературы. Запретили печататься, отправили на Лубянку рукописи из издательств, включив их автора в черные списки. А после этого «компетентные органы» отказали в выезде за границу. По справедливости надо отметить: не арестовывали, даже не отрезали телефон. Почта исчезала, отбирали в таможене книги, которые коллеги везли мне, исключительно в заботе об исправлении моих мыслей. Не дали напечатать ни строки, чтобы осознал свою вину. Объявили «бывшим писателем» и, лишив средств к существованию, грозили посадить за тунеядство для примера другим пишущим. Не о совести шла речь, но об элементарном праве и законности.

Стал печататься за рубежом. Тогда потащили на Лубянку, грозили психушкой и лагерем. Что если назвать вещи своими именами? Секретари Союза писателей, находясь при исполнении служебных обязанностей («Мы, – заметил Александр Галич, – поименно помним тех, кто поднял руку»), похитили у меня три рукописи новых книг, две пьесы, гонорар за все эти издания и постановки. Они лично соучаствовали, вырезав из моей жизни десять лет, десять лучших, активных, творческих лет.

А теперь, при гласности, когда надо перестраиваться, оказывается, что Баруздин «с интересом читал мои книги» (ими конфискованные – они же не издавались!), что он мне сочувствует (хотя десять лет делал вид, будто не знает меня), что к изъятию меня из литературы он не имел «никакого отношения».

Недавно я был в Гарварде, где министр культуры РСФСР Мелентьев объяснял собравшимся, что к запрету моих пьес в театрах его министерства он тоже не имел никакого отношения. Виноват Союз писателей, а он, Мелентьев, всегда был гуманистом. Ну, конечно: кто же у нас на родине имеет к чему-нибудь отношение, когда могут спросить? Вот и у Ба-

руздина все лирически славненько: «в последние десять лет мы не встречались».

Ну, если начистоту, то не встречались дольше. «Встречаться» я перестал после того, как Баруздин со товарищи осуществил операцию по исключению Солженицына. А уж когда пошел поток отлучений лучших писателей современной России, то стал стыдиться, что раньше с ним общался.

Надо отдать должное баруздинской искренности: он никогда не голосовал механически, но любовно доказывал даже и не с трибуны, а в узком писательском кругу Дома литераторов, даже дома и в гостях, кто бяка и почему. Обвиняя, всегда цитировал никому не известное, неопубликованное. Где доставал тексты, ума не приложу. И совсем недавно вполне респектабельный писатель принес ему в журнал «Дружба народов» рукопись, чуть-чуть опережающую дозволенную гласность. А через неделю респектабельному писателю позвонил Георгий Александрович (или Александр Георгиевич – у них у всех одинаковые псевдоимена) и, встретившись «на скверике», стал спрашивать о творческих замыслах, предлагал «сотрудничество». Как они пронюхивают – просто диву даешься.

Не будем играть в прятки. В том, что российская литература достигла внутри страны великого оскудения, большая личная заслуга и Сергея Баруздина. Кого они только ни душили, бессменно посаженные в кресла опричники Союза писателей! И гениев, и Нобелевских лауреатов, и несогласных, и вполне согласных, но просто более талантливых, чем они сами. В кооперации со щелезатыкательными органами упрощали читателя, оскопляли душу и сознание народа, пылесосили мысль, не забывая при этом издавать и переиздавать себя массовыми тиражами.

За умело проведенные операции по кастрированию прозы и поэзии они получали дачи, премии, бесплатные вояжи за границу. Теперь они же кое-что разрешают – из вчерашних неопасных сенсаций, с оглядкой на начальство, в гомеопатических дозах. Теперь работают с чувством такта.

В открытом письме Союзу писателей ставил я вопрос о полном бесправии советского писателя и произволе литературных (да и прочих) властей в Москве. А из ответа секретаря Союза писателей мы должны уяснить, как плохо жить в Из-

раиле. Оттуда Баруздин недавно вернулся, и там толпы трудящихся кричали ему хором: «Отец, приезжай к нам еще!»

Я искренне рад за него и за всю группу советских однопартийных чиновников, которые сопровождали Отца трудящихся Израиля под аккомпанемент баяниста. Забавный, однако, повод нашел Баруздин написать путевые заметки!

Оказывается, там писатель Баруздин более популярен, чем в Москве, где многие не подают ему руки. Но почему в Израиль, который ему так не нравится, ездил (и не раз) он, а не те, кто съездить туда хотели и кого не пускали, да еще за желание поехать преследовали?

Живя теперь в Америке, я связан с другими странами лучше Баруздина. По крайней мере там у меня не «бывшие коллеги», у которых «жизнь все равно кончена», как пишет он, а живущие полной жизнью свободные люди. Знаю тех, кто упомянут в его ответе. Прочитал им по телефону публикацию. Смягчая их сильные русские выражения, скажу: то, что секретарь СП поведал про них, называется дезинформацией, или, проще говоря, клюквой.

Отдельные мысли Баруздина особенно примечательны. Например, о том, что жизнь его бывших знакомых, которые выехали, кончена. Что смысл жизни выехавших из Советского Союза – купить тарелку и смотреть советскую программу «Время» («радуются, плачут – тем и живут»). Интересно, что «Катюшу», услаждая слух босса с улицы Воровского, поет «весь лес». Неужели русификация там до того дошла, что и деревья «Катюшу» поют?

В Техасе, где я преподаю, как во всем цивилизованном мире, есть и тарелки, и кабельное телевидение. Мои студенты иногда глядят программу «Время», листают советские газеты, как и прессу других стран мира. Они произносят имя генсека на американский манер – Горбашоу.

Хочу спросить, можно ли в Москве рядовым гражданам или хотя бы избранным купить тарелку и взглянуть на передачу из другой страны? Можно ль в библиотеке хоть одним глазком почитать заграничный журнальчик без допуска, выданного спецписателю спецсекретарем? Или, скажем, «Нью-Йорк Таймс»? Или это мое письмо, опубликованное в русской газете, которую свободно читают во всех странах мира, кроме одной?

Как говорится, в чужом глазу... Все-то руководитель советской мирной делегации разоблачает по Вселенскому департаменту. Дороги в Израиле, хотя и хорошие, но строят их военные. А в стране Советов не военные строят? Военный бюджет в Израиле большой. А Россия доведена до полной нищеты не военным бюджетом? Израилю хоть угрожают, а Советскому Союзу кто опасен?

Не видел ли зоркий глаз советского гостя глушилки против советских передач? Или топтунов в черной «Волге» у себя за спиной? Возмущен Баруздин, что евреи конфликтуют с арабами, что министр иностранных дел Израиля выступает против участия СССР в этом конфликте. А что если б Израиль требовал своего участия в азербайджанско-армянской проблеме? А о крымских татарах, будучи проездом с миссией дружбы на острове Фиджи, Баруздин случайно не читал?

Позвольте спросить, зачем же далеко ехать, да еще за казенный счет, если так уютно в Переделкине? Выяснить, что территория Израиля 20 тысяч квадратных километров? Может, отвезти русские джинсы секретарю компартии Израиля? Так он ведь не отказник, он свободнее советских коммунистов и ездит без ОВИРа, куда хочет. Или Союз культурных связей с границей оплатил поездку, чтобы секретарь СП лично ознакомился с тем, как там распяли Христа? Да зачем ему чужой опыт? Он сам тридцать лет участвует в подобных процедурах у себя дома. Союз культурных связей – название-то какое! А Союз некультурных связей – это КГБ, что ли?

То, что секретарь СП сочинил, беседуя как бы со мной, – оплата путешествия. Для того данного посланца страны Советов и посылают по всему миру за казенный харч. Эту агентурно-литературную миссию он послушно выполнял при всех предыдущих лидерах, а сейчас он агент Горбашоу. Не чувством такта веет от письма, а чувством пропаганды. Не он первый. Один из основоположников соцреализма – Маяковский уже предлагал Америку закрыть, слегка почистить, а потом открыть вторично. Впрочем, Маяковский был хотя бы талантлив.

В себя бы заглянуть, задуматься о бедах собственной земли советским миссионером. Тем более, что сверху спущена разрядка на новое мышление. Поступило указание мыслить. Печатать идеологических противников почти нельзя, но устно

говорить с ними почти можно, разрешено даже использовать диссидентские идеи, без ссылок, конечно. Ибо указание на новое мышление спущено, а новыми мыслями сверху что-то не пахнет.

С печалью читал я интимно-агитационное письмо в «Дружбе народов» будто бы ко мне, но на самом деле для неподкованных читателей, которых теперь найти все трудней. То же (в более соответствующих гласности задушевных тонах) стремление одним разом объегорить человечество. То же хвастовство, что они, аппаратчики, впереди остальных по части мировоззрения. Гордятся тем, чего давно пора стыдиться и что отбросило на обочину мировой цивилизации отощавшую от недостатка овса русскую тройку.

И все же я благодарен Союзу писателей за письмо. Оно, как газета «Правда», которую нет-нет, да поглядишь – лучшее лекарство от ностальгии. «Ответ Ю.И.К.» помогает понять, что происходит на родине. Приспособленцам там хорошо и в застой, и в гласность. Вот они-то всегда готовы к перестройке. Их фундамент – бессовестность. Вот и опять: ответ на открытое письмо, которое они, конечно же, не публиковали, чтобы развязнее лгать. И в гласность имена, как мое, не велено упоминать, но уже можно намекнуть. Какое там покаяние! Оно только аллегорическое, в кино. Персональных мы пока не читали.

Вспоминаю, как онемела литературная Москва, когда Баруздин опубликовал в журнале «Юность» стихи на смерть жены вскоре после ее смерти, хотя производственный цикл журнала длинный даже для секретарей Союза писателей. А в редакции знали, что написал Баруздин эти стихи, когда жена болела, но была еще жива. Вот это и есть социалистический реализм.

Читаю «Ответ Ю.И.К.» в журнале и думаю: хороша демократия, в которой те, кто держал, стерилизовал и не пуцал, заведуют либерализмом. Профессиональные лгуны требуют правды. Приоткрылась в литературе отдушина, а в нее дышат те же секретари того же Союза писателей. Как гласит индийская мудрость, человек, который не понимает, что он видит синее, его не видит.

Цивилизованный мир един, а они все так же делят человечество на своих и врагов, по-старому противопоставляют нор-

мальной морали узкоколейную свою, и Запад по-прежнему виноват в их собственных неудачах. И лексикон тот же: «оголтелая антисоветская пропаганда», «махровые сионисты», «откровенные антисоветчики», «пресловутая банда». А сам-то г-н Баруздин кто, употребляя его терминологию? Оголтелый соц-реалист? махровый коммунист? откровенный советчик? или пресловутый секретарь? За что он сражался раньше, вполне ясно даже детям, для которых он писал рассказы. А теперь? Нынче он против закрытого общества, которое осуждается. И против открытого, которое тоже плохое. Стало быть, теперь он – за приоткрытое общество. Культурная миссия таких деятелей – держать плечом дверь и в щель просовывать свои сочинения вроде «Ответа Ю.И.К.»

Нью-Йорк, 1988.

ЧУДЕСА ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ, ИЛИ ПАРТИЙНАЯ ТОПОНИМИКА

Взгляд на Москву 1988 года с птичьего полета

Добрую половину своей тамошней жизни я прожил в Москве, на Песчаных улицах, в районе, который в течение нескольких веков носил название село Всехсвятское – по церкви Всех Святых, мимо которой по Санкт-Петербургскому шоссе туда и обратно много раз проезжал Пушкин. Помните, Татьяну везут в Москву? «Вот перед ней Петровский Замок...» На замок этот открывался красивый, как мираж, вид сразу после поворота тректа у Всехсвятской церкви.

Теперь этот вид не открывается. Ленинградский проспект (бывший Тверской тракт) застроен двумя рядами одинаковых коробок, среди которых главным сооружением в этом районе был Протезный завод имени Карла Маркса. Позади него ютилась обувная артель инвалидов «Молодая Гвардия». Сейчас завод и артель перенесли на другое место. Я не против градостроительства. Я за инвалидов. Просто хочется понять диалектическую связь между протезами и основоположником бывшего в употреблении нового учения.

Петровская академия, что позади Петровского замка, переименована в Тимирязевскую (награда за то, что Тимирязев, в отличие от своих коллег, вступил в сотрудничество с большевиками). Всехсвятскую церковь не видно: пережиток старого мира загорожен пожарным отделением с башней, помпезной станцией метро, вместо которой хватило бы просто отверстия

в земле, и мрачным домом, построенным для ушедших на отдых сталинских генералов. Длинный ряд нищих стариков и старух стоит вдоль стены дома до входа в церковь, и это единственное, что не меняется в течение десятилетий.

А остальное... От Всехсвятской церкви шли по номерам Песчаные улицы до Песчаной площади и реки Серебрянки – и было удобно ориентироваться. Серебрянку засыпали. Все холмы и овраги уничтожили, построив одинаковые шестизэтажные дома из серого кирпича (возводили их пленные немцы). А когда живописную местность вокруг Всехсвятской церкви сделали лысой, улицу назвали Живописной – потому что по приказу Сталина здесь дали мастерские членам Союза художников.

Вот уже тридцать лет, в нелепом порядке, Песчаные и все близлежащие улицы переименовываются. Гимназический переулок – в Чапаевский, где я долго жил. Рядом с ним – улицы Вальтера Ульбрихта, Георгиу Дежа (где жил не Деж, а Назым Хикмет), Сальвадора Альенде, Луиджи Лонго, Куусинена. Бедные водители троллейбусов ломают язык, произнося остановки: «улица Кусинова» и даже «Укусименя». Кладбище за церковью сравнивали с землей, на могилах построили два кинотеатра: «Ленинград» и «Дружба». Но живые улицы вокруг превратили в кладбище секретарей иностранных компартий, которые никогда здесь не бывали (а может, и привозили их – улицу показать?). В эту теплую партийную компанию затесался советский шпион: там есть улица Рихарда Зорге.

Район Всехсвятское теперь именуется Сокол, а чуть ближе к центру Аэропорт – вокруг станций метро. Площадь тут называется Эрнста Тельмана. Назвали бы станцию метро «Буревестник»! Ведь неподалеку отсюда разбился, начав показательный рейс, знаменитый самолет «Максим Горький» со стахановцами на борту. Изъято из памяти лежащее вдоль тверской дороги Ходыньское поле. Бронзовый Тельман показывает увесистый кулак с другой стороны Ленинградского проспекта всем проезжающим в международный аэропорт Шереметьево.

Ходынку еще в двадцатые годы называли аэропортом имени товарища Троцкого. Потом имени товарища Фрунзе. Потом и Фрунзе отрезали. Название станции метро «Аэропорт» также теперь бессмысленное, потому что пассажирских аэропортов в

Москве четыре, и все нынче не тут, а до городского аэровокзала от метро далеко.

В «дворянском гнезде», как именовали писательские дома на «Аэропорте», названия улиц по конвейеру заменяли именами официальных советских писателей, лауреатов и депутатов. Позавчера шел по улице – было так, вчера «Улица Константина Симонова». Само собой, все граждане, здесь живущие, обязаны в трехдневный срок сдать паспорта в милицию, чтобы поставить штамп о прописке на новой улице, хотя они живут на старой.

В советской печати эпохи разгула гласности начали появляться статьи на тему о неуместности некоторых названий, данных в период сталинского прогресса и брежневского регресса. Метростроевская опять Остоженка. Несколько других имен вернулись к первоначальным, и это хорошо. Но если на переименования бросить, так сказать, обобщенный взгляд, мы сразу обнаружим основное «табу». Никто не прикасался к запретному идеологическому аспекту проблемы. А тут-то и зарыта собака.

Зуд переименований начался в нашем отечестве сразу после революции. В принципе все должно было называться по-советски. И вот улицы с исконными историческими именами, на которых жили наши предки, во всех городах и деревнях стали Баррикадными, Большевистскими, Октябрьскими, Коммунистическими, Пролетарскими, Колхозными, Ударными, Соцсоревнования, Красноармейскими, Стахановскими и пр. Потом пошли улицы и площади, регистрирующие, сколько удалось продержаться советской власти: 10-лет Октября, 25 лет, 50 лет. Есть улицы по номерам съездов партии, по партийным датам.

Конечно, вожди партии не забывали и о собственной славе.

Полистайте старые географические карты (если удастся найти): страна покрывалась городами типа Троцк, Рыковск, Зиновьевск. Затем эти названия пошли под запрет. На картах остались и стали множиться Сталино, Сталинск, Сталиногорск, Сталинабад, Сталинград, Сталинири. Подключился соцлагерь: три города Сталин, Сталинштадт, Сталиногруд, Сталинварош, сотни колхозов, заводов его имени, не говоря уж о паровозе «Иосиф Сталин», который нас в эти города вез.

Пример сверху в свое время оказался заразительным. Местные руководители тоже начали увековечивать сами себя. Были и трудные моменты. В начале тридцатых годов партия послала в Свердловск нового первого секретаря обкома слесаря Ивана Кабакова. Выкорчевав троцкизм и проведя коллективизацию, Кабаков решил увековечить свое имя. Уральский город на реке Какве, Надеждинск, Кабаков переименовал в самого себя – в Кабаковск.

Просматривая списки секретарей обкомов, Председатель Совета народных комиссаров Молотов возле фамилии Кабакова поставил три буквы «ВМН», что значило «Высшая мера наказания», то есть – расстрел. Кабакова не стало. Никто не решился написать или произнести вслух название города. Город остался без названия. Трагикомическая ситуация продолжалась два года. Наконец, сверху поступило указание бывший Надеждинск (без упоминания, что это Кабаковск) назвать в честь нового сталинского героя-летчика – Серов.

Когда запретили имя Сталина, на втором дыхании пошло в ход имя Ленина. Ленинград (который старожилы упрямо называли Питером) уже был. Множились Ленинск, Лениногорск, Ленинанкан, Ленинабад, Ульяновск, Горки-Ленинские, Ленино-дачное. Прошу прощения у читателя за нудность – но надо же хоть раз взглянуть на эту картину, созданную коллективным умом партии!

По всей стране появились улицы, колхозы, школы, заводы, библиотеки имени вдовы Ленина, его сестры, брата, имени революционной подруги вождя товарища Инессы. На этикетках жевательной резинки, которую теперь можно купить в табачных ларьках, написано: «Фабрика имени Крупской». Потому, видимо, что жвачку жуют на уроках. Одинарные имена в процессе жизни удваивались, появлялись слоеные топонимические пироги. Такие названия удастся произнести только скороговоркой после специальной тренировки, например, Московский ордена В.И.Ленина метрополитен имени В.И.Ленина (бывший имени Л.М.Кагановича).

Надвигались еще большие трудности. В конце пятидесятых годов границу Москвы расширили за счет пригородов, и в ней оказался ряд улиц и площадей Ленина. «Между людьми не бывает никто безымянным», – заметил еще Гомер в «Одис-

сее». Миллионы безымянных выходили из лагерей, и миллионы остались в Тмутаракани в безымянных могилах, когда в Москве имя Ленин было в явном переборе. Вот ведь парадокс: представьте город, в котором все улицы носят имя Ленина, – Ленин в таком городе становится безымянным! Но это только в теории.

На практике не знали, как разнообразить имя основоположника в списке одинаковых улиц. Помню, историки партии подсказали поистине гениальный выход: назвать улицы псевдонимами, под которыми вождь писал, скрывался от полиции, на которые имел фальшивые паспорта. Одна такая улица уже была – Тулинская. Но смелая идея эта осталась нереализованной. Откройте справочный том пятого издания собрания сочинений, и вам станет ясно, почему.

У Ленина за не очень долгую его творческую жизнь было 257 имен-псевдонимов, более чем достаточно для переименования всех этих улиц. И еще часть можно было оставить в запас для разворачивавшегося жилищного строительства. Но псевдонимы вождь выбирал для себя странные: Посторонний, Почти примиренец, Ленивцын и т.д. Представим себе «Улицу Постороннего», «Площадь Почти примиренца» или «Бригаду коммунистического труда завода имени Ленивцына».

Увековечивание вождей всегда было важнейшей, если не главной, заботой органов переименования. Но элемент везения – кому быть увековечиваемым, а кому нет – тоже, конечно, имел место. Скажем, Карл Либкнехт и не ведал, как ему повезло: по всей стране, даже в мелких городишках, есть улицы его имени. Я сам во время войны жил в Воткинске, где родился Чайковский, на улице Карла Либкнехта. Улицы Чайковского тогда там не было.

А Никите Хрущеву не повезло. При жизни он сам издал декрет, запрещающий называть что-либо именами живых. Хрущеву надо было стереть с карты Молотова и Ворошилова. Но в этом была, кроме сведения счетов, и логика: живые герои спиваются, завтра сбегут за границу, а потом спешно опять переименовывать. Лучше подождать, пока они умрут. Собственный декрет и помешал Хрущеву назвать его любимый Курск Хрущевском. Теперь даже захудалого переулка Хрущева в стране нет. Зато те, кому везло и кто когда-нибудь попадал в элитар-

ную партийную номенклатуру, получил в подарок по улице, даже Вышинский и Крыленко – официальные убийцы миллионов невинных людей.

Ну, а в целом? Горько было глядеть перед отъездом на Москву. Кроме вторичных (от слова Ленинград) Ленинградского проспекта, Ленинградского шоссе, Ленинградского района, маячили Ленинский проспект, Ленинская площадь, Ленинский проезд, Ленинская слобода, Ленинские горы, Ленинский район, стадион имени Ленина, улица Юных Ленинцев, Ульяновская улица, Ульяновская эстакада, даже названия вроде Завод имени Владимира Ильича, площадь Ильича, Ильичевский проезд. Последний, между прочим, был переименован так в честь вождя еще при его жизни. Только в Москве приближается к ста пятидесяти цифра мемориальных досок на всех местах, где жил, заходил, выступал великий вождь. Кажется, неохваченными остались лишь туалеты. По иронии истории в последний раз имя Ленина присвоили Чернобыльской атомной электростанции.

Протезный завод имени Карла Маркса, который я упоминал, – мелочь. Охотный ряд в Москве стал проспектом Маркса, появились улица Карла Маркса, улица Маркса и Энгельса. Мало этих – еще Марксистская улица и Марксистский переулок. Неужели все остальные улицы столицы – не марксистские?

Переименования давно достигли безвоздушного пространства: вслед за морским заливом Сталина возникли три горных пика Сталина, пик Ленина, пик Ленинграда, горные вершины Коммунизма, Дружбы Народов и т.п. Бериевский научный консультант, академик Курчатov, превратился в кратер на Луне.

А на Земле была дана новая установка: называть улицы в соответствии с наступающим светлым будущим. И пошли гулять Привольная, Зажиточная, Счастливая, Изобильная. И деревни да города с названиями вроде этих. Но хотя висели на этих счастливых улицах заверения партии в том, что вот-вот все обещанное наступит, названия упорно не хотели превращаться в действительность. Магазинные полки на Изобильной улице оставались пустыми.

Поскольку вожди сменялись, менялись и вывески. Пермь – Молотов – снова Пермь. Царицын – Сталинград – Волгоград. Были Набережные Челны и Рыбинск, стали Брежнев и

Андропов. Теперь Челны именуется по-старому, а Андропов по причинам, о которых мы догадываемся, вроде бы еще нет. Ну, не стал, так со временем станет Рыбинском. А вдруг, не дай Бог, Громыкой? Был Ижевск, стал Устинов, и вот... Я, честно скажу, запутался.

Помню, сам читал в «Литературке» храброе письмо читателя – не назрело ли Устинов сделать опять Ижевском? Ясно, что назрело – такие письма без задней мысли не публикуют. Но стал ли опять Ижевск Ижевском или еще не стал? Калинин Тверью становится. Вятки нет, есть Киров. Луганска и Мареуполя нет, есть Ворошиловград и Жданов. Диву даюсь, может кто-нибудь мне объяснит, как в свое время Москва в этой азартной игре уцелела?

Царское Село вряд ли опять появится, а хорошо бы. Не потому, что я люблю царей, а потому что я уважаю Пушкина, а Пушкин уважал историю. Он оказался в литературной номенклатуре, и вот по всей стране тысячи улиц, площадей, деревень и городов Пушкинские и Пушкины. Так замусолено имя, что долго придется отмывать. Например, у меня хранится вырезка из районной газеты: «Пушкин по числу квартирных краж на первом месте в области». Жаль, что в городе Пушкин больше воров. Но еще больше огорчает, что поэт не может вызвать оскорбителя на дуэль.

Народ приучили, что начальство меняет названия без конца. Везде прошлое выскоблено, забито, покрашено – нечего вспоминать. Особенно тщательно соскабливали этнические имена, например, татарские в Крыму. Там появились Клубничное, Земляничное да Орджоникидзе. Коктебель всемирно известен, но на карте он не существует, есть Планерское. Глупее, кажется, и придумать невозможно.

Чего только не смывала и не намывала мутная волна переименований! Нам, винтикам, все равно, куда нас завинчивают. И если сказано, что этот санаторий в городе Юрмала под Ригой будет называться «ДКБФ», – значит, так тому и быть. Кому положено, тот знает, что ДКБФ – это Дважды Краснознаменный Балтийский Флот. А кому не положено – и знать такие военные секреты не надо.

Топонимика – вполне нейтральная наука о географических названиях, их происхождении, истории, связи с культурой и

жизнью огромной и многонациональной страны – превратилась в лихорадочного регистратора унылого набора слов из новоречи, как ее назвал Джордж Оруэлл. Специальные отделы Верховных советов, областных и городских исполкомов занимаются утверждением и переутверждением названий улиц, городов и весей. Я сам видел в Мосгорисполкоме целую книгу названий впрок – на всякий случай. Вдруг приказ срочно переименовать – а у нас уже есть утвержденные имена. Куда прилепить, в какой район, на какую улицу – не все ли равно?

Поменяйте в Москве местами названия проспектов и улиц: Комсомольский с Коммунистической, Профсоюзную с Пролетарской, Промышленную с Сельскохозяйственной, Шарикоподшипниковскую с Велозаводской. Перетасуйте двадцать одно название, начинающееся со слов «Улица Маршала...» и восемь названий «Улица генерала...» (еще одно кладбище, на котором живут москвичи, оно в районе Серебряного бора), – что от этого изменится? И меняют. Главное – своевременно, дабы не упрекнули в недобдительности. И чтобы было «идейно выдержано».

Этот туманный термин в советской топонимической науке означает соответствие названия вкусам высшего начальства и личную признательность вождей к имярек. Как говорится, благодарность за услуги. И всегда – выкорчевывание памяти предков и традиций народа.

Главная магистраль Риги называлась Александровской – в честь Александра Первого. В двадцатых годах, когда Латвия стала независимой, Александровская сделалась улицей Свободы. Позже в Латвию вошли советские войска, сделали улицу Ленина. Во время войны она стала Адольф Гитлер штрассе. После войны – опять улицей Ленина. А теперь снова улица Свободы, но уже только по-латышски: Бривибас.

Отречение от прошлого шло по многим каналам, и с самого начала несколько раз менялись названия коммунистического государства. Но главная задача была – вытравить из памяти прошлое, будто кроме социализма не было ничего на этой земле и, конечно, не будет. Меньше всего повезло центральным губерниям. Название вряд ли кто-нибудь произносил целиком: Российская советская федеративная социалистическая республика.

Россия – таинственное слово, так же как «руссы» или «россы». Не совсем ясно происхождение этих слов и их первоначальный смысл. По мнению В.О.Ключевского, впервые название это встречается в арабских и византийских источниках в девятом веке, а в летописях позже: «идоша за море варягом к руси». Возможно, слово это шведское, через финнов его заимствовали татаро-монголы и славяне. Однако вот что говорится в «Этимологическом словаре русского языка» А.Г.Преображенского: «Не объяснено, несмотря на многочисленные попытки».

Но дело не в первоначальном смысле. Для миллионов людей это слово веками было (и остается) названием родной земли. Декабристы мечтали о создании Соединенных Штатов России. Они хотели сохранить слово «Россия» в названии государства. Сочиненное в 1922 году, склеенное из иностранных слов, бессодержательное название «Союз Советских Социалистических Республик» – ни одним словом не привязано ни к глобусу, ни к истории Московии, ни к Евразии, являясь искусственным названием утопической униформы, так и не прилипшей к исконной стране. На практике название это официально укорочено и превращено в семантическую пустышку: Советский Союз. Назвали бы Республиканский Союз, Союзный Совет, Социалистический Союз – не было б ни хуже, ни лучше.

Думаю, когда демократизация станет серьезной, а не игрой в поддавки, то поднимется вопрос о том, чтобы, в очередной раз, покаявшись, очистить от идеологических экскрементов и реабилитировать настоящую картину улиц, городов, деревень, фабрик и всего прочего. Народы, населяющие Россию, поистине героические. Сохранить любовь к родной земле в условиях, когда ликвидировали саму возможность назвать место, где живешь, своим именем, непросто. Если реалии станут принадлежать людям, то и названия перестанут быть партийными. В них, этих названиях, прибитых гвоздями к стенам, вписанных в бюрократические бумаги, воплотился миф о том, чего нет. Лично мне симпатичнее американская система названий городов и улиц. Иногда она несколько однообразна, но чиста и стабильна.

Временные имена – как шелуха, как советское гражданство, которого можно лишать или которым награждать по своей

корысти. А реальное российское гражданство, данное рождением на этой земле и универсальными правами человека, остается. Подождем. Глядишь, дойдет дело и до восстановления настоящего названия – Россия. А пока читаем в газетах: «Тысячелетие крещения Руси в Советском Союзе».

Но кое-что из нынешних глупостей я бы в названиях сохранил. Пусть напоминает о славных временах рубки леса. Сохранить что-то надо... Только вот что?¹

Остин, Техас, 1988.

¹ Многим городам и улицам, здесь упомянутым, а также и самой России, позже возвратили исконные имена. Статья «Чудеса переименований» была опубликована накануне этого процесса, передавалась по радио «Свобода» и таким образом участвовала в переменах.



Обложка книги рассказов (художник А.Блох) и последние две строки книги (1971).

ЦЕНА ТОЧКИ

Никогда бы не подумал, что проблема знаменитой фразы «Казнить нельзя помиловать» коснется меня самого. Как известно, царь забыл поставить запятую, отчего приказ его можно было прочитать в двух вариантах: «Казнить нельзя, помиловать» и «Казнить, нельзя помиловать». Цена запятой была равна цене человеческой жизни. Аналогичная история у меня случилась с точкой. К счастью, не жизнь моя, а только моя книга висела на волоске. Вот она у меня в руках.

Это сборник рассказов «Что такое не везет», выпущенный московским издательством «Молодая Гвардия» в 1971 году, в период, который теперь называют застоем. Тираж книги вполне приличный для прозы – 150 тысяч экземпляров. Есть, конечно, и номер Главлита – регистрация издания в цензуре. Рассказы как рассказы, не без подтекста, конечно, но и крамолы особой нет и быть не может, коль скоро издано в тот период. А вот конец книги, то есть последняя страница последнего рассказа, вызывает улыбку даже у тех, кто хорошо знаком с зигзагами цензуры. На той странице... Впрочем, сперва скажу, о чем рассказ, на той странице кончающийся.

Люди жили в московском старом доме, окна которого выходили на грязную кирпичную стену. Стена осталась от другого дома, который давно снесли, а стену убрать забыли. Жаловались жильцы, но сверху не поступало указания снести. Кроме облупившейся стены, жильцы ничего из окон не видели. Мир от них был закрыт. И тогда один из соседей, чудаковатый

одинокий пенсионер-художник, ни за что отсидевший свое, где положено, и за это реабилитированный, с помощью трех подростков намазал во всю стену некий гриновский пейзаж: море, одинокий парус и восходящее солнце. Не абстрактный, избеви Бог, а вполне оптимистический сюжет. Не тут-то было! Другой жилец, который в свое время сажал туда, куда положено (такая у него была профорентация), сообщил, что на стенах без разрешения рисуют, что хотят, и компанию живописцев начинают прорабатывать.

Если до конца открыться, то в подтексте рассказа, который называется «Родная стена», автор хотел протащить примитивный намек: стена всем мешает, но убрать ее нельзя и украшать не положено. Так вот этот прозрачный намек ни редакторы, ни цензура не заметили, хотя другие рассказы из рукописи выкидывали. Когда книжка вышла, «тогда считать мы стали раны», как сказал классик, намекая, я уверен, на цензуру.

Купюр и замен было много, вплоть до имен, недостаточно благозвучных. Стоит ли говорить о таких мелочах, как изъятие малейших намеков на недостатки и убогость жизни? Даже сомнения автора в себе самом были в тексте ликвидированы. Книга называлась «Мне не везет», а стала называться жизнеутверждающе: «Что такое не везет и как с ним бороться». Я еле уговорил убрать хотя бы эту борьбу.

Но дойдя до последней страницы пахнущего краской сигнального экземпляра, я прикусил губу. «На бывшей грязной, пятнистой стене по синим с белой пеной волнам метался парусник, – прочитал я собственные слова. – Над ним висело рыжее солнце.»

Тут стояла запятая, и на этом книга кончалась. Последнюю строку, как сказала шепотом добрая редакторша, цензор велел выскрести уже на валу печатной машины, в последний момент. Корректоры и не знали, что там болтается запятая, не исправленная на точку.

Что же за крамола была в ликвидированных словах рассказа, если ее выдирали по живому так, будто, сохранись она – зашаталась бы держава?

В рукописи было: «Над ним висело рыжее солнце, на которое напознала черная туча». И точка. Только и всего. Разуме-

ется, туча не имела права наползать на наше солнце. Кто ей разрешил? С кем согласовано? Книга должна оканчиваться в мажоре. Советское солнце обязано светить днем и ночью. И цензор личной властью черную тучу разогнал.

Сколько об этом ни пиши – все не полно. За всю жизнь не слышал, чтобы хоть одна книга вышла так, как была написана. Всегда по готовым страницам прогуливалась еще одна властная рука.

Рука эта – Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, или Главлит. После революции аббревиатура означала Главное управление литературы. Изобретено это управление, по-видимому, тремя людьми: Лениным, Крупской и Луначарским. Цензура была управлением в Наркомате просвещения. Деятельность Главлита кооперировалась с другим управлением – Главполитпросветом, ведавшим в стране агитацией и пропагандой, когда в ЦК таких отделов еще не было. Фактически первым цензором, пропускавшим списки книг, разрешенных в советской республике для чтения, была первая леди. Лев Толстой, не говоря уж о Достоевском, были поначалу запрещены ею лично. Это тем более любопытно потому, что гимназисткой Крупская писала письма Толстому и была его восторженной почитательницей. А он ей раз ответил.

Итак, Главлит, Лит или, в печатных изданиях, одна буква «Л», заменяемая, чтобы советологи не догадались, на другие знаки. Например, в книге, уже упомянутой, номер А-09256. Есть и глагол «залитовать». Все, что печатается, будь то приглашение на свадьбу, объявление об обмене квартир или трамвайный билет, – литуется. И на календаре знак Лита. Прежде чем советский человек прочитает, что второго числа среда, цензор проверит, не сведения ли это для служебного пользования.

В областях Обллит, в городах Горлит или объединенный Облгорлит. В каждой редакции, издательстве, на радио и телевидении имеется таинственная комната с надписью «Вход запрещен. Уполномоченный Главлита». Если большая редакция – их несколько. И тогда они несут вахту по ликвидации туч и облаков посменно. Должен признаться, мне все еще странно писать в газету, в которой цензора Главлита просто нет. Впро-

чем и там, где он есть, часто делают вид, что о нем не знают. Обычно редакторша, честная труженица, говорила:

– Запрещено ссылаться на Главлит. Надо говорить, будто редактор просит убраться, но это – они.

Покойный создатель настоящего человека Борис Полевой рассказывал с возмущением, какие настырные американские журналисты. Они спросили его, как работает цензура в журнале «Юность», редактором которого он был. «Нет в Советском Союзе никакой цензуры!» – воскликнул Полевой. Этот его ответ был в американской газете опубликован. А ниже шла цитата из второго издания Большой советской энциклопедии: цензура в СССР «является органом социалистического государства» и ее задача – «предотвращение публикаций, которые могут нанести ущерб интересам трудящихся». Все, как известно, делалось от имени трудящихся, включая уничтожение самих трудящихся.

А как нынче дела насчет ликвидации туч? Теперь публично объявлено, что именно запрет публиковать здравые мысли и привел к тому, что мы видим невооруженным глазом. До гласности власти старались разоблачать царскую и буржуазную цензуру, которая, якобы, имеется в капиталистическом мире, и невнятно говорить о своей.

Так, в третьем издании той же энциклопедии сообщается о том, что советская конституция гарантирует свободу слова, но есть «госконтроль», чтобы не допустить опубликования сведений вразрез с интересами трудящихся. То есть цензуры как бы не было. Нет и вывески на огромном здании в Китайском проезде в Москве, возле гостиницы «Россия», где размещается центральная штаб-квартира Главлита. А есть еще ведомственные цензуры: военная, атомная, космическая, медицинская, управления геодезии и картографии. Гигантский спрут, опутывающий государство. Тысячи служащих. Бюджетные расходы, отнятые от жратвы.

Патологический страх наказания за то, что пропустил какую-нибудь тучку, наползающую на наше солнце, был ведущим, а иногда единственным качеством всех цензоров, которых я встречал, когда работал журналистом и редактором. Большинство из них были полуграмотными, и чем кончается текст – запятой или точкой, для них было едино. С них не за это

спрашивали. Зато у некоторых уполномоченных был прямо-таки мистический нюх: сегодня они уже запрещали то, на что лишь завтра выходила запретительная инструкция. Или – заранее требовали вписать то, что только с завтрашнего дня следовало добавлять в идеологический суп.

Шестидесятые годы прошли под знаком кукурузы. Во всех изданиях должна была упоминаться кукуруза. Цензура зорко следила за цитированием из речей Хрущева. Например, в Издательстве политической литературы в Москве, помню, была установлена норма: пять цитат из докладов Хрущева на один печатный лист, то есть на каждые шестнадцать страниц издаваемой книги. Десятки редакторов судорожно искали: где Хрущев помянул, скажем, кибернетику или глазные болезни? И не найдя, врезали авторам цитаты о том, что он сказал про науку вообще. Одно время появилось указание называть цензоров политическими редакторами. Его быстренько отменили, ибо политический надзор за печатью все-таки осуществлял не Главлит.

Запрет мог быть мелким – отдельные названия, цифры или выражения вроде изъятия нежелательной тучки, и – тщательным просеиванием данных. Например, предыдущие четверть века нельзя было упоминать в печати некоторые этнические группы: крымских татар, немцев Поволжья, евреев. В одном официальном документе я читал: «лица национальности, большинство которой живет за пределами СССР». Это то, что у Гоголя вместо «высморгаться» – «облегчить свой нос посредством платка». Потом слово «евреи» разрешили употреблять, но запретили словосочетание «еврейский народ». В черных списках десятилетиями держали определенные имена.

Ища выход, пытаюсь сдвинуть с места застывший механизм, Политбюро ослабило политические функции цензуры в некоторых редакциях, в частности, в «Московских новостях», «Аргументах и фактах», «Огоньке», возложив персональную ответственность на главных редакторов. Грубо говоря, за тучки стали отвечать редакторы, а за утечку гостайн – Главлит. Читиво пошло веселее. Но, конечно, и политические огрехи стали прорываться чаще, – ведь все инстанции, разрешив, с мазохистским усердием следили, кто споткнется. За ошибки редакторов, как полагается, вызывали на ковер.

Тревогу забил цензурный колокол. Теряя власть, заведующие тайнами стали угрожать утечкой государственных и военных секретов. И в этом есть свой резон. Например, глава партии не появляется публично в течение шести недель. На Западе циркулируют разные слухи. Если генсек купается на курорте, на слухи можно не реагировать. А если серьезное? Кто не только регламентирует, но и зорко бдит, чтобы неодобренная тучка не закрыла солнце? Нет, советский организм не хочет весь просвечиваться рентгеном. Лучше болеть незаметно.

Отношения между печатью и цензурой отражают, я бы сказал, уровень гласности. Есть две всесоюзных организации, которые практически вне игры: это тайная политическая полиция и тайная литературная полиция – Главлит, хотя конечно, «литературная» сказано чересчур узко. Оба эти ведомства остаются под шапкой-невидимкой. Не было случая, чтобы в результате публичного осуждения пострадал хотя бы районный уполномоченный Главлита за то, что он произвольно вычеркнул гениальную мысль, способствующую прогрессу. Как ни смешно, и Михаил Горбачев подлежит цензуре. Устно он еще может высказать что-то субъективное. А в печати это бывает вычеркнуто или поправлено. Может, цензура сильнее партии?

В пору, когда я был молодым журналистом, мы спорили в узком кругу, кто предложит лучший выход из тупика. Представьте, что для демократии в стране можно сделать только один шаг. Какой именно? Ответы были разные: ввести многопартийную систему, распустить на хорошую пенсию КГБ, даже сделать аполитичным образование. Но один из нас ответил: «Все очень просто, ребята! Упраздните цензуру, и она потянет демократию». Теперь отчетливо понимаю, что тот мой приятель был близок к решению. Жаль только, сам он сделал карьеру и, кажется, теперь – за цензуру. С ней, как с хорошим замком, ему спокойнее.

А для не таких, как он, дилемма: или демократическая печать, то есть независимая от власти, или подцензурная. Середина – это либерализация под контролем, полная свобода за колючей проволокой. Кто-то всегда дежурит у дозатора и готов обрубить невыгодную мысль на запятой. Ибо договорить до точки – значит сказать правду. А правда им нужна не вся-

кая, только та, которая нужна. Посчитал бы кто-нибудь накануне юбилея Октября, во что обошлись обрубленные фразы отечеству.

Полистал я старую свою книгу перед сном. И вот ведь пошли неконтролируемые ассоциации: приснилась мне демонстрация. Идут граждане мимо мавзолея и вместо портретов основоположников и призывов несут одни большие вопросительные знаки. А на трибуне стоят лидеры и периодически извлекают откуда-то и показывают гражданам большие восклицательные знаки. На площадь вливаются новые колонны – несут огромные запятые. И тут лидеры вынимают и показывают им огромные, как кукиши, точки.

Между прочим, в жизни демонстранты потом выходят по Москворецкому мосту на Ордынку и Пятницкую. Там неподалеку я родился и жил до войны. Семнадцать лет назад вышла упомянутая книжка с запятой. Прошлой осенью, перед отъездом, сходил я посмотреть: родная мрачная стена перед домом так и стоит.

Что же касается того сборника рассказов, то цензор, кастрировав текст на запятой, сделал книгу прямо-таки историческим экспонатом для Музея цензуры, если он будет когда-нибудь создан.

1988.

ФЕЛЬДФЕБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Московская «Литературная газета» сообщила о важном событии в жизни советских писателей. В качестве читателя мне стало смешно. Но сам я, никуда не денешься, тоже бывший советский писатель. И я начал вспоминать.

Дело в том, что в военном билете, который всегда был непременной частью тамошнего мужского досье, а иногда и женского, у меня значился самый почетный и ответственный воинский чин: «солдат, рядовой, необученный». Точнее бы написать «не совсем не обученный» или «рядовой недоученный», потому что они меня начали обучать, так сказать, солдатскому мастерству.

Произошло это свыше тридцати лет назад в Казахстане, где я тогда после института отрабатывал в школе завучем и, в связи с острой нехваткой кадров в провинции, был учителем всего джентльменского набора гуманитарных предметов. История эта, по-моему, имеет отношение к упомянутой публикации, и вскоре будет ясно, почему.

В армию меня забрали из класса, прямо с урока литературы. Школа рабочей молодежи осталась без завуча и без учителя, но на данное обстоятельство военкомату, понятно, было плевать. Что касается меня, то, хотя каждый солдат метит в генералы, я лично и в страшном сне не хотел стать кем-либо в военной иерархии.

Толстый майор маленького росточка приезжал к бараку на мотоцикле, красный от жары и только что принятого стакана

кзыл-ординской «Московской», и лично разъяснял тактическую задачу: район подвергся химической атаке американского агрессора. Установка – надеть противогазы и в них преодолеть тридцать километров до зоны, обезвреженной нашими химическими войсками.

– Бегом – марш!

Человек, далекий от генштабов, спросит: зачем американскому агрессору в безлюдной пустыне использовать газы? Разве что помочь местным сельхозорганам бороться с сусликами... На деле смысл в империалистической акции был. Едва начинали мы бежать вялой трусцой по раскаленному солончаку, майор садился на мотоцикл и без противогаза ехал по тропинке позади нас. Когда от жары первый солдат, задохнувшись в маске, падал, майор заботливо говорил с характерным акцентом:

– Зачем так себя мучишь, слюшай? Давай пять рублей и вот тебе коробок.

Это были обыкновенные спички. Стоил коробок пять рублей. Заплативший вставлял его между щекой и противогазом. Бежать и дышать отравленным американскими агрессорами воздухом становилось значительно легче. В это время падал второй солдат, и майор подкатывал к нему. Коляска мотоцикла была набита спичками. Когда с ног валился последний солдат и выяснялось, что у него нет пяти рублей, майор в рупор командовал:

– Амэриканский агрэссор разгромлэн. Мэстность дэгазирована. Снять противогазы! А этот солдат поражен. Несите его обратно! Шагом марш!

Больше километра-двух мы никогда не пробегали. Но тащить приятеля по пятидесятиградусной жаре на себе никому не хотелось. На его лечение скидывались по рублю. Майор хохотал, бросал скомканные рубли в коляску и в клубах дыма отбивал в забегаловку.

Проходило утро за утром. Ученья закончились. Так я и не узнал, удалось ли советской армии разгромить американский империализм в Кзыл-Ординской области.

Вспомнилась мне эта история, когда читал в «Литературке» от 19 июля 1989 года ту информацию без названия. Вот она. «Состоялся второй выпуск офицеров политсостава запаса из числа членов Союза писателей СССР, прошедших месяч-

ные сборы на Первых высших офицерских курсах «Выстрел». Все литераторы успешно закончили учебу. Приказом министра обороны СССР им были присвоены первые и очередные офицерские звания. В гвардейской Кантемировской танковой дивизии, где были проведены итоговые занятия, заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского Флота генерал-лейтенант Г. Стефановский в торжественной обстановке вручил писателям свидетельства об окончании учебы и офицерские погоны. При вручении присутствовали секретари правления Союза писателей СССР Ю. Верченко, Ю. Грибов, К. Скворцов, И. Стаднюк».

На всякий случай оговорюсь, что к военным большинства стран я отношусь не хуже, чем к штатским. А к тем, кто воевал и воюет в гуманных целях, спасая народы от проказы тоталитаризма – с особым уважением. Данный разговор про тех советских писателей, кто нынче рвется получить погоны.

Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ. При всей туманности данного почетного звания, в нем было нечто, отражавшее время. Тогда искренне верилось в переделку человеческого естества с помощью условных рефлексов, тщательно проверенных академиком Павловым на собаках. Теперь, полвека спустя, когда художники слова публично превращаются министром обороны в *офицеров человеческих душ*, это, согласитесь, опять отражает время. Кого сегодня дают в Вольтеры советским читателям?

Газета умолчала, кто именно из писателей получил погоны. Возможно, это стратегическая тайна. Но по опыту знаю, что для шоу такого уровня список утверждается наверху и включает самые известные имена. Министр лично подписывает приказ. А известные имена подписывают министру книжки с интеллектуальными дарственными надписями, вроде «Гвардии поэт первого ранга такой-то».

Имен, назначенных министром обороны в Вольтеры, мы не знаем, зато группа энциклопедистов, которые при вручении офицерских погон присутствовали, названа. Вот эти секретари Союза писателей СССР ветреной эпохи гласности.

Первый, Юрий Верченко, – не член Союза писателей, не писатель. Фактический глава Союза писателей. В справочниках не значится, но всегда на виду. Ведает оргвопросами. Сменил

другого литчиновника-чекиста генерала Виктора Ильина. Оба исключали, организовывали травлю, вставляли в черные списки неугодных писателей. Верченко отбирает лиц, едущих за казенный счет в зарубежные поездки, ездит сам вместо писателей. Десятилетиями протаскивает в члены Союза писателей вышедших на пенсию генералов из КГБ и министерства обороны.

Два новых, но не молодых секретаря выросли на волне перемен. Юрий Грибов – выходец из Пскова, был чиновником в областных организациях. В справочниках Союза писателей числится прозаиком и очеркистом. Константин Скворцов – литчиновник, в справочнике обозначен живущим в Челябинске поэтом и драматургом. По мнению писателей, входит в сибирскую литературную мафию, которую поддерживают тамошные обкомы.

Наконец, четвертый секретарь, Иван Стаднюк, 69 лет, в партии 49 лет. Воспеватель мудрости коллективизации и подвигов Сталина. Усовершенствовал толстовскую «Войну и мир», написав роман «Война».

Офицерские погоны повыдавали. Но погоны носят не на голое тело. Значит, либо разыскали на складе, либо будут шить в армейских ателье защитного цвета френчи и галифе из добротного сукна. Не для того, чтобы носить. И, конечно, не в загранку ехать, призывать Запад к борьбе за мир. А для очередных переквалификаций и военных торжеств. Последняя в отечестве кожа пойдет не на детские туфельки – на хрустящие сапоги а ля Коба. Погоны в торжественной обстановке с гордостью получают и у зеркала в Центральном доме литераторов, когда это событие обмывается, примеривают.

Смешно-то смешно, но грустно. Для внешнего шарма подогревается новое мышление, а для внутреннего – кондовое «если завтра война». Во вне – улыбка генсека, излучающаяся по-над костюмом, сшитым в Лондоне, в ателье для миллионеров. Внутри – маршал, по статусу глава Комитета обороны, сплетенные из золотых нитей эполеты.

Мне возражат: Лермонтов, Лев Толстой, Гумилев, не говоря уж о литературно одаренной кавалер-девице, носили погоны. Но делалось это в каждую эпоху по своим резонам. По дворянской традиции, по бесшабашности юности, по необходи-

мости (офицерам хорошо платили), потому что родина была в опасности. Пушкин не носил погон, но накропал постыдные вирши в честь кровавой оккупации Польши, что наши славные писатели делали и делают охотно. Зачем все-таки сегодняшним мастерам слова рваться из рядовых в офицера (Толстой считал, что так звучит лучше)?

Чтобы осмыслить эти стремления, мне захотелось услышать трезвое мнение не советских и не бывших советских специалистов, а американцев. Я поделился с ними сомнениями.

– Войны давно нет, а военные писатели, как мышки в известном опыте, всё педалируют тему, – сказал профессор славистики, мой коллега. – Дело не только в том, что больше ни о чем они не могут писать. Тема войны, запугивание войной, страх, что завтра будет еще хуже – важная часть государственной идеологии.

– Но при чем здесь погоны, то есть кусочки картона на плечах?

– Когда-то, оседлав этого конька, милитаристы заняли в Союзе писателей, в издательствах и даже в Верховном совете руководящие кресла. Жажда власти – самое сильное из всех человеческих стремлений, а погоны, звания, ордена на груди – наиболее примитивные атрибуты этой власти.

– У них были исторические примеры...

– О, да! В коллекционировании побрякушек такие писатели равнялись, разумеется, на лидеров государства. Сегодня в военном аппарате сидят их единомышленники. Армия, надеются они, их опора. Новое поколение – это враги, гласность – десант в их тылу, перестройка – фронт. Теперь они роют окопы в литературе и занимают круговую оборону. И разумеется, надевают погоны.

А вот мнение другого американского эксперта, занимающегося славистикой с точки зрения психоанализа.

– Стремление иметь погоны, а на них хотя бы на одну звездочку больше, чем у других – просто мегаломания, то есть мания величия, – сказал филолог и фрейдист, автор нескольких книг по русской литературе. – Мне кажется, это посредственные писатели, чаще графоманы. Они неспособны выдвинуться за счет интеллекта. Из-за бездарности их нельзя назвать придворными поэтами. Во времена Сталина и Брежнева

они были, в сущности, придворными попугаями, повторявшими догмы, спущенные сверху. Ни о чем, кроме патриотизма, в котором у них сквозит антисемитизм, они писать не могут. Погонями, званиями, должностями, орденами, государственными премиями, статьями, в которых они в неумеренных тонах прославляют литературные подвиги друг друга, они компенсируют свою ущербность.

– Что можно сказать об их здоровье?

– Истоки этой социальной болезни (я имею в виду стремление военизироваться), по Фрейдю, исходят из параноического страха. Эти люди напряжены. Они ждут нападения, во всем видят обман. Сегодня им чуть труднее. Они боятся заслуженного наказания от невоенных за реальные грехи прошедшего времени. В погонах они чувствуют себя уверенней. Некоторые из них добиваются права носить оружие. В прошлом два таких военных писателя – Фадеев и Кочетов – застрелились. В отношениях с женщинами данные авторы не просто мужчины, и не художники (вряд ли женщина будет читать их батально-идеологические бреды), – для женщин они офицеры. Для гомосексуалистов военная служба и разного рода учения есть удобное поле для активности, особенно в советских условиях, при изоляции от дома...

Вот такие я получил комментарии от своих коллег.

Среди писателей нынешней полусоветской России немало рядовых и не рядовых, близких нам по духу, страждущих и надеющихся. Энтузиасты и послушные исполнители воли начальства, готовые носить погоны, как видим, тоже есть. Заведуют процессом товарищи генералы. Мобилизуя писателей в военные батальоны, они готовятся вовсе не к демократии и не к защите родины (это чистая туфта, ибо кто на них нападет?). Вот почему первые высшие офицерские курсы с ласковым названием «Выстрел», предназначенные для поэтов, прозаиков, критиков и драматургов, заставляют даже доброжелательного читателя озаботиться.

Мы как-то позабыли в словесной шелухе, что ПУР (Политуправление Советской армии) как был, так и остался. Это он кастрирует солдатское чтение, не допуская перестроечные журналы в армию. Он содержит графоманов из черной сотни вроде Ивана Шевцова, издавая и переиздавая их сочинения, навя-

зывая изучение их писаний на политзанятиях. Позабыли, но Стефановский, замначальника ПУРа и генерал (сокращенно, стало быть – пурген), ответственный за строевые рифмы, напомнил нам актом вручения погон, что у них, в армии, все путем, все в ажуре.

И видится мне, как все это происходило на военно-литературных учениях на энском полигоне под Москвой, невдалеке от Солнечногорска. Четко печатая шаг, майор стихотворных войск Р. подходит к подполковнику литературной службы Б. и, отдав ему честь (ненасовсем), рапортует:

– Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Дозвольте моему замполиту капитану К. зачитать перед строем бойцов-рифмачей рапорт-поэму-присягу под кодовым названием «Шагаем только правой». Эпиграф из полковника С.: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

Внезапно рядом приземляется вертолет.

– Отставить, майор! – перебивает подполковник, и оба вытягиваются в струнку. – Перья на пле-чо! В расположение нашей части прибыл генералиссимус советской литературы и гаулейтер сибирской прозы М. С ним литературный оперуполномоченный Смерша В. Здравия желаю, ваши высокородия! Дозвольте доложить о творческих победах комсостава нашей военлитчасти на фронте борьбы за и против. На сегодняшний день писателями в погонах создано 123456,78 погонных метров военной литературной продукции. Недовольный условный читатель уничтожен...

Тут я, пожалуй, прервусь, поскольку в этот момент генералиссимус спросил, где поблизости нужник. Если у читателей возникнет желание продолжить этот шедевр, милости просим. Заряжайте сюжет и стреляйте. Присылайте ваши сочинения. Победителям будут вручены погоны с количеством звезд по желанию самих сочинителей. А пока вернемся на реальное поле боя.

Потрескались и замарались идолы, перед которыми стоят навтыжку писатели-офицеры. Едят глазами начальство, которое косит налево. То, о чем пишет «Красная звезда», больше годится для «Крокодила». А они все бьют в барабан, рекомендуя сочинять стихи в строю, рассчитавшись слева направо по одному и маршируя в ногу. Глядишь, и делиться начнут не по

творческим объединениям, а по родам войск. Их великий коллега напоминает мне (а еще больше им) о славных травлях прошедшего времени.

Дело в том, что на стене у меня в университетском офисе висит портрет, который приводит в умиление посетителей. Смотрят серьезно, потом начинают улыбаться. На портрете изображен крупным планом последний гений соцреализма в золотых погонах маршала. Он достиг совершенства в изображении собственных подвигов, которых он не совершал. А затем описал их в произведениях, которые... не писал. Это, как уже понятно читателю, Леонид Брежнев. Портрет, написанный маслом, я сам сфотографировал в Третьяковской галерее в 1975 году. К сожалению, не записал, а теперь никак не могу оживить в памяти фамилию этого Рембрандта: намертво выпала из памяти. Ну, как можно таких авторов в погонах, как Брежнев, удалять из советской литературы, тем самым обедняя ее сокровищницу?

Грустно происходящее, дорогой читатель. Нет среди военизированных классиков, сочиняющих бронетранспортерную лирику и ипритовую прозу, ни Гоголя, ни Зощенки. Не погоны нынче надо пришивать на плечи таким писателям, а талоны на сахар и мыло.

Чему научились славные милитаристы-писатели (назовем их для краткости милиписатели) на занятиях в гвардейской Кантемировской танковой дивизии? Ведь это та самая дивизия, что стоит вблизи Москвы и вводится в первопрестольную во время правительственных заварушек. Может, там милиписатели выяснили, на каком пути сейчас стоит бронепоезд (инвентарный номер 14-69)? Узнали, когда их в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой их поведет? Кого от кого теперь освобождать? Кого окружать братской помощью? Или снова двинуться на врагов внутренних?

Нет у меня ответов на эти вопросы, как нет ответа на еще один: что на уме у фельдфебелей от литературы? Вспоминаю тот спичечный коробок, который дают вставить между щекой и противогазом, чтобы отдышаться.

1989.

РОДИМЫЕ ПЯТНА, ИЛИ МОСКОВИТЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

Полгода назад я получил несколько одинаковых писем из разных университетов о том, что в США прибывает известный советский журналист и критик, специалист по советской и американской литературам Г-ов. Кроме этого, как сообщали письма, Г-ов культуролог, знаток религий (может быть, теолог?), специалист по фантастике (наверное, фантаст или футуролог), а также и эксперт по стратегии звездных войн (наверняка, связан с советским пентагоном – не на кухне же он эту стратегию разрабатывает). Письма особо отмечали его эрудицию в теории и практике советской журналистики до и во время гласности. Прилагался список отраслей знания, в которых гость может прочитать лекции. Причем на английском, которым он владеет свободно.

Окончание писем было настоятельно-рекомендательным. Калифорнийскому университету в Дейвисе предлагалось заранее согласовать визит с другими университетами, поскольку гость будет нарасхват, выделить средства на дорогу, оплатить не менее чем две, а еще лучше несколько лекций в одном месте (от 200 до 300 долларов за каждую, ибо одна лекция гостю не выгодна). Требовалось обеспечить транспортировку прибывающей знаменитости от, до, между и внутри, оплатить отель, питание, помещения для выступлений, рекламу, «ибо гость из СССР стеснен в средствах».

О Г-ове я прежде, к стыду своему, не слышал. Возможно, от узости собственного профиля. В советской и американской литературе, где он специалист, имя такое мне не попадалось.

В принципе ничего против выступлений советских гостей в американских университетах я не имею. Больше того, я и мои коллеги им всегда рады. Чем больше контактов, тем, вообще говоря, лучше для обеих стран. К нам едут ежедневно со всех материков, правда, не с такими обильными требованиями. Тихо и, я бы сказал, стеснительно выступил у нас незадолго до московского гостя с интереснейшей лекцией «Как найти работенку вроде моей?» Курт Воннегут, заставив многотысячную аудиторию полтора часа хохотать. Понимаю и финансовые заботы советских товарищей, поскольку раньше за фунт сухеных рублей давали один английский фунт, а теперь и этого не дают. Зато у гостя с собой уникальная информированность, эрудиция, интересные соображения, и он едет с американской, как здесь говорят, академией поделиться. Между нами девушками, специалисту во всех областях я не полностью доверяю, но бывают же исключения. Леонардо да Винчи, например.

О том, что средства выделены и Г-ова пригласили, я узнал из нараставшего потока объявлений о его предстоящем прибытии, распространяемых разными организациями, в том числе, Дейвисским научно-исследовательским институтом глобальных конфликтов и сотрудничества. Сообщали, что «его (гостя) план покрывает следующие районы (то есть в каждом из районов гость охватывает группы разного рода учреждений. — Ю.Д.): город Вашингтон, штаты Вашингтон, Канзас, Мичиган, Иллинойс, территории Роуд Айленда, Лос-Анжелеса, Сан-Франциско и т.д. Дополнительные темы лекций пока еще можно срочно заказывать у мистера Г-ова лично по его московскому телефону».

Потом появились на кампусе огромные афиши: «Лекционное турне Г-ова». С его краткой биографией. Из нее следовало, что он энергичный молодой журналист (выходит, еще молодой, но уже известный – редкое сочетание!), а также великолепный оратор. И – круг его энциклопедических знаний расширялся. Кроме сообщенного ранее, он киновед и апокалипсисовед (то есть знает, когда наступит конец света). В графе профессия было проставлено место службы: литсотрудник жур-

нала «Наука и религия». О личных заслугах Г-ова, между прочим, было сказано (стараюсь перевести кратко, как можно точнее, самое основное): «составитель антологии советской фантастики», «лично знаком со многими писателями-фантастами» и – «со знанием дела может говорить о выдающихся успехах современной советской литературы и кино».

На лекцию господина Г-ова «Журналистика в СССР раньше и теперь» пришло человек тридцать пять, в основном политологов, славистов и историков, – официальный прием представителя иностранной державы. Один из присутствующих был в сильно поношенных брюках, не подпоясанных ремнем, и в мятой рубашке с засученными рукавами. Это и был известный советский журналист. Когда его представили, выяснилось, что он не столько журналист, сколько физик, который работал по своей основной профессии под другим именем. А под псевдонимом Г-ов стал писать статьи. Потом изменил профессию: перешел на службу в журнал «Наука и религия», где пребывает по сей день. Что ж, вполне понятный и даже заслуживающий уважения ход конем: человек выбрал новое призвание. Но дальше возникло недоумение.

Лекцию свою Г-ов начал так (записано на пленку, перевожу):

– Я понятия не имею, как читать лекцию о журналистике. Но если будете задавать вопросы, я на них отвечу.

Студенты, которых я привел, повернули головы ко мне. Я покраснел.

– Может быть, вы хотя бы кратко обрисуете нам тему обещенного сообщения? – робко попросили гостя слушатели.

На ломаном английском языке, с помощью подсказок слов, которых он не знал, докладчик поговорил о гласности и перестройке в смысле того, что до этого был застой, а теперь наоборот. Присутствующие стали задавать вопросы, и из ответов узнали, что есть в СССР передовые издания «Огонек» и «Московские новости» (докладчик разделяет их симпатии) и еще не перестроившиеся журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник». Что налицо прогресс: Залыгин, хотя и редактор «Нового мира», но беспартийный. Что у верующих раньше свободы было меньше, а сегодня больше. Ответы, как говорится, незамысловатые.

Несправедливо упрекнуть гостя в дезинформации. Дезинформации, можно считать, не было. Но не было и информации, если под этим словом понимать хоть что-либо, выходящее за рамки детского лепета. О том, что рассказывал Г-ов, все присутствующие знали не хуже оратора. Любой из читающих эти строки тоже мог бы ответить на все вопросы, и, возможно, за меньшую сумму. КПД лекции был равен нулю.

Впрочем, постойте-ка. Университет выложил круглую сумму. Собравшиеся (все люди весьма занятые: я видел среди них видного экономиста, консультирующего правительство) впус- тую потратили время. С другой стороны, гость не только вобрал в себя эту сумму и превратил ее в материальные ценности, но и получил за поездку много информации.

– Сейчас я собираюсь писать книгу об Америке, – заявил Г-ов в конце собеседования и даже немного приоткрыл карты. – Наша главная задача – поддерживать Михаила Горбачева в его начинаниях.

Честно говоря, думалось, что оратор поблагодарит за внимание. Дежурная фраза, не более того. Но она не появилась. После того, как гость разъяснил присутствующим профессора- м их главную задачу, слушатели воспитанно и тихо разошлись.

Я подошел к Г-ову познакомиться и предложил перейти на русский. Он отказался (мышление, дескать, уже стало английским), но благополучно перешел. Поговорить, однако, оказалось невозможно, поскольку каждая минута гостя расписана. Представители Института глобальных конфликтов, организатора встречи, собрались везти утомившегося докладчика в ресторан обедать, поскольку через два часа уже начиналась следующая его лекция «Современная термоядерная война». Как она начнется (не война, а лекция), уже можно было себе представить. Узнал я, что мистер Г-ов приезжает в Америку третий раз. На этом этапе выступает в двадцати американских университетах.

– Я на полной самокупаемости, – гордо пояснил он. – Своей копейки не трачу!

В этом трудно было усомниться.

– Ну, а не опасно так смело и остро говорить о гласности и перестройке? – осторожно спросил я.

Гость иронии не уловил.

– Первые разы трудно было. А сейчас понял: можно что угодно говорить. Они ведь ни черта не понимают. Вы же видели, какие вопросы задают.

– Вопросы задавали три-четыре пенсионера, которые приходят на такие лекции, чтобы не скучать дома. А специалисты вас не спрашивали...

– Ну, меня ждут, – заспешил он.

На том мы и закружились. На вторую лекцию я, разумеется, не пошел. Студенты после сказали, что она отличалась такой же глубиной. Не знаю, сколько всего людей в двадцати университетах слушали этого известного журналиста. Не знаю его американских друзей, которые, как он мне объяснил, помогают ему предпринимать эти турне. Ясно лишь, что на сегодняшний день Америка открыта уже четыре раза: раз Колумбом и три раза Г-овым.

– Может быть, он знает что-нибудь, но просто не может выразить из-за плохого английского? – предположила одна моя студентка.

Мне же кажется, что дело тут не в английском. На английский и перевести нетрудно, было б что. Поставим вопросы в иной плоскости. Зачем человек рвется выступать, если ему сказать нечего? А если нечего сказать, зачем ехать так далеко? Как удастся гостю успешно выдавать себя за видного советского эксперта и журналиста-перестройщика?

Едут в Америку многие. Известные и неизвестные, смелые и трусоватые, но стиль чаще всего вырисовывается один. Мягко говоря, отсутствие стеснительности. Чуть жестче – стыда. Еще чуть строже – видна нагловатость. А принципа два: галопом и за твердую валюту. Но при этом охотно потребляя гостеприимство. Вот что, однако, занимательно: не только материальные, но и моральные обязательства, оказывается, несет только принимающая сторона. А советские – ну, вы же понимаете, какой с них спрос?..

В нашем университете незадолго до описанного выше консультанта по гласности и перестройке была объявлена группа членов Союза писателей. Из имен глаз выделил только одну известную поэтессу. Текст афиши: «Поэт такая-то прочтет стихи по-русски, и кто-нибудь переведет». Это «кто-нибудь переве-

дет» применительно к стихам мне особенно понравилось. Другой гость обозначался в объявлении как «президент московского отделения Союза поэтов, поэтический критик». Про Союз тамошних поэтов я раньше не слыхал.

Пришел я, привел студентов послушать музыку советского стиха. Оказалось, группу писателей в зале заменяет одна переводчица с английского из Москвы.

– А где обещанные по списку?

– Видите ли, они в данный момент в Москве, в очереди стоят за билетом...

И прибывшая гостья (хорошая, между прочим, переводчица Апдайк и Чивера на русский), представленная нам известным американским поэтом – нашим университетским профессором, сразу стала агитировать собравшихся подписываться на книгу, коя еще не вышла. Это будет совместное советско-американское издание в духе гласности: часть авторов советские, а часть янки. Переводчица стала раздавать заявки, чтобы заполняли тут же и прилагали чеки: цена книги двадцать два доллара. Собравшиеся никак не могли взять в толк, почему автомобили и дома сперва дают, а потом за них выплачивают, а за книгу, еще не написанную, надо платить вперед. Им объяснили, что так в СССР принято.

На том объявленная дискуссия о поэзии закончилась.

Опять-таки я ничего не имею против стихов известной московской поэтессы, они мне нравятся. Не напрямую виноват и «Аэрофлот» (хотя я однажды горел в его самолете и люблю его ругать). Не понимаю лишь мелочи: почему на выступлении поэтессы этой и президента Союза поэтов мы сидели в Калифорнийской губернии, а они в это время стояли в Московской на Фрунзенской набережной? Что, телефона еще не изобрели? Снять бы трубочку и позвонить:

– Дорогие хозяева, извините. Я, такая-то, задерживаюсь по независящим от пославшей меня иностранной комиссии Союза писателей обстоятельствам. И вот тут за мной (а может, впереди – президент все-таки!) стоит в очереди поэтический критик. Он тоже приедет не тогда, когда объявлено, а когда достанет билет...

Вскоре я отправился в Сан-Франциско на гастроли московского театра «Эрмитаж», к которому раньше относился хо-

рошо. Хотя и не сенсация, но, наверное, неплохой показали спектакль «Галич». После спектакля, когда зрители по сложившейся нынче традиции грузили неимущих советских актеров в автомобили, чтобы везти их погудеть в ресторане, шел я по улице и думал: что же объединяет талантливого режиссера с налетчиками на университеты? Какая нить тянется от заведующего московскими поэтами, который вообще не выступал, к режиссеру, который появился на сцене?

Спектакль театра «Эрмитаж» начался на двадцать пять минут позже обозначенного времени. Зрители смущенно похлопывали в полутьме, напоминая, что пора бы приступить к гастролям. Наконец зажгли рампу. На сцене высветился руководитель труппы в заношенных джинсах. Встал возле унитаза и нескольких картонных коробок, взятых на ближайшей помойке (декорациям эпохи гласности свойственны смелые художественные решения). Боюсь выглядеть ханжой, но это же сцена все-таки, хоть и бегущая по волнам. В Москве бы, сиди в зале замызганный чиновничек из Министерства культуры или даже из отдела культуры Мосгорисполкома, режиссер перед выходом к рампе в лучшем своем костюме десять раз поправил бы галстук. А тут... Все сойдет...

Как, думаете вы, начал священное слово перед американским зрителем главный режиссер московского театра «Эрмитаж» на калифорнийской сцене? В жизни не догадаетесь!

– Мы вам показываем спектакль, хотя в Сан-Франциско только один день, завтра уезжаем, и наши актеры даже город осмотреть толком не успели.

– Спасибо вам! – сказала женщина из зала.

И я хочу повторить: большое спасибо. Могли бы актеры витрины обзирать, промтоварами запастись, а вот ограничили свои естественные желания из-за нас, зрителей. Пошли на жертву. Что ж с того, что зритель хорошо заплатил за билет и ждет? Понимать надо: актеры-то когда опять в Америку попадут. В опубликованных объявлениях, между прочим, значилось: «По окончании спектакля состоится обсуждение с участием зрителей». Об этом даже не помянули. И играли без антракта, чтоб быстрее.

Что-то слышится родное в песнях эдаких гостей: необязательность, социалистический наплеизм. Открыть границу мож-

но росчерком пера, но с открытием границы разница в нравах становится только острее. Две трети столетия советским журналистам, поэтам и актерам вдалбливали, что они самые лучшие в мире, а другие, там, за кордоном, не люди вообще. Осознав это добровольно или по необходимости, журналисты, поэты и актеры ретранслировали эти мысли дальше: в газетах, книгах, на подмостках. Два мира – две морали. Обмануть врага, получить и не дать есть доблесть и геройство. За это вешали на грудь ордена.

Граница открыта только что, а психология сформирована давно. Какая ближайшая цель поездок? Конечно, потреблять. Мы не можем ждать милостей от Запада, взять их у него – наша задача. Тем более, что есть чего брать. И некогда сказать «извините» или «спасибо». Да и зачем?

Слышу от многих коллег, что гости неофициальные добрей, внимательней, не побоюсь сказать, порядочней посланцев официальных советских организаций. Как только российский человек хоть косвенно представляет не себя самого, а учреждение, – отбыв, он уже не пришлет вам открытку со словом привета. Он вас употребил, выполнил, что намечал, получил, чего хотел, сдал положенную часть добытого в посольство в Вашингтоне и – штепсель выключен до следующего раза. Когда вы понадобится, вас уведомят.

Родимые пятна отечественного воспитания... Дерево познания добра вырублено с корнем, а на этом месте вырос репейник. Один мой коллега, когда я поделился с ним мыслями по поводу новой породы советских гостей, заметил:

– Нельзя смотреть на происходящее с одной стороны. Это рынок. Если кто-то ухитряется продавать шелуху от семечек, значит, есть спрос. Кто-то эту шелуху покупает.

С этим трудно не согласиться. Наивность приглашающих аборигенов, мотивы, по которым это делается, анализу и описанию не поддаются. Кто-то слышал от кого-то, что за железным занавесом есть такой-то. А дальше... Все зависит от таранных способностей гостя. Если они достаточно эффективны, то Америка сдается.

Несколько крупнейших организаций раскошеливаются, транспортируя упомянутого выше лектора из Москвы через океан и по всем Соединенным Штатам. А он, зная наивность и

терпимость хозяев, смело играет роль известного советского журналиста, критика, эксперта и, Бог знает, кого еще, таковым не будучи.

Мы знаем многих подлинных писателей, артистов, ученых, которых официально не посылают и не принимают. Некоторые из них появляются по частным приглашениям. Используя личные связи, мы организуем их выступления, подчас бесплатно или платим сами. Большинство таких людей не едет вообще. У них нет нахрапа, свойственного налетчикам.

Американцев можно понять. Они хотят больше узнать о происходящем в России из первых рук. Они доверчивы и легко заглатывают приманку. Культурных организаций несчетное количество. Вот почему я не удивлюсь, если апокалипсисовед Г-ов вскоре снова появится на нашем побережье в очередном транзитно-лекционном турне. Звоните ему заранее, господа. Но, конечно, готовьте наличные. Гость ведь на самокупаемости.

1989.

БЮРО ПОГОДЫ ИМЕНИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

**Обозрение нравов минувшего года,
в котором участвуют советские журналисты,
автор из Калифорнии
и его любимый бронзовый герой в Москве**

Новый год начался для меня теплым поздравлением из Москвы. Журнал «Человек и закон»¹ объявил, что собирается прислать мне в Техас повестку «в уголовном порядке... держать ответ перед советским судом». Журнал меня разоблачил как оскорбителя чести указанного в заглавии пионера-героя №1. Кроме того, по мнению редакции, я обесчестил одного из героев своей книги, с мальчиком связанного. Позвольте процитировать два абзаца.

«Не так давно Дружников жаловался, что всю жизнь провел в СССР в очередях, только родился вне очереди – в коридоре роддома, – пишет советская журналистка В.Кононенко. – Теперь благоденствует в Техасе, преподает в университете. Повезло ему и еще раз: быстренько сумел напечатать в Англии свой роман. Видно, не терпелось издательству «Оверсис» выпустить в свет еще одну антисоветскую фальшивку.

И вот о чем хотела бы я спросить Дружникова: «Что он теперь думает о правах человека, конкретно, о правах С.Н.Кар-

¹ В.Кононенко. Посмертно... репрессировать. «Человек и закон», №1, 1989, тираж 10 млн.

ташева? На каком основании ославил старика, объявив его «убийцей»? Не мешает писателю вспомнить, что в нашей стране закон охраняет честь и достоинство граждан, и тот, кто закон этот злостно попирает, может быть наказан в уголовном порядке. И не пришлось бы «автору», получив в Техасе повестку, вернуться в покинутую им страну, чтобы держать ответ перед советским судом. Любопытно было бы посмотреть, на основании каких документов попытается «писатель» отстаивать свою «версию».

Упомянутое эссе «Я родился в очереди» было опубликовано в газете «Вашингтон Пост» десять лет назад, 15 июля 1979 года, когда меня тайно и против собственного устава исключили из Союза писателей. Нехитрая суть эссе в том, что я родился в очереди (а не вне очереди) и стоял в очередях всю жизнь, пока не выехал из страны. «Свой роман» – не роман вовсе, а документальное исследование по истории советского общества, название которого журнал стыдливо опускает. Что же до исторических фактов, обсудим их несколько позже.

Дабы не забыть, сразу поясняю редактору журнала «Человек и закон» В.М.Сиренко, что я живу теперь не в Техасе, а в Калифорнии, в городе Дейвисе, а то еще повестка потеряется. Перед тем, как вызывать, почитайте что-нибудь о юриспруденции, чтобы не путать гражданские дела («ославил старика») с уголовными («наказан в уголовном порядке»). Все-таки вы орган Министерства юстиции. Не забудьте запросить правительство о возвращении ответчику незаконно отобранного гражданства (и суммы в рублях за это взятой). Проверьте также у себя в сейфе наличие твердой валюты. Одна поездка ответчика будет вам стоить знаете сколько? И умножьте это на столько раз, сколько раз суд будет откладываться. Кстати, фамилия потерпевшего всегда писалась через «о» – Карташов – так он значится во всех документах ОГПУ.

Более двух лет назад в Лондоне вышла документальная книга «Вознесение Павлика Морозова». Четырнадцать лет имя мое в советской прессе было под запретом. И вдруг – склонение во всех падежах с незабытым лексиконом: «антисоветская фальшивка», «быстренько сумел напечатать», «оскорбление могилы Мученика» (с большой буквы). Вероника Кононенко книги «Вознесение Павлика Морозова», вышедшей в Лондоне, не чи-

тала, но пишет (забавная искренность): «любопытно было бы посмотреть». А происки в этой книге Кононенко обнаружила по моему интервью «Голосу Америки», которое она «случайно записала на пленку», и опубликовала вывод, что я намереваюсь «посмертно репрессировать» пионера-героя. Опять накладка: как же удастся его репрессировать посмертно, если он вечно живой?

Короче говоря, и для меня в 1989 году настала гласность, правда «в уголовном порядке». Мрачной статье в журнале «Человек и закон» предшествовали многочисленные мелкие наскоки и намеки в советской печати на моего героя: что он, дескать, не совсем хороший, а насчет моральной стороны дела – тоже как-то, в общем, не то. Г-жа Кононенко разъяснила: во всем виновато, разумеется, радио из-за бугра. В чем же суть дела, отбросив советский идеологический камуфляж?

В конце 1987 года в Лондоне вышла ходившая до этого четыре года в Самиздате книга. В ней – результаты нескольких лет кропотливого изучения истории пионера-героя №1, как он записан в Книге почета ЦК комсомола, и процесса создания официального советского мифа об этом славном мальчике. Объехав тринадцать городов, я аккуратно записывал на пленку и фотографировал последних живых свидетелей.

Работал я с 1979 по 1983 год. Но легче стало ездить в Сибирь в 82-м. Мои коллеги направлялись на родину Павлика Морозова в Герасимовку в связи с пятидесятилетием смерти героя накладывать на него, как говорят американцы, «мейкап» – новый слой. И хотя я ехал как раз с обратной целью: старый слой грима отмыть, – никому это в голову не приходило, и никто не обращал на меня внимания. Да и я сам был весьма осторожен. Защитница мальчика-доносчика Кононенко напишет после, что расспрашивая о том, как было на самом деле, я тем самым обманывал доверчивых людей. А я оказался последним, кто успел записать их показания. Нашел мать героя Татьяну, брата Алексея, отсидевшего червонец за шпионаж, племянника, которого тоже зовут Павлик Морозов, родственников, одноклассников, учительниц, следователей дела о его убийстве, архивы первых журналистов, примчавшихся в глухую сибирскую деревню Герасимовку писать о нем, материалы секретно-политического отдела районного ОГПУ. Большинство

участников дела Морозова теперь в лучшем мире. Последние свидетели уходят.

Документы свидетельствуют, что Павлик как модель для подражания, о которой написаны сотни книг, полотен маслом, симфонических произведений, киносценарий и даже опера, и реальный подросток из деревни Герасимовка нынешней Свердловской области, мягко говоря, не совпадают. Документально доказано, что Павлик Морозов донес на собственного отца не ради партии и социализма, а потому что его мать подучила сына донести, чтобы отомстить отцу за то, что ушел от нее к другой. Кулаков в Герасимовке, с которыми боролся Павлик, не было, но по указанию сверху в тот момент их надо было найти и уничтожить для разжигания классовой борьбы в деревне.

Представители райкома партии и ОГПУ использовали мальчика, чтобы подглядывал, где лежит хлеб у соседей, который надо отобрать силой. Крестьян организованно грабили, а ребенка использовали наводчиком. Вот как писала о Морозове «Пионерская правда» вскоре после убийства: «Павлик не щадит никого... Попался отец – Павлик выдал его. Попался дед – Павлик выдал его. Укрыл кулак Шатраков оружие – Павлик разоблачил его. Спекулировал Силин – Павлик вывел его на светлую воду. Павлика вырастила и воспитала пионерская организация. Из него рос недюжинный большевик».

Кроме доноса, никаких заслуг перед родиной у Павлика нет. Но кому нужно было зверское убийство подростка, да еще вместе с братом и поблизости от деревни? Сверху поступила команда: повсеместно расстреливать кулаков и любой ценой организовывать колхозы. На террор кулаков ОГПУ готовило ответ – чекистский террор. А поскольку крестьяне вели себя мирно, надо было изобразить террор кулаков. За кровавое убийство мальчика и его брата арестовали свыше десяти крестьян, чтобы запугать всю деревню, а затем расстреляли дедушку, бабушку, дядю и двоюродного брата Павлика («кулацкую банду»).

Однако по обнаруженным документам Секретно-политического отдела ОГПУ Урала, серия «К» (кулачество), убийцы были вовсе не «лица, настроенные антисоветски», как утверждает официальный миф, а чекисты. Их имена названы в книге. Уполномоченный Карташов, которого защищал от меня жур-

нал «Человек и закон», лично застрелил без суда еще 38 человек (его собственные показания, данные не без гордости). Карташов хвастался, что убил бы и больше, да был отчислен из органов по причине эпилептических припадков. Заслуженную пенсию он получил.

Осведомитель ОГПУ в деревне Герасимовка Иван Потупчик, который впоследствии сидел в Магнитогорске за изнасилование несовершеннолетней девочки, похвалялся мне, как занимался расстрелами в карательной дивизии НКВД. Оба эти человека – преступники, и есть документы, указывающие на их причастность к убийству двух детей, одного из которых Сталин и партия сделали национальным героем.

Но кто бы ни убил Павлика Морозова, в любом случае, полную ответственность за убийство этого мальчишка и за расстрел миллионов других малолетних павликов несет ОГПУ-КГБ, по выражению Ленина – «вооруженная часть партии». Колхоза, который Павлик, якобы, защищал от врагов, не существовало. «В ответ на убийство» чекисты держали под винтовочным дулом крестьян, пока те не записывались в колхозники. Если б не террор партии против народа – сейчас наша родина не шла бы по миру с протянутой рукой.

Пионером Павлик (и это доказано) тоже никогда не был. Дети ходили в церковь. Пионером Морозова называли сперва в секретных документах, а затем в газетах после его убийства. Придумали легенду, что его, якобы, «пригласили в район» и там приняли в пионеры. Точно также после смерти его сделали русским, ибо герой №1 должен быть «старшим братом», а Павлик, его родители и вся деревня – белорусы.

Сам-то мальчик Морозов ни в чем не виноват. Он, как установлено, был умственно отсталым, к тринадцати годам едва выучил буквы, а уж в политике-то и вовсе ничего не понимал. Взрослые дяди, используя его неполноценность, учили его доносить, а потом убили его и брата, приказав захоронить их без следствия. Когда скрыли все улики, организовали шумный всесоюзный показательный процесс против кулачества. Расстрел невиновных в ноябре 1932 года был сигналом к массовым бесконтрольным расправам партийной полиции по всей стране.

Положительный герой-доносчик понадобился НКВД для уничтожения кулаков, а затем для кампании массового доно-

сительства накануне и во время большого террора. Родился Павлик в Сибири, а создан в Москве. В бронзе он и там, и тут. Со всей страны в Москву стекались доносы. Через год после смерти Павлика «Пионерская правда» уверяла: «Миллионы зорких глаз будут следить...» А в декабре 37-го газета «Правда» в передовой призывала к доносам всех: «Каждый честный гражданин нашей страны считает своим долгом активно помогать органам НКВД в их работе».

Сегодня проблема не только в том, что было сделано, но, прежде всего, в том, что продолжают делать с этим мальчиком уполномоченные на то взрослые.

Как уже было сказано, обо всем этом задолго до статьи в журнале «Человек и закон» поведали зарубежные голоса, хотя их тогда еще глушили. То там, то тут стали проскакивать в советской печати намеки на Морозова. Журнал «Огонек» рассказал о четвертом классе одной московской школы, который во время перестройки борется за право носить имя Павлика Морозова. И журналистка Татьяна Иванова мужественно писала об обществе сталинских времен, извратившем «даже самые первичные понятия о нравственности».

В публицистическую борьбу за очистку духовной атмосферы вступил кинорежиссер Эльдар Рязанов на страницах «Московских новостей». «Что такое советский гуманизм? – спрашивал он. – И чем он отличается от обычного? Нормальный, общепринятый гуманизм – это человечность, правдолюбие. А советский гуманизм вдохновлял Павлика Морозова доносить на отца». Хотя все давным-давно ясно не только нам с Рязановым, все ж до такого откровения советская печать раньше не поднималась. Гуманизм тут не при чем, – это ясно и «Московским новостям», и читателю. Речь идет о коммунистической морали, отличной от нормальной. Такая мораль, известно, классовая, как Ленин говорил, краеугольный камень. А камни там сдвигать еще нельзя. Федор Бурлацкий в «Новом мире» заявил: «Я до сих пор вздрагиваю каждый раз, когда подъезжаю к своему дому на улице Павлика Морозова». Уточним: Бурлацкий живет не на улице, а в переулке Павлика Морозова. Но «вздрагивать» многие москвичи готовы с ним вместе.

Не выпады против героя №1 отдельных нетерпеливых представителей интеллигенции испугали власти. Обратная связь по-

шла от миллионов детей, конечно же, туда, куда печать ежедневно призывает сообщать. В газеты потекли письма. «Недавно узнал о том, что Павел Морозов вовсе не тот, о каком мы говорили, не пионер-герой, а предатель, – писал в редакцию «Пионерской правды» мальчик из города Цимлянска Ростовской области. – В нашей отрядной песне есть такие строки: «Равняйся на Павла Морозова!». А на кого равняться? Я очень гордился, что наш отряд носит его имя. А вышло вон что».

Очень важный вопрос задал взрослым мальчик. Нынешняя гласность сделала еще шаг, чтобы назвать дела прошлого своим именем. Молчать трудней: миллионы читают советские газеты, но эти же миллионы слушают западные «голоса». Книга «Вознесение Павлика Морозова», изданная по-русски в Лондоне, стоит на черном рынке 70 рублей. Имеется значительное количество граждан, которым неловко, что у страны герой №1 – примитивный стукач. Дети теперь другие, они прекрасно понимают, что к чему. Вряд ли сейчас найдется разумный мальчик, который побежит в райотдел КГБ сообщать об антисоветских анекдотах, которые он слышал от отца: все их рассказывают, всех не посадишь: кто будет перестройку делать?

Но зашевелились и те, кто спокойненько стучал все эти годы и кто на этой ответственной работе занят сейчас. Запахло разоблачениями. Похоже, органы пропаганды и не предполагали, что тема окажется настолько болезненной. «...Пишут пионеры и их родители, – сообщала газета. – Пишут учителя и библиотекари. Пишут ветераны и студенты. Вопросов в письмах много, но суть у них одна: хотим знать правду о Павлике». Советская пресса, после многих лет табу, заговорила об этом мальчике, – знак сам по себе отрядный. В духе времени Всероссийское общество «Знание» организовало в Москве круглый стол «Белые пятна в истории комсомола».

Мнения историков разделились. Одни (например, кандидат исторических наук А.Галаган) назвали Павлика Морозова «пионером-доносчиком». Галагановский комментарий: «К П.Морозову как к личности отношусь положительно (! — Ю.Д.), но резко осуждаю тот символ, который из него сделали во времена культа личности Сталина». Другие стояли на своем. Доктор исторических наук В.Криворученко (сотрудник Научно-исследовательского центра Высшей комсомольской школы при ЦК

ВЛКСМ) и кандидат исторических наук Л.Кононенко (не спутаем с В.Кононенко – сотрудницей журнала «Человек и закон») в процессе постижения истины установили, что «гражданская позиция должна цениться выше, чем родственные, семейные отношения». Стало быть, донос детей на родителей морально оправдан.

Мальчик эпохи гласности, ровесник Морозова, писал из глубокой провинции в московскую газету, чтобы там узнать правду, а образованные дядя и тети, обсудив разные мнения и наговорив целую страницу вранья о подвигах Морозова, пришли в «Пионерской правде» к научному заключению (простим безграмотность, не до этого): «Подробно изучив все обстоятельства жизни и смерти Павлика Морозова, не уважать его нельзя».

В либеральных «Аргументах и фактах» старший советник юстиции из Прокуратуры СССР И.Титов отвечал читателям, что он изучил «архивные материалы следствия и судебного разбирательства об убийстве Павлика Морозова». Кому же как не прокурору изучить бы? А затем «мейкаповец» Титов рассказал несведущему читателю старый миф, почерпнутый им из газет и книг. Обвинительное заключение по делу об убийстве Павлика и его брата прокурор исследовал по газетам того времени, то есть по мифу агитпропа, и при этом еще напутал в географических названиях. Павлик остался юным революционером, сражающимся за социализм. Так борцы за гласность заставили мальчика, написавшего в газету, узнавать новости не из советских источников.

Постепенно в перестроечной печати стала обнаруживаться некая жесткая рука. И стало ясно, в чем дело. Следом за статьей в «Человеке и законе», где Вероника Кононенко, ловко отобрал определенные фамилии (Амлинский, Эйдельман, Соловейчик и др.), разоблачила сионистский заговор против русского героя, появилась ее такая же статья в «Комсомольской правде». Рядом со статьей было напечатано постановление ЦК ВЛКСМ.

Специальная комиссия, в которую входили Прокуратура СССР, комсомол и печатные органы, проверила историю (вот уж не думал, что удостоюсь чести стать объектом изучения). В результате постановление Всесоюзных комсомольских органов

гласило: «Считать правильным старое решение», а Морозова – подлинным героем. «Признано необходимым» сообщить об этом через средства массовой информации «всем пионерам, их родителям, общественности». ТАСС задание выполнил. Уместно напомнить, что героем 001 Павлик был объявлен не при Сталине, а во времена разоблачения культа личности. Хрущев написал о Морозове внушительную статью.

Итак, пошла новая волна от центральных к сотням периферийных газет. Русская периодическая печать всегда стыдилась сотрудничать с охранкой. «Человек и закон», «Комсомольская правда» и многие прочие этим гордятся. Повывлезали на страницы писатели, восхвалявшие в свое время Морозова, с новыми одами. «Не надо, наверное, выворачивать историю наизнанку, как перчатку», – одобряя постановление о Морозове, пишет в «Сельской жизни» свердловский павликовед Л. Румянцев. Читайте: пусть все остается шито-крыто, господа. В духе Кононенко Румянцев разоблачил уральского краеведа Л. Хайкельсона, который на собрании заявил, что «у Павлика была страсть к доноситељству». Румянцев обвинил критиков в «правовой вседозволенности» и потребовал поставить «точку в затянувшейся дискуссии». Румянцева можно понять: горит липовый Павлик – что от творчества самого Румянцева останется?

Прокатилась кампания по всей стране. Особенно усердствовали сибирские газеты, так сказать, по месту рождения Павлика, но и другие территории не отставали. Тезис, как правило, один: он и не доносил вовсе – это опять происки империалистов. Он просто был героем, и все тут! В каких только падежах меня ни склоняли. Сотрудник газеты «Вечерний Киев» Виктор Кузьменко в номере от 6 июня 1989 года договорился до того, что автор книги «Вознесение Павлика Морозова» – сам доносчик, ибо сообщил про героя, то есть донес читателям на Павлика Морозова.

Кампания прояснила, кстати, откуда весь сыр-бор, кто встревожился за свои кадры, кто дергает кукол за ниточки. Во всех изданиях упоминаются одни фальшивые сведения. Видно, что указания оставить Павлика в героях, поступили централизованно. Откуда же? Может, комсомол нынче не у дел и не в почете и, чтобы доказать свою полезность, ищет заслуги в прошлом? Но ЦК комсомола – лишь приводной ремень.

Указания идут из другого учреждения, которому гласность поперек горла, историческая правда не нужна, а вот доносчики требуются всегда. Именно это учреждение, боясь разоблачений в эпоху борьбы с культом личности, приказало ночью вырыть из могил останки братьев Морозовых, перемешать их кости в одном ящике и сверху залить двухметровым слоем бетона, чтобы эксгумация и выяснение истинных обстоятельств убийства стали невозможны.

Газета «Известия» напечатала двусмысленную статью о Павлике Морозове и вполне конкретное интервью с начальником управления КГБ Марийской АССР А.Бураковым, в котором он говорил о необходимости крепить сеть «нештатных сотрудников в каждом коллективе». Этот ностальгический мотив агентство «Лубянка-пресс» своими каналами распространяло по всей стране в сотнях статей. Видимо, чем больше открытых ртов, тем больше требуется ушей.

Стало ясно, откуда взялась такая информированность авторов по поводу моей ничтожной персоны: в своих статьях они обширно цитировали материалы о моей антисоветской деятельности, тексты радиоперехвата и даже материалы допросов на Лубянке в 1984 году, на которых присутствовали трое: два следователя и ваш покорный слуга, а зрителей вроде Вероники Кононенко, насколько помню, в том тесном помещении не было.

Парадокс сегодня в том, что миф о Павлике работает и против самого КГБ, который всегда печется о своем фасаде. Но для внутренних афер в этой организации оставляют кадры второго сорта, более тупые, а потому неспособные адекватно оценивать обстановку. Спор вокруг Морозова обнажил беды гласности: немощность прорабов перестройки (точнее писать «прорабов» без первых трех букв) и пропасть, отделяющую интеллигентную часть общества от остальных.

Между тем, первый адвокат, хотя и странный, нашелся там же, на месте. Гласность же. Я со своим любимым героем оказался объектом перепалки между журналами: упомянутым довольно-таки черносотенным и другим, почти что прогрессивным. Журнал «Юность»² общечеловеческую мораль не только

² Б.Зерчанинов. Кто приходил ночью в худом овчинном тулупе... «Юность», №5, 1989.

не обругал, но, наоборот, защитил, что, я бы сказал, весьма благородно и смело. Может, в редакции оказались мои единомышленники, поскольку я их старинный автор? Может, почтили ветерана первых посиделок литературной молодежи, собиравшейся во главе с редактором Катаевым в конце пятидесятых? Хотя печатали мою прозу мало, а больше заворачивали по немислимым причинам (это печаталось потом в западных журналах). Но – защита в «Юности» выглядела странно.

Представьте грабителя, который снимает с вас пальто, забирает часы, кольцо и бумажник, а потом, дабы скрасить впечатление, дает пятак на метро. Сотрудник «Юности» Ю.Зерчанинов пересказывает без ссылок близко к тексту книгу «Вознесение Павлика Морозова» (перепутанные детали – от спешки, что ли?). А потом делает ход конем в духе эпохи. Он, дескать, слышал о западной книге имярека на эту тему от... брата Павлика, Алексея Морозова, живущего в Крыму, который про нее... слышал по радио и, стало быть, пересказал журналисту Зерчанинову. Пятак выдан. Только фотография в «Юности» легенду эту портит: фото сделано мною самим и, стало быть, взято редакцией «Юности» не из передачи радио «Свобода», а из моей книги... разумеется, как все остальное, без ссылки на источник.

Но заимствованиями дело не ограничилось. Далее Зерчанинов пишет: «пришло время, когда мы должны окончательно лишить западные издательства этого приоритета – обнародовать «белые пятна» нашей истории...» Сделать западных авторов лишенцами – до этого даже Сталин не додумался. Еще в те времена существовало (к сожалению, не подкрепляясь практикой) выражение «правда не знает границ». А по мнению журналиста периода гласности, правда теперь должна знать свое место. Метод ликвидации белых пятен советской истории, примененный журналом «Юность», остроумен: лишать приоритета путем выдачи чужого за свое. Получилось, что хорошо начав «за справедливость», Зерчанинов в конце объединился с Кононенко против Запада. И в духе классовой морали, символ которой Павлик Морозов, разделил историков на своих и чужих.

Кстати, лишенцем оказалась редакция «Юности» – не она открыла читателям страницы дела Павлика Морозова. Через

два месяца новый еженедельник «Семья» опубликовал главы из книги без комментариев и сразу поднял свой тираж. Книга появляется в Эстонии, Латвии, Польше и понятно, почему. А как жить мальчику из Цимлянска и миллионам других мальчиков и девочек в Советском Союзе? Петь хором песню «Равняйся на Павла Морозова!» или не петь? Доносить на родителей, куда следует, если папа маме рассказал анекдот про Горбачева или не доносить? Можно ли Марье Ивановне, учительнице, сказать в классе правду или ее за это вызовут на ковер?

Попытки поколебать пьедестал самого известного в мире героя-доносчика, так сказать, эмоциональны. В столице для Э.Рязанова, Ф.Бурлацкого, И.Грековой, В.Кондратьева и других существует как бы свобода выражения личного отношения к мешающему реликту. В Москве сняли доску с названием «Детский парк имени Павлика Морозова» возле Американского посольства. А его защитники вовсе не собираются сдавать позиции. Улицы, школы, библиотеки, парки, дворцы пионеров по всей стране, носят имя юного стукача. Для миллионов советских детей на периферии – через Минпрос и комсомол – целенаправленное оболванивание, точнее облубяживание, по тематике – не то что эпохи Андропова-Чебрикова, но славной эры Ягоды-Ежова.

Ох, уж эта глубинка! Каждый, кто выступал в российских городах, знает записки из зала. Вас пригласили в научный центр Дубну под Москвой. Из зала записка: «Правда ли, что Евтушенко развелся с англичанкой и женился на Маше?» Потом вы выступаете в Пензе. Из зала вопрос: «Правда ли, что Евтушенко развелся с Ахмадулиной?» А если встреча с читателями в Улан-Удэ, конечно же, из зала вопрос: «Правда ли, что жена летчика Серова – любовница Константина Симонова?». Россия – страна медленная. Быстро в ней совершаются только массовые убийства, а что касается морали... Цветы гласности всходят на перепревшем навозе прошлого. Может, это нормально, что так медленно?

Несколько лет назад говорил я с одним пожилым рижским учителем из латышской школы. По обязательной программе он рассказывал ученикам о подвиге Морозова. А потом, с риском для себя, спрашивал:

– Выучили наизусть?

– Выучили.

– Хорошо, что выучили. Помните всю жизнь: тот, кто доносит на родителей – какие бы ни были причины – подонок.

Это было до объявленной гласности.

Советский интеллигентный авангард призывает к совести. Когда процент правды увеличивается, процент лицемерия становится видней. Бурлацкий вздрагивает, но живет в переулке Павлика Морозова. Да и вообще, дело не в названии улицы. Может, раз уж так получилось, хотя и противно, название надо сохранить в назидание потомкам? Дело в другом. По иронии истории два продукта оказались в дефиците: мыло и стыд. Как отмыться? Мыло можно завезти. А вот где нынче достать стыд? Как откопать в глубинах души чувство вины за содеянное?

В тысячах школ честность продолжает воспитываться на примере подлости, преданность на примере предательства. И одна организация уверена, что легионы павликов морозовых будут ей верой и правдой служить завтра. Он – краеугольный камешек всей идеологии. Метастаза, свидетельствующая о том, какая болезнь. Удалить ее – значит отказаться от классовой морали и признать правоту христианской. Значит признать, что социализм есть восстановление крепостного права в России, да такими методами, которые не снились ни Ивану Грозному, ни Гитлеру.

Но есть и еще один аспект дела Морозова – международный. На Западе наблюдают с любопытством за происходящим. Внутри страны, как показывает практика, можно сочинять кантаты доносчику, можно его и поддеть, пока не запрещено. Но поскольку у руководителей советской страны официальной доктриной остается особая, отличная от остального человечества, мораль, им нельзя доверять. Ни в глобальных вопросах, ни в мелочах. Ведь ложь классовому врагу, согласно этой морали, оправдана и даже полезна «для нашего общего дела».

Отношение к мальчику-доносчику – как прогноз погоды на завтра. Организовать Бюро погоды имени Павлика Морозова, как видим, очень важно. Poleмика не кончилась, и пока что прогноз такой. Стрелка барометра колеблется. Будет то ясно, то пасмурно, возможно, и одновременно. С Лубянки подует холодный ветер. С Запада, как всегда, надвигается потепление, с востока холод, над Старой площадью пройдет гро-

зовой дождь с ветром. Хочу привести последний пример из прессы. В каком-то смысле он отражает качания стрелки.

Молодым я работал в газете «Московский комсомолец», когда редактора ее сняли за то, что газета ориентируется на интеллигенцию, а не на рабочий класс, и за смычку с журналом Твардовского «Новый мир». Сегодня эта газета хочет быть впереди. Иногда это удается. 21 октября 1989 года она сообщила, что (цитирую) «из парка имени Павлика Морозова убрали статую «легендарного» пионера, в прошлом – героя».

Остаются ли сомнения? 31 октября та же газета опубликовала письмо читателя: «...я живу совсем рядом. И могу заверить всех непосвященных, что статуя по-прежнему стоит. На своем месте».

Между прочим, от редакции «Московского комсомольца» до статуи доносчика пять минут пешком.

1990.

АД, РАЙ И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Исторический аспект тюремного мышления

Проблема выезда за границу, которую сегодня на бывшей подсоветской территории обсуждают едва ли не в каждой четвертой семье, трудной в нашем отечестве была всегда. Скользя по российскому прошлому, глаза историка выхватывают наиболее важные моменты, чтобы представить общую картину.

Возможности бесконтрольного пересечения границы на Руси были ликвидированы при Иване Грозном. «Ты затворил царство русское, сиречь свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне, – жаловался Андрей Курбский, который хитрился сбежать в Литву, Ивану IV. – Кто поедет из твоей земли в чужую, того ты называешь изменником, а если поймут его на границе, ты казнишь его разными смертями».

Бежать Курбскому было легче, чем многим другим. Юрьев (Дерпт), который теперь называется Тарту, считался в каком-то смысле полузаграницей. Им несколько веков владели рыцари Ливонского ордена. Подробный анализ причин побега этого выдающегося человека уведет нас в сторону, но отметим один аспект: Курбский видел, что происходит и что назревает, а близились опричина и массовые казни. И он не хотел соучаствовать. Один из патриотически настроенных его друзей, узнав о его планах, стал отговаривать Курбского бежать. Тот никому не сказал, не донес, что Курбский собирается бежать в Литву,

но вызвал Курбского на дуэль. Курбский был великолепным фехтовальщиком, заколол своего оппонента и бежал.

Итак, хотя термина еще не было, Курбский стал невозвращенцем. Его примеру последовали многие образованные русские, между прочим, и первопечатник Иван Федоров. Так что, проходя теперь по Охотному ряду, я склоняю голову перед монументом, поставленным по иронии истории эмигранту.

Да и сам Грозный готовился в случае опасности драпануть за кордон. Сентябрьской ночью 1567 года царь потребовал к себе английского посла Дженкинсона. Переводил толмач Рюттер. Иван велел сообщить королеве Елизавете, «чтобы между ним и Ее Королевским Высочеством было бы учинено клятвенное обещание, что если бы с кем из них случилась беда, то каждый из них имеет право прибыть в страну другого для сбережения себя и своей жизни и жить и иметь убежище без боязни и опасности до того времени, пока беда не минует и Бог не устроит иначе; и что один будет принят другим с почетом. И хранить это в величайшей тайне».

Грозный спешил не случайно: он панически боялся заговора бояр. А ответ не приходил. Через три года царь послал в Лондон преданного человека, и тот привез от Елизаветы ответ. В письме, заверенном малой королевской печатью, Елизавета великодушно обещала царю покровительство с «благородною царицею, супругою Вашею и с Вашими любезными детьми, князьями, если бы когда-либо посетила Вас, господин брат, наш царь и великий князь, такая несчастная случайность, по тайному ли сговору, по внешней ли вражде, что Вы будете вынуждены покинуть Ваши страны и пожелаете прибыть в наше королевство». Договор же о взаимном укрывательстве Елизавета игнорировала.

Иван просто взбесился от того, что его человека в Лондоне даже не приняли на высоком уровне. Все переговоры велись через министров, и тянулись они почти год. За это время положение царя укрепилось, заговоры он утопил в крови, хотя понимал, что не застрахован от повторений. В злобе Грозный продиктовал хамское письмо Елизавете, обращаясь к ней «на ты» и издеваясь над тем, что она девственница. Елизавета ответила вежливо, по-королевски, с достоинством, и это царя еще больше вывело из себя. Жертвами этой злобы оказались

английские купцы, у которых отобрали привезенные ими в Московию товары.

Мысль породниться с английским престолом оказалась навязчивой, и Иван замыслил женитьбу на одной из племянниц Елизаветы – Мэри Гастингс. Посланцы доложили, что она ангельской наружности, и в Москве стали уже поговаривать о новой царице Марии Гастингдонской. Впрочем, услышав побольше о своем будущем муже, племянница на брак не решилась. И тогда Иван Васильевич пригласил английского посла и сообщил ему, что отказ одной из племянниц только усиливает его желание сочетаться браком с какой-нибудь другой родственницей королевы Елизаветы. И по сему он собирается в Англию лично, причем берет с собой государственную казну.

Обойдем стороной спекуляции о причинах смерти Грозного. Скажем только: когда английский посланник Баус договаривался о следующем приеме у царя, в Посольском приказе ему ответили, что «его английский царь помер». За границу Иван не удрал. Больше того, сам замысел побега стоил ему жизни: он был задушен или отравлен своими фаворитами.

Парадоксально, но факт, что людей, сочувствующих Западу, первым назвал предателями родины именно Иван Грозный. При поездке купца за границу за него должны были поручиться головой десять человек. Если тот не возвращался в срок, их секли плетью.

Тема бегства из этого государства висела в воздухе всегда и на всех социальных уровнях. Позже планы удрать в Америку одно время вынашивал и будущий молодой царь Александр I. Дворянство было тестом, из которого государство пекло для себя преданных чиновников. «Чтобы можно было спокойно удерживать их в рабстве и боязни, никто из них... не смеет самовольно выезжать из страны и сообщать им о свободных учреждениях других стран». Так объяснял русскую ситуацию немецкий путешественник XVII века Адам Олеарий.

Кстати, с XV века (а может, и раньше) под изменой стали понимать главным образом побег или попытку побега за границу.

Причин тому было несколько: опасение, что чужая вера проникнет внутрь, возникнет ересь, что, узнав о вольной жизни за границей, вернувшийся будет недоволен крепостной за-

висимостью на родине, наконец, весьма частое превращение путешественников в невозвращенцев: «одно лето побывает с ними (с иностранцами. — Ю.Д.) на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей».

Тайные побеги за границу были следствием запрета на легальный выезд. Чтобы пресечь побеги, возникла система заложничества – остающаяся семья, жизнь которой зависит от того, вернется посланный за границу домой или нет. «А который бы человек князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство без ведомости, не бив челом государю, и такому б человеку за то же дело поставлено было в измену, и вотчины, и поместья, и животы взяты б были на царя, да ежели б кто сам поехал, а после его остались сродственники, и их бы пытали, не ведали ль они мысли сродственника своего ж, или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали бы, для чего он послал в иное государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему наущению». Это вспоминает Григорий Котошихин, автор интереснейшей книги «О России в царствование Алексея Михайловича», выпущенной в 1666 году.

Заметим: государство предполагает в личных стремлениях человека только плохие намерения. Законы не разрешают, не обеспечивают, не гарантируют, но ограничивают, запрещают, запугивают. Для того, чтобы выехать, надо унизиться. Выезд за сто лет, прошедших от Ивана Васильевича до Алексея Михайловича, стал труднее. Тем труднее, чем больше было желающих выехать. Периодические смуты, постоянная борьба с ересями и нестабильность ситуации подталкивали людей к этому. Наплыв иноземцев оказывал влияние на умы, формировал критические взгляды, недовольство.

Хорват Юрий Крижанич, писатель, подвизавшийся при Алексее Романове в Москве в 1645-1675 годах, сформулировал пять принципов власти в России, которыми регулировалась жизнь во всех ее проявлениях. Ощущение, будто это написано пять лет назад, а то был семнадцатый век. Вот эти пять принципов русской власти:

1) полное самовладство, или, говоря современным языком, тирания,

- 2) закрытие рубежей, то есть железный занавес,
- 3) запрет жить в безделье (принудительный труд),
- 4) монополия внешней торговли,
- 5) запрет проповедовать ереси, или идеологическое единомыслие, борьба с диссидентством, постоянное свидетельствование преданности власти.

Добавим теперь к этому сверхзадачу, о которой Крижанич запомнил, а именно: идею мирового господства, амбиции: Москва – Третий Рим. Крижанич писал о закрытии границ: чужестранцам не разрешается свободно и просто приходить в нашу страну, и нашим людям не разрешают без важных причин скитаться за пределами. Эти два обычая – две ноги и два столпа сего королевства, отмечает он, и их надо свято соблюдать.

При Петре Великом, прорубившем так называемое окно в Европу, для охраны границ в 1711 году была учреждена ландмилиция, то есть пограничная военная стража. Вдоль границ начали строиться оборонительные линии на юге Украины. Однако для учения, торговли и заимствования западных новшеств, особенно в военной области, поездки за границу при Петре расширились, прежде всего благодаря его собственному практическому интересу к Европе.

Иностранцев во времена Петра I уважали и не любили. Выпуск за границу встречал противодействие в русском обществе. Историк пишет: «За посылание молодых людей в чужие края (Петром Великим. — Ю.Д.) старики роптали, что государь, отдаляя их от православия, научил их басурманскому еретичеству. Жены молодых людей, отправленных за море, надели траур...»

Павел Анненков вспоминает, что замечательному писателю Алексею Писемскому было свойственно органическое отвращение к иностранцам, которого этот умный человек победить в себе не мог. «Присутствие иностранца, – говорил Писемский, – действует на меня уничтожающим образом: я лишаясь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его». Интеллигентный Анненков комментирует эту неприязнь так: «Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-

таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких и им подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей прежнего боярства и думных людей московского царства?»¹

Анализ причин этой неприязни к Западу увел бы нас в сторону. Важно, однако, отметить, что традиционное русское мышление вообще все иностранное и за границу в целом, как отмечает американский славист Д. Ранкур-Лаферрьер в своей интересной книге «Из-под «Шинели» Гоголя», соотносит с дьявольщиной, с тем местом, где, с точки зрения необразованного русского человека, дьявол обитает. За граница – это то, что находится далеко: у черта на куличках, у черта на рогах, а сами иностранцы сродни дьяволу. Об этом свидетельствуют многочисленные источники от древней русской литературы до «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, у которого демонический Воланд все время подчеркнуто изображается иностранцем: «Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец».

Веками вдалбливалось в русское обывательское сознание, что за граница есть нечто проклятое Богом, ад. Таким образом, косная советская пропаганда о дяде Сэме и других бьяках-империалистах, которые едут специально, чтобы угощать наших пионеров отравленной жевательной резинкой и бросать яд в наши колодцы, ложилась, так сказать, в исторически подготовленную почву.

Для лучшей же части русской интеллигенции за граница – во все времена альтернатива паскудного существования, источник просвещения, культуры, земля обетованная, вообще рай. «Франция казалась страной чудес», – писал Щедрин. А то было тревожное время революции 1848 года.

Облегчилась проблема выезда за границу при императоре Петре III, с изданием Манифеста о вольности дворянской. Привилегированное сословие освобождалось от принуждения к службе. Неслужащий дворянин получил даже право ехать за

¹ П.В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1983, с.486.

границу и служить там. Прислуга просто вписывалась в подорожную списком.

При Екатерине Великой, с ростом культуры русского общества, сближение с Европой еще более углубилось. Поездка за границу для учения или расширения общей культуры, а также для лечения становилась неременной частью существования. В Европу ехали цари, министры, служащие, купцы, художники, музыканты, сочинители. Одни из них приезжали и снова уезжали, другие оставались там навсегда. Сравнительно легко удавались и побеги. Брат писателя Василия Капниста, Петр, благополучно бежал от настойчивых ухаживаний Екатерины за границу, просто сев инкогнито на корабль, уходивший в Англию.

Многие русские, покидая отечество в конце XVIII – начале XIX века, переходили в католичество. Другие, даже живя в Петербурге, старались получить образование в нерусских учреждениях и предпочитали не иметь ничего общего с духом народа, потребностями страны и, как пишет официальный историк Л.М.Майков, «тянули в сторону врагов родины».

При этом историографы периода, который я бы назвал переломным (правление Александра I), – утверждают, что дворянин, если только он хотел выехать за границу, сделать это, как правило, мог.

Писатели часто служили по дипломатической части и ездили за границу всю жизнь. Василий Тредиаковский был чиновником в Париже и Гамбурге. Антиох Кантемир – послом в Лондоне и Париже. Бывал в Европе Фонвизин, и она ему не нравилась.

Карамзин двинулся в путешествие по Европе, когда ему было двадцать три года. «Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения», – писал он и осуществил его. «На польской границе осмотр был нестрогий», – вспоминал свой первый вояж за границу Карамзин в книге «Письма русского путешественника». Проинструктированный заранее друзьями, писатель подмазал таможенников, и они даже не стали рыться в его вещах. Проехав пять стран, через полтора года Карамзин вернулся в Россию и стал думать о том, не отправиться ли навсегда в Чили, Перу, на остров Бурбор, на Филиппины, на остров Святой Елены: «Там согласился бы я

дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных, а здесь боюсь и подумать о седи-нах шестидесятилетия», – писал он Дмитриеву. Позиция Ка-рамзина такая: каждый может уехать, нельзя только, выехав, ругать свою страну.

К середине XIX века выездное законодательство настолько усовершенствовалось, что выехать практически мог каждый. Гоголь, Тютчев, Тургенев, Достоевский, Толстой, Блок и мно-гие другие жили и творили за границей, ездили туда-сюда, некоторые, как Жуковский, женились на иностранках и уез-жали. Довольно безвкусная акварель художника Е.Рейтерна запечатлела Жуковского в Швейцарии, в 1832 году, на берегу Женевского озера. До этого Жуковский выезжал за границу множество раз, в том числе с августейшей фамилией, а, же-нившись, уехал и умер в Германии. Многие, в том числе Че-хов, умирали за рубежом, а хоронили их на родине.

Именно за границей развилась русская оппозиция и эми-грантская пресса (Герцен и Огарев). Даже крестьяне из Сибири ухитрились перебраться в Калифорнию. На какое-то время эмиграция перестала быть роковым событием, поскольку ник-то не преследовал и можно было возвращаться, сколько душе угодно.

Сравнительную легкость выезда и побега, слабость охраны границ и взяточничество таможенников, о чем еще Карамзин и Гоголь писали не без юмора, стали использовать предста-вители разного рода террористических организаций, включая, разумеется, большевиков, которые, придя к власти, тут же со знанием дела начали задринать окна и двери. Они прекрасно понимали, почему советскому человеку не надо ездить за грани-цу. И – отдадим им должное – достигли в этом совершенства. Благодаря проворному гению Ленина, Россия возвратилась к средневековью. Впрочем, Ивану Грозному и не снились ни та-кие возможности, ни такие результаты.

При Ленине неугодных интеллигентов изгоняли пачками, но их было ничтожное число по сравнению с добровольным бегством, пока это было возможно. Между прочим, тот же Булгаков с женой и четой Мандельштамов чуть не удрали с Кавказа за границу от большевиков. Потом Булгаков жалел, что остался, просил Сталина его выпустить, но – тщетно.

При Сталине вообще запретили браки с приезжающими иностранцами. При Хрущеве дверь, было, приоткрылась. «Я считаю: это невероятно – после пятидесяти лет удержать рай под замком,» – лихо заявил он в воспоминаниях. Но продиктовал это, когда уже стал почетным и вполне безответственным пенсионером.

А иезуитская система при нем и при Брежневе создала гнусную процедуру проверки перед выездом даже на три дня каждого не только чекистами, но сперва консилиумом врачей, а затем комиссией выживших из ума партийных функционеров. Кто не бегал, собирая характеристики на самого себя, кто не раздевался перед членами комиссий и не стоял под их сенильными взглядами, будет жить дольше.

Перебраться через колючую проволоку после окончательного торжества социализма становилось все трудней. И людей, которые хотели, но не могли выбраться из рая в ад становилось все больше, ведь закрытая на замок граница – лучший способ воспитать нелюбовь к своей родине. О торможении прогресса в связи с закрытой границей разговор должен быть особый.

Статус отказника стал рефлекторным выражением состояния государства. Как массовые репрессии порождали класс заключенных, возродив в XX веке в СССР и Германии рабовладение, так и массовые отказы создали в Советском Союзе новый слой. Десятки тысяч людей были отвергнуты властью и обществом и насильно привязаны к государству. Отказники, если хотите, были своего рода декабристами со знаком минус. Как декабристы, страшно далеки они от народа, мечтали о западном устройстве государства и могли быть в любую минуту депортированы в Сибирь. Но, в отличие от декабристов, за то, что по своим убеждениям не хотели участвовать в делах этой страны. Пушкин, кажется нам, и тут был первым: первым настоящим и пожизненным отказником в России.

Пока вы молча любите или не любите данную страну, вас не трогают. Если вы громко за – власти делают вид, что верят вам; если громко против – вы тоже ясны, они знают, куда вас деть. Можно шумно судить или тихо растоптать в парадном, когда вы вечером возвращаетесь домой. А можно размазать по стене психиатрической клиники.

Но самое страшное заявить, что вы – третья категория: просто не хотите здесь жить, готовы уехать. В общем – то ясно, что вы не «за», что вы против. Но относительно реальной побудительной причины эмигрировать вы молчите. А власть хочет, чтобы высказались, дав ей повод вас наказать. Власти – то причина ясна. Ведь если сегодня апеллировали вы, завтра захотят бежать многие другие, и власти уже видятся всенародный кросс, в котором участвует полстраны, и очередь на выезд от Москвы до Владивостока. Вот почему людей, задающих антисоветский вопрос «Брать ли зонтик?», надо изолировать в местах не столь отдаленных.

Самое трудное в положении отказника, как ни странно, не то, что его не выпускают за границу, а надежда, что выпустят. Если б знать наверняка: никогда не уедешь, то смирился бы, стал жить, как остальные. А власти, не выпуская, надежду подогревают обещаниями, примеров отъезда вокруг тоже немало. У отказника – ни нормальной работы, ни среды, ни дома, родные и друзья с ним как бы уже простились навсегда, а он все мозолит глаза. Как у аиста, у отказника нормальная поза на одной ноге. Но ведь он не аист!

На закрытых собраниях начальники говорят, что утечка мозгов не в интересах государства. На самом деле они уверены, что у них на всё хватит своего ума. Да и не нужна им высокая культура, которой они не понимают. Они боятся физической утечки людей, ибо кем же тогда командовать? Им страшно потерять полную власть над людьми, данную им исторической удачей, ибо раб, который может разорвать цепь – не раб. Выезд лишает верхи возможности глумиться, наслаждаться своей властью. А слаще этого, как известно, ничего на свете нет.

Итак, с точки зрения традиционного мышления русской власти, подданный, стремящийся эмигрировать, хуже бунтаря или инакомыслящего. Устремления протестантов хотя бы исторически патриотичны. Последние протестуют или ратуют за улучшения, необходимость которых понятна и самим властям (сколько бы они ни утверждали обратное), но по тем или иным причинам правительство на перемены не идет. Когда изменения все – таки произойдут, протестантам все простится, они даже могут стать героями, хотя и не скоро.

Подданные, стремящиеся потерять подданство, даже если они клянутся в любви к родине или делают это действительно только по семейным причинам, – все равно одним своим нежеланием оставаться они демонстрируют всему миру больше, чем бунтари. Они не верят в улучшения здесь, их не устраивает не только система, но это государство вообще. «Что? Вы говорите, Россия разваливается? А черт с ней, с Россией, этой ленивой бабищей», – заявил Василий Розанов в сентябре 1916 года.² Ни в одной стране не найдешь таких крайностей, такой антипатии к родине у части ее населения. Отрицают не только данное правительство, но порой все, что с родиной связано. Их протест суров, как смертный приговор неизлечимому больному, окончателен, как похороны. Ничто так не бесит власти, как нежелание находиться за общей колючей проволокой, которое в пропаганде называется антипатриотизмом, предательством своего народа, изменой нашему делу и пр.

Прислужники власти, некоторые писатели и поэты, подпевают в этом тайной полиции, разжигая ненависть народа к отщепенцам. В пример приведу несколько строк из стихотворения Станислава Куняева «Разговор с покинувшим Родину».

Для тебя территория, а для меня –
это Родина, сукин ты сын.
Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля,
с тяжким стоном берез и осин...

Гнев за гнев – коль не можешь любовь за любовь –
так скитайся, как вечная тень,
ненадолго насытивший желчную кровь,
исчезающий оборотень.³

Конечно, стихи могли бы быть и менее пошлыми, не в этом дело. Не кажется ли вам, что тут целый букет низменных проявлений: узколобость, злоба, ненависть, даже зависть к тому, кому повезло? Но политика правительства в России

² Э. Голлербах. «Город муз». Л., 1930, с.171.

³ «Комсомольская правда», 12 октября 1980.

всегда строилась по такому же принципу, то есть сиди и не рыпайся.

У отказа, однако, было две стороны: власть отказывала отказнику в выезде, а отказник отказывал власти в участии, в признании ее легитимности. Впрочем, где тут причина, а где следствие, трудно разобраться, процесс двуединый. Все хотят за границу, но все лояльные граждане хитрят, делают вид, произносят фальшивые слова о любви к матери-родине. И только изгой-отказники письменно заявляют, что жить здесь не хотят, и портят этим картину народного ликования.

Отсюда – эффект парового котла, из которого периодически приходится спускать пар, чтобы не разорвало, – суть эмиграционной политики России на протяжении многих лет. Отсюда же волны эмиграции, поляризация народа на три части: те, кто сидят в тюрьмах, те, кто на свободе внутри страны, и те, кто все-таки добился свободы внешней и стал отрезанным ломтем.

Как волны эмиграции из России накатывались в наше время на западные берега, как дошло до девятого вала, читатель знает лучше меня.

1990.

БЕГОМ ИЗ ПАРТИИ

У микрофона Радио «Свобода»

В годы страха, наивности, издержек среды и воспитания одна беда, или, если хотите, один стыд, меня миновал: в партии я никогда не был. А наверное, вполне мог бы и оказаться. Но срабатывало какое-то «чуть-чуть», что-то во мне противилось еще в то время, когда я сам не понимал, когда не было возможностей для сравнения. То они не хотели меня, то мне удавалось ускользнуть.

А уж когда стал понимать и еще служил в газете, то выкручивался, на что только ни ссылаясь. Но чаще всего на незрелость, на то, что, дескать, готовлюсь, а пока еще не готов, так сказать, не достоин. И, как ни странно, это их устраивало, и от меня отставали. Так и остался в редакции и.о. – исполняющим обязанности редактора отдела, ибо снять эти две буквы могла только партийность. А потом вовсе ушел на вольные хлеба.

В газете служили только «подручные партии», по меткому определению Хрущева. Парадоксально, что книжки писать дозволялось и беспартийным, – большой был просчет властей. В Союзе писателей в партию, насколько я знаю, никого не завлекали, чтобы не делить имеющуюся власть в аппарате управления писателями и издательствами.

В тридцатые годы и в войну они принимали кого угодно, лишь бы написал «желаю участвовать в строительстве комму-

низма». А потом стали зорко следить за пропорциями. Рабочий класс должен был составлять большинство. Во-первых, согласно доктрине, партия-то как бы по своему происхождению пролетарская. Во-вторых, пассивный балласт не мешал бюрократическому аппарату держать кнут и пряник.

Интеллигенцию, то есть образованцев, рвавшихся вступить, чтобы урвать для себя кусок пирога, традиционно придерживали. При этом в среде интеллигенции делали три исключения. Охотно принимали без очереди историков. Главную массу тут составляли учителя истории, то есть, с их точки зрения, опять же пропагандисты.

Как уже сказано, затаскивали журналистов – они прежде всего были нужны агитпропу. Ведь без партбилета нельзя войти на партсобрание, а значит, нельзя этому журналисту доверить писать отчет с районной партконференции, не говоря уже о том, чтобы войти в здание горкома, обкома или ЦК.

Наконец, всячески завлекали людей с именами: актеров, художников, композиторов – даже если из них уже сыпался песок. Откройте советские энциклопедии, и увидите, как много известных всему миру советских мастеров искусства имели членские билеты ВКП(б)-КПСС, ничего, в сущности, не имея с этой партией общего.

Но если человек поет хорошо, то с партбилетом ему светят не только лучшие роли, периодические ордена, звание народного артиста, но и режиссура, и поездки с гастролями за рубеж, а то и директорство в театре, и даже депутатство, хотя из него такой же политический деятель, как из меня балерина. Впрочем, деятельности-то в этой области от них как раз и не требовалось. А просто полагалось сидеть и дружно, со всеми вместе, поднимать руку «за».

Талантливые ученые продевались сквозь игольное ушко, как правило, сами: ради степеней и получения лабораторий. Многие этого и не скрывали, хотя отдельные творческие люди сопротивлялись. Маяковский был в партии, а потом сам вышел. «Чтоб не послали в Астрахань селедкой торговать», – объяснил он, и в те годы это ему сошло.

До революции партия была ничтожно мала и в значительной степени безграмотна, – такова одна из первостепенных тайн ее истории. Был период, когда партией практически ру-

ководил Ленин, ЦК состоял из его жены, брата и двух сестер, а партийный актив – из пары его любовниц. Если посмотрим литературу (что не входит сейчас в мою задачу), то увидим, что с годами статистику увеличивали простым пририсовыванием нулей, дабы создать видимость народного переворота. А объясняли липовую статистику так: мол, в те годы не все члены партии имели партбилеты. Или так: из конспирации лидеры ячеек держали списки в уме.

Факт остается фактом, что несмотря на все усилия, за без малого столетие (1-й съезд состоялся в 1898 году) партия, меня названия и программы, получив тотальный контроль за идеями, имея огромный аппарат пропаганды и провозгласив, что все в душе коммунисты, едва ли набрала в свои ряды 5 процентов населения. Несмотря на все махинации, образовательный уровень ее так и остался низким.

Я хорошо знал одного заместителя директора крупного московского ракетного завода. Партком завода имел права райкома. У них там была разнарядка: ежемесячно принимать в партию столько-то рабочих. Сделать это было непросто, желающих не находилось. Но зато было большое количество алкашей, которых завод принудительно содержал в ЛТП – лечебно-профилактических учреждениях. Это было что-то вроде ведомственной тюрьмы. Там, за решеткой, их кормили и по утрам выводили на работу. А зарплату отдавали их семьям.

Так вот этих работяг периодически исключали из партии по вполне понятным причинам. Но когда для выполнения разнарядки сверху не хватало новых кандидатур, алкоголиков снова принимали в члены партии. А через некоторое время исключали опять – за алкоголизм.

Веками существуют три сакраментальных русских вопроса: кому на Руси жить хорошо? кто виноват? и – что делать? Настало такое время, когда все три вопроса упираются в одно слово. Кому на Руси жить хорошо? Мы знаем – партии. Кто виноват в несчастьях народов этой страны? И ответ опять – партия. А если так, то ответ на вопрос, что делать, прост: дать партии самораспуститься.

В партии во все времена были и есть сейчас честные люди, мы таких знаем. Не будем разбираться, как они туда попали, – с каждым может случиться беда или бес попутал. Эти поря-

дочные люди давно бы выкинули свои партбилеты, но было опасно, страшно, и они, как говорится, не выпались. Но теперь каждому, кто понимает, что происходит, каждому, у кого осталась своя (а не партийная) совесть, пора из партии выходить. Тихо или шумно, решительно или осторожно, группами единомышленников, чтобы веселей, или в одиночку, но из партии надо драпать. Привилегий, которые удерживали раньше, становится меньше. Карьере партия теперь только вредит. И вообще, настанет день, когда с партии спросят за все сполна. Тогда у тех, кто вышел, будет алиби: «А я, ребята, осознал и вышел добровольно, сам».

Ортодоксы сейчас говорят об обновлении партии. Их можно понять, они остаются без кресел. Но поставим вопрос ребром. Могла ли обновиться нацистская партия? Могут ли обновиться кокаиновые мафии? Переродиться коммунистической партии Советского Союза не дано. Она вырождается. И пусть себе на здоровье двигается в том же направлении. Паранойя до тех пор болезнь, пока есть больные. Партия существует, пока в ней люди. Наверное, коммунисты попытаются организовывать другие партии, как они это делали всегда, как хитрил их учитель Ленин. Но это будет потом. А сегодня эта партия изжила себя.

Чтобы вступить в партию, нужны были рекомендации опытных членов партии. Согласно московскому анекдоту, чтобы выйти из партии, теперь требуется раздобыть три рекомендации от беспартийных. И не такой уж это анекдот. Чего только ни делали с беспартийными эти самые коммунисты за три четверти века, разве что дустом не посыпали. Про Чернобыль уж и не говорю.

И все же у меня большая просьба к беспартийным: дайте, пожалуйста, рекомендации коммунистам. Чтобы они могли выйти из своей партии. Быстрей дело пойдет.

1990.

ВЛАСТЬ И СЛОВО

Два моих приятеля случайно встретились в нью-йоркском ресторане с любопытным советским литератором. Как только я имя услышал – кое-что вспомнилось, но видеться не захотелось. Хотя сам он не стесняется, неловко мне называть его имя. Но и забыть о вкладе этого писателя в отечественную словесность невозможно, поэтому буду звать его Имярек.

Познакомили меня с ним в редакции «Юности» лет около двадцати назад. И заранее предупредили: не надо при нем беседовать на скользкие темы. О чем же тогда говорить? Какие темы несколькокие? Таких уже тогда не оставалось.

Имярек, сюда в гости прибывший, – сын когдатошнего советского шпиона в Америке. На свет он появился в результате интимно-политической ошибки своего папы, который имел неосторожность при исполнении влюбиться во внуку основателя коммунистической партии США. Шпиона вместе с внучкой на всякий случай в темпе передислоцировали домой. Вернув на родину, ему поручили ведать, если не ошибаюсь, атомным заводом (может, он реализовывал опыт, накопленный в загранке?). Когда я знал отца Имярека, он был заместителем редактора популярного журнала «Техника – молодежи».

Незлой и, в отличие от лизоблюда-редактора, в общем-то, как казалось, инертный по части политики человек, бывший шпион уже оплыл от сидячей жизни. Журнал тогда под руководством этих редакторов боролся с реакционной лженаукой кибернетикой. Помнится мне замредактора перекладывающим

кочки бумаги из кармана в карман: он повторял слова, боясь потерять английский. Может, с годами стал хуже понимать жену, которая так и не выучилась по-русски? Или по наивности надеялся, что его снова призовут на основную службу?

Сын-полуамериканец пошел по стопам отца, только не как профессионал, а в качестве волонтера. Он писал очерки о мужестве чекистов. А затем, принятый за это в члены Союза писателей, по команде тех, кого надо, приступил к борьбе с теми, с кем надо.

Передо мной одна из коллективных книг, в которой он значится как скромный соавтор. Называется сборник «С чужого голоса» (издательство «Московский рабочий», 1982, 302 страницы с захватывающими иллюстрациями). Посвящена книга тем, кого западные спецслужбы вовлекают в антисоветские идеологические диверсии, т.е. ревизионистам, сионистам, церковникам и диссидентам. Литератор Имярек выполняет ответственную миссию: топит своих коллег, журналистов и писателей.

Разглядываю фотографии в книге. На одной – магнитофон, радиоприемник и кассета, что по дешевке продаются на блошином рынке тут и за три месячных зарплаты там. Подпись: «Техника, использовавшаяся сионистами для проведения подрывной деятельности в СССР». Слово-то какое: подрыв-ной! Или вот другая картинка. Несколько книг (включая Солженицына), кусок провода, какие-то бумажки. Подпись: «Литература, деньги, аппаратура, предназначенные для проведения подрывной деятельности в Советском Союзе». На третьей фотографии допотопную пишущую машинку (сам исполнитель писал, наверное, на более пристойной) Имярек называет «множительной аппаратурой, засланной в нашу страну для изготовления подрывных материалов».

Весь этот подрыв – не в тридцатые годы, не ежовщина, но восьмидесятые, канун гласности. Сами-то чекисты давно имена скрывают, печатаются под псевдонимами Иванов, Петров или Сидоров, только энтузиасты работают на них в открытую. А ведь лицом к лицу Имярек не производил впечатления умственно неполноценного.

Из текста книги становится ясна кухня. Сочинитель получал для чтения и разоблачения рукописи, изъятые у авторов при обысках и приложенные в качестве вещественных доказа-

тельств к уголовным делам. Кто эти враги нашей славной родины, грязные иуды, наймиты ЦРУ, клеветники на прекрасную действительность, которая куда ни глянь?

Страница за страницей, имя за именем сладострастно, я бы даже сказал, с упоением, обливаются грязью люди, нам известные: инакомыслящие редакторы самиздатского журнала «Поиски» В.Абрамкин и Г.Павловский, писатели Г.Снегирев, В.Войнович, Г.Владимов, «махровые антисоветчики» К.Любарский, П.Егидес и многие другие. Все это перемежается с яркими рассказами о том, как в разведшколах империалистических держав готовят диверсантов и террористов, учат их делать смертельный яд (отравлять наши советские колодцы) и взрывчатку (подрывать оборонные заводы). Он со знанием дела рассказывает нам, как преследуют свободомыслие в США и как там сажают диссидентов за критику правительства. Трагикомизм ситуации Имярека в том, что Америка – родина его матери, а родина его мыслей – Лубянка в Москве.

На что же клеветали отщепенцы, как он их называет? Они писали страшные вещи. Про то, что уровень жизни в СССР ниже, чем на Западе. Намекали, что в СССР был тоталитарный строй, приведший к застою. К чему призывали враги-коллеги? Оказывается, «к введению права на оппозицию, отмене руководящей роли партии, расширению частного сектора и т.п.» Вот какие бяки! Узнаем мы и о справедливом возмездии. После появления статей Имярека (до или одновременно с ними) у писателей проводятся обыски, затем аресты, суды. Отщепенцы исправно получают сроки.

Есть что вспомнить нынче в Нью-Йорке борцу с диссидентами. Но предается ли он воспоминаниям? Мучают ли его по ночам кошмары? Или, может, хотя бы щеки краснеют от стыда? Хочется ли ему добровольно крикнуть: простите меня, суку, не сориентировался, не в той кассе гонорар получал? Да нет, горло пересохло. А скорей всего, и не пересохло, просто лучше сделать вид, будто все нормально.

Может, зря я ворошу былое и на нем сосредоточился? Один он что ли состоял в лакеях у политического сыска? Между прочим, прочитал я не так давно его статью в «Известиях». О чем, думаете, пишет? Угадали! О том, что не все благополучно в советском королевстве, что цензура сковывает свободу лите-

ратурного творчества. Весь набор его отважных мыслей почерпнут из рукописей отщепенцев, которых он раньше подвергал цитированию в своем эссе «Куда заводят «Поиски». Куда поиски завели, мы видим. И выходит, Имярек теперь смело стал единомышленником с теми, кому затыкал рты. Плагиатор и компилятор мыслей отщепенцев, прощения он у жертв не просит. В монахи не постригся, грехи не замаливает. Опять он в первых рядах, только теперь против того, за что был раньше. Читаю и вижу, что он, как и тогда, снова на коне.

И все ж хочу сказать слово о человеческих правах г-на Имярека-младшего. Сам-то он крупу на московских кухнях в поисках долларов, органами же подсунутых, не пересыпал. Его инструмент – слово. То, что он раньше писал, как и то, что теперь, – дело его личной совести, если хотите, чистоплотности. У цивилизованного государства одна забота – обеспечить его права.

Так и есть: он не только выездной из СССР, но и пожаловал в США. Я бы не удивился, если бы его пригласил какой-нибудь американский колледж поделиться ярким литературным и жизненным опытом, например, прочитать курс «Диссидентское движение в СССР». Правда, он приезжал тихо, но и это тоже его право. Никаких препятствий ко въезду в Америку художнику-любянисту не чинили. Писатели, которые ездили по заграницам до гласности, выполняя разные миссии, и теперь катаются. И не писатели тоже. Все могут ездить, куда хотят, если они только не именитые террористы.

Вещаю я сии банальные истины только потому, что на практике применяется пока другой расчет. Ему следуют люди, которые больше других ораторствуют о том, что паранджи на лице советского общества больше нет, например, советские дипломаты.

Писателя Семена Резника не пустили из Вашингтона, где он живет, работая в журнале «Америка», в Москву. Не дали в советском консульстве въездной визы. Раньше Резник дважды ездил, и оба раза, протянув до последнего часа (особая их тактика), давали ему визу. Третий раз тоже, конечно, тянули до последнего – и показали Резнику из бронированного окошка кукиш застойных времен. Уж кто только не едет сейчас. Вроде бы поняли, что твердая валюта, помимо прочего, от

поездок поступает. Ан нет, идеологические соображения, как мы помним из пионерской присяги, тверже валюты.

Может, писатель Резник – против перестройки и ехал, чтобы повернуть ее вспять? Нет, он, насколько я знаю, не против. Или он задумал сглазить гласность? Может, он в прошлый раз пытался нелегально провезти лишний кусок мыла для своих знакомых? И этого не было. Дело посерьезней.

Проследили, что Резник интересуется обществом «Память». Даже брал в Москве интервью у руководителей «Памяти». И пишет об этом книжку. И от «Памяти» Резник не в восторге. Вот это-то и не понравилось. Выходит, у «Памяти» действительно есть власть. Даже, как видим, есть рука в советском консульстве в Вашингтоне. Когда-то в Советском Союзе писатель Резник был невыездным. А теперь они его повысили в должности и сделали невъездным, что, конечно, еще более почетно.

Считайте, что я потерял чувство меры, но будь я советским посланцем в Америке в такую важную для них эпоху, я бы бросил все другие дела и лично позвонил в журнал «Америка» или даже домой Семену Резнику. И сказал бы я, советский посол, примерно следующее:

– Ради Бога, простите, господин Резник, что так получилось. Мягко говоря, в консульском отделе у нас дефицит на соображающих товарищей. Не перестроились еще. Слабина в мышлении, которое вдруг заело при переключении со старого на новое. Действуют товарищи во вред государству, которому служат. Оправдывает их только то, что таких людей немало и там, выше, на основном материке. Это они неумеренно расхваливают отдельных западных писателей. Завлекают тех, кто выгоден, или тех, кто им целует места, по которым, как выразился в своем весьма толковом словаре Даль, у французов запрещено телесное наказание. Мало того, что они вас за то, что вы выехали в Америку, исключили из Союза писателей и изымали вашу литературу из нашей литературы. Так теперь, когда вы пытаетесь поглубже узнать, что в нашем борделе происходит (только и всего!), хотят помешать. Боятся? Да. И, конечно, мстят. Еще раз извините! Вот вам вечная виза, катайтесь на здоровье и спасибо вам большое, что вы нами интересуетесь. Могли бы ведь и наплевать: у вас есть на то веские основания.

Вот в таком духе я сказал бы писателю Резнику, будь я послом многокилометровой державы, которая хочет показать миру жалкое подобие человеческого лица. Но советский посол – человек советский, а я наоборот. Если писатель Резник станет дважды невъездным, я бы предложил поставить его бюст на родине. А если посол позвонит Резнику, я напишу новый гимн Советского Союза. Между прочим, мне как раз сейчас понадобилось съездить в Лондон. Поскольку у меня еще нет американского гражданства, мне нужна британская виза. Написал в английское консульство, что собираюсь на конгресс славистов. Смотрю даты: в день получения моего письма выслана виза, вот и все.

До гласности в Москве ничего было нельзя. Теперь многое можно. Хотелось бы понять, что же все-таки объединяет нынешнюю ухарскую свободу с предыдущим зажимом? Думается, близость в том, что к человеку, особенно к человеку пишущему, там все еще относятся как к некоей идеологической шарманке, которую следует крутить, чтобы извлечь нужные мелодии. Жива ленинская параноидальная концепция слова, превращающегося коллективным усилием воли агитпропа в бомбу. А какие заветы Ленина реализовались, кроме телеграмм о расстрелах? Вот что отличает их взгляды от западного представления о человеке и слове, им сказанном. Тут автор – просто человек. Слово – просто слово, хоть устное, хоть печатное. Не меньше, но и не больше. Если вы с моим словом согласны, мы единомышленники, если нет – примите к сведению, а не хотите, не принимайте, только и всего.

То, что я сказал сейчас, противоречит мысли большого русского философа, заявившего: «Нет такого действительно художественного произведения, которое бы не производило некоторого действия, некоего изменения в жизни; в великих же поэмах заключается и план такого изменения, или, лучше сказать: художественное произведение есть проект новой жизни».¹ Однако, если даже не считать, что тут намек на возможность создания соцреализма, если не спорить о смутном термине

¹ Н.Ф.Федоров. Философия общего дела. М., 1913, т.2, с.435.

«действительно художественный», то все равно это кажется мне преувеличением возможностей литературы.

Можно ли считать, что Хемингуэй, со своим левачеством, способствовал появлению Кастро? Уменьшили ли число разводов или, может, снизили процент потребляемого алкоголя или лени в студентах выдающиеся писатели Америки: Бернард Маламуд, Курт Воннегут, Джон Чивер, Джон Апдайк? Или, может, гений, объяснивший в «Бесах» еще 100 лет назад, что нас ждет, сумел хоть как-нибудь отвратить нас от дороги в ад?

Представьте, что Сталин, Берия или Андропов ознакомились с портретом Угрюм-Бурчеева и хоть один из них воскликнул: «Нет, я буду лучше!» А какова плодотворность усилий по внедрению литературы в практику Союза Советов? Сколько настоящих людей воспитала «Повесть о настоящем человеке»? А читатели «Молодой Гвардии» – не они ли вышли из Афганистана и стали мародерами на родине? Может, письмо Татьяны или сны Веры Павловны повысили нравственный коэффициент московских школьниц, зарабатывающих в гостиницах по ночам?

Не знаю как для кого, но для меня феномен гласности есть демонстрация беспомощности слова. Крика все больше. Удары словесные все сильнее. Уже и Ленина с Инессой Арманд гласнолюбцы застукали в постели, а она лежит в одной могиле с Джоном Ридом. Сказать можно всё, но, если колбасы больше становится, то, ей Богу, не от слов. Самое острое оружие, советская печать, не сумела ни улучшить экономику, ни смягчить национальные конфликты, ни прекратить просто человеческие, ни ослабить криминогенную обстановку. Хамство и всеобщая истерия приняли в стране невиданные и ни с чем не сравнимые размеры. Может, и было такое при татаро-монгольском иге – не помню, я тогда еще был маленьким.

Это я к тому, что литературное слово не лечит, не исправляет и не помогает ни партиям, ни государствам. Если литература и влияет на человека, то это влияние тонкое, медленное, неотчетливое и подчас непредсказуемое. Насчет того, чтобы пророкам глаголом жечь сердца людей, Пушкин, мне кажется, слегка погорячился. Пророки в нашем отечестве обращаются за реальной помощью к охранке. И вообще, сердца читателей надо беречь. Слово (и правдивое, и лживое) субъективно, и за

это нравится нам или нет. Оно только выполняет свою функцию: оно ри-су-ет. А если воздействует, то очень тонко.

Отношения читателя с писателем – как роман мужчины с женщиной. В нем такие же этапы. Максимум счастья, когда читатель ложится с книгой в постель. Мы читаем от неясной потребности в удовольствии, чтобы удовлетворить умственный голод, из любопытства или просто от скуки.

Если бы человек становился лучше от искусства, он давно бы уже стал совершенством: искусства было навалом со времен древних греков и еще раньше. Полки библиотек распирает от умных советов и негативного опыта, а – подонков, воров, стукачей и просто равнодушных ко всему людей, которые ничего не читают, становится все больше. В какой бы стране ни жил писатель, если он не конъюнктурщик и не моральный урод вроде описанного выше Имярека, он пишет просто из страсти писать, из необходимости освободиться от умственной беременности, а не для того, чтобы сделать читателя чище душой или убедить его участвовать в соцсоревновании.

Не часто правительство Америки вмешивается в литературный процесс. И само собой, читать, писать и печатать здесь можно все. И едут в Штаты из без пяти минут бывшего СССР все, кому не лень – от отсталых советских детективов из милиции до передовиков антисемитизма. Даже диссидентов выпускают и на обратном пути не надевают наручников. Я уж думал, отказались от идеи запрягать писателей в упряжки, используя для этого метод искусственного отбора, – было такое российское изобретение. Подбирали для этого шолоховых и мелкими шакалами не брезговали. А мандельштамов просто уничтожали. Иногда-таки удавалось, как видим, вывести писателей новой породы. Писатели превращались в приводные ремни, а читатели – в винтики. То время выродилось, исчерпало себя, ушло, думал я. Ан, оказывается, не без рецидивов.

Почему писатели-лауреаты, да еще весьма сомнительной репутации, попадают в разные президентские советы, органы чисто политические? Зубной пасты от этого в стране не прибавится, даже книг больше не будет. Зачем главе государства прозаики? Вносить эвфемизмы в его статьи и речи? Как говорит один герой драмы Островского (цитирую приблизительно), денег я вам не дам, я вам дам то, что лучше денег – я вам

дам совет. Неужто придворный романист Айтматов будет проводить в литературе политику юриста-агронома?

Максимум вмешательства американского правительства в литературу – это пригласить Фолкнера в Белый дом, от чего писатель, как известно, отказался, заметив, что ему неохота ехать обедать так далеко. Представим себе российского писателя, гордо отказавшимся от куска пирога, предложенного главой государства: «Спасибо, – говорит он, – но я просто писатель».

Демократия для пишущих и читающих, сколько ни рассуждай – это же, в сущности, очень просто. Это когда государство отдельно, а литература отдельно. А если яблоко от яблони, то нет. Сегодня в Советском Союзе много сказано, а страх писательского слова все еще таится в подкорке у власти. Слово дозируется, органы указаний работают. У многих радость – дали выразиться. Лжи стало меньше. Но отсюда это выглядит зоопарком, в котором зверей перевели из клетки в вольер. Читаешь ли прессу, смотришь ли тамошний телевизор, невольно подсчитываешь процент очевидного вранья. Нет цензора, так за него редактор старого покроя вычеркивает, меняет мысль на противоположную и удовлетворенно потирает руки, находясь при деле.

В «Литературной газете» с плашки исчезло «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пролетарии газету и раньше не читали, соединяясь только на предмет поддачи, а все же это прогресс. И не только в этом. Исчезли с груди газеты ордена Ленина и Дружбы народов. А из двух профилей – Пушкина и Горького оставили одного Пушкина.

Советская атрибутика, исчезнувшая с вывески газеты, – мелочь. Но время разрублено и в содержании. Изъяты неприятные полвека соцреализма, который я бы назвал идеологическим сюрреализмом. Как бы исправлен этап, в котором «Литературная газета» еще совсем недавно вела себя, мягко говоря, не на уровне мировых этических стандартов. На Западе соцреализм давно внимательно изучается, как и все прочее. А на его родине искусственную шубу вывернули наизнанку, сменили цвет красный на белый, как когда-то белый на красный, и опять подтасовка, только с другими названиями.

Что делать с тысячами книг, учебников, дутых имен, с массовым сознанием, наконец?

Стыдливо замалчивается проблема реального авторства таких великих писателей, как Сталин, Шолохов, Брежнев. Все-то там политическая конъюнктура. Путают борьбу за и против с чистыми литературными делами. В теме, интересующей писателя, хотят разглядеть пользу и вред для себя и вредное изъять, не допустить. А писатели, у которых вынули изо рта государственный сосок, держатся за подол власти, чтобы состоять при должностях и наградах. Власть пригрееет, защитит, не даст в обиду, если сама выживет. Без табели о рангах советскому писателю никуда! Газеты все еще рупоры, а не просто средства информации. Пафос радио упал, многозначительная ничтожность текстов сводит скулы от скуки через десять минут, но это патетически именуется «Всемирной службой Московского радио». Как показывают факты, зарплату в ЦК, ЧК, МВД, Министерстве обороны и даже в МИДе все еще получают за то, что взвешивают дозы нужного им в прессе, вместе того, чтобы заниматься своими делами. А «настоящие писатели-лауреаты» все еще бегают с доносами наверх.

В нормальном правовом государстве века два назад поняли, что самое выгодное для власти – не лезть в дела художников. Не чиновникам определять, писать буквы, ноты, штрихи вдоль, поперек, слева направо или наоборот, что изображать и зачем. Альтернатива этому – партийность, которую Бердяев еще в начале века назвал «опытом полицейской организации литературы». Среди достижений системы останутся и книги Имярека, интеллектуальный багаж советской инквизиции.

1990.

ЛЕТОПИСЕЦ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ

Воспоминания о Сергее Довлатове

Так получилось, что мы не общались на нашей первой родине. Не перекрестились пути ни в общей компании, ни в редакции. Сергей Довлатов жил в Ленинграде, а я москвич. Но он служил в молодости редактором в журнале, а я в этом журнале печатался. Должны были видеться, но ни разу не встретились.

Однако, как впоследствии выяснилось, мы хорошо знали друг о друге даже такие личные подробности, которые и с близкими друзьями обсуждают не всегда.

Отгадка состояла в том, что в его доме и в моем доме (а дома были гостеприимные) бывал один и тот же стукач. Выяснили мы это уже в эмиграции, по взаимному согласию решив, несмотря на разгул гласности, имя не называть. Человек этот обратился не ко мне, а к Довлатову с просьбой прислать ему приглашение в Америку. Сделал он это не потому, что Довлатов здесь жил давно, а я недавно. Думаю, что потенциальный гость предпочел того, кто лучше умел прощать.

Еще не время писать подробные воспоминания о человеке, о коллеге, о писателе, с которым, кажется, совсем недавно долго и обо всем разом разговаривал по телефону, о чем-то договаривался, что-то с ним планировал вместе сделать, а теперь сознаешь, что голос его можно услышать только в записи на пленку, да и то, так сказать, официальную, студийную.

Впрочем, может, стукачи и литературоведы без погон в Ленинграде получали деньги не зря, и где-нибудь в подвале Чека голос Довлатова хранится и когда-нибудь отзовется. Знать бы, быть бы умнее, надо было засовывать при встрече ему в карман магнитофон и записывать его здесь, в Америке, в застолье. Ну, да что теперь...

А все ж какие-то вехи вспоминаются.

Вена, декабрь 1987. Международная конференция писателей, о которой в 1990 году в издательстве «Дюк Юниверсити Пресс» вышла объемистая книга на английском «Литература в изгнании» под редакцией профессора Джона Гледа.

Я только что выехал – после десяти лет конфликтного существования, еще не соображая толком, как жить, еще не отстранившись от старого, с которым покончено. Друзья, знакомые, коллеги реагировали по-разному.

Александр Зиновьев, узнав, что у меня есть приглашения в три американских университета, твердо заявил: «Ехать надо туда, где есть работа». Георгий Владимов горьковато говорил, что для него проблемы языка нет – немецкого он не знает и живет с одним русским. Владимир Войнович делился собственным опытом, который был поучителен. С Райсой и Львом Копелевыми вспоминали пережитое в Москве. Один коллега просто прилетел и вручил немного денег, чтобы поддержать. Вот тут-то мы увиделись впервые со старым знакомым Довлатовым и несколько дней провели вместе.

Я новичок, он уже западный старожил. Он не советовал, не вспоминал. Денег у него не было. Он шутил, и от этого становилось легче. Перечитываю сейчас в книге его и свое выступление. В моем – неостывшая обида и скепсис. В довлатовском говорится о том, что произойдет с русской литературой в последнее время: агония литературы советской, признание (хотя и с увертками) литературы, созданной эмигрантами. Сейчас об этом горы написаны, а тогда было еще не до этого, но он одним из первых об этом заговорил. Предвидение Довлатова, как видим, сбывается.

Лето 1988, студия радио «Свобода», Нью-Йорк.

Работаю на «Свободе» все лето, в частности, начитываю главу за главой свою только что вышедшую в Лондоне книгу «Вознесение Павлика Морозова». Делаю и передачи. Тексты

пишу заранее, переделываю по многу раз. Смотрю, как свободно и раскованно Довлатов работает с микрофоном без шпаргалки. Если устал, выпивает рюмку коньяку. Я нервничаю, сомневаюсь, он спокоен, уверен в себе. И – бесконечные разговоры о жизни там и тут, начиненные байками, которые никогда у него было не понять, слышал он или придумал. Как будто это про него сказано, что экспромт есть то, что тщательно отрепетировано заранее. Радио мешало, заставляло делать однодневки, но именно радио сделало его имя известным в России. Репортер рекламировал писателя. А у него было что рекламировать, то была проза.

Сан-Франциско, апрель 1989. Заранее объявленная в газетах встреча Довлатова с читателями. Проданы билеты, зал полон. Большую часть его представляла пенсионная элита русской эмиграции. Довлатов же рекламирует не себя, а какого-то московского графика, который привез в Калифорнию выставку своих перестроечных, но все равно агитпроповских плакатов.

– Сережа, на кой ляд вы тратите на это силы?

– А он хороший парень, надо его поддержать...

Я председательствую и, стало быть, представляю его читателям. Он, как и положено выступающему, гладко выбрит и чуть-чуть пьян. Договорились еще по телефону вести встречу как диалог, как спор, чтобы слушателям было интереснее. Естественно, я стараюсь дать больше поговорить Довлатову, но чувствую, что он то и дело умолкает, вежливо предоставляя эту возможность мне. В перерыве спрашиваю его, в чем дело.

– Вы так хорошо обо мне говорите. Слушать гораздо приятнее!

В фойе торговля его книгами, которые продает его знакомая. К нему очередь, чтобы получить дарственную надпись. Он делает это ужасно медленно. Подхожу ближе – оказывается он стоит с авторучкой на веревочке, висящей на шее, и аккуратно исправляет в тексте каждой книги типографские ошибки, которых много, и при этом перед каждым, купившим книгу, оправдывается.

У нас была телефонная дружба. Говорили подолгу: я – удобно устроившись в кресле, а он по-набоковски лежа в постели. Изредка получал от него письма и часто конверты с

вырезками – не о себе, а обо мне: на радио Сергей внимательно читал советскую и эмигрантскую прессу. Он, что не у всех случается, радовался появлению книг своих коллег, как своих собственных книг.

Услышав о смерти Довлатова, я пошел в университетскую библиотеку и сел возле полок на пол, как делают студенты. Тут, в тишине, можно было отрешиться от суеты и погрузиться. Перед моими глазами Довлатов стоял на одной полке с Достоевским. Я ничего этим не хочу сказать, кроме того, что сказал: на одну букву, на одной полке. Я снял книги Довлатова с полки, пошел к столу и стал расставлять. Поставил его портрет. Получилась маленькая выставка. Подошли мои аспиранты полюбопытствовать, что я делаю. Я объяснил. Мы сели вокруг. Прочитал им один небольшой его рассказ. Большую часть они не поняли, пришлось перевести. Потом мы провели несколько минут в молчании.

И вот дни идут дальше. Мы еще есть, а Довлатова нет. В этом есть какая-то неувязка логики человеческого существования, что старшие живы, а того, кто моложе, нет. Я не могу объяснить, почему это кажется мне таким несправедливым, может, оттого, что сие происходит и зависит не от нас.

О Довлатове еще пишут и еще напишут критические статьи. Будет литературный анализ, и формальный, и человеческий. Довольно-таки консервативная западная славистика (критикую и себя: я сам принадлежу к этой касте) застряла на узком круге имен. Не хочу вдаваться в причины, они разные, противоречивые, а чаще примитивные. Может, действует закон консервативной части германистики, в которой не принято изучать серьезно писателя раньше, чем через пятьдесят лет после смерти? Но постепенно найдется больше места для диссертаций и докладов на научных конференциях о творчестве самобытного русского писателя Сергея Довлатова. Разумеется, издания, которые традиционно дожидаются смерти, чтобы без опаски давать оценки, уже раскручивают сочинения – правду и небылицы о нем, раньше не предсказуемом, а теперь бесспорно опровергнутой ложью.

Что ж, если появится хотя бы один довлатовед, это будет справедливо. Короткая, но весьма запутанная жизнь плюс довольно длинный библиографический лист Довлатова – достой-

ные предметы для внимания. И не такой уж ясный это писатель, чтобы все в нем сходу понять и объяснить.

За что я люблю прозаика Довлатова? Перечитывая теперь его страницы, думаю о том, что в его книгах нет или мало традиционных книжных событий: войн, революций, политики, роковой любви или трагедии измены. Нет и крупных героев, хороших или мерзких.

Я боюсь писателей, лишенных чувства юмора. Мне кажется, писатель, неспособный вызвать к жизни улыбку читателя, не владеет словом, и ему надо искать другое ремесло. Довлатов писал грустно, но так, чтобы читатель улыбался. Он умел смешить, чтобы нам становилось грустно. Такой усложненный дар не часто встретишь в прозе и в эссе, а Довлатов этим мастерством владел.

Он умел писать как бы ни о чем, высматривал важное в повседневном, рассказывал о людях, которых мы без него просто не заметили бы. Но при этом именно он оказался одним из заметных летописцев третьей волны эмиграции семидесятых годов, той самой волны, которая выплеснула к подножию статуи Свободы его самого и оставила наедине с большой Америкой.

Сиюминутное он останавливал, пытаясь превратить в вечное. Не знаю, удалось ли это ему. В его прозе, в смешении стилей, в отсутствии литературной системы отразились не только противоречия его натуры, но и безумное советское время, душевный хаос изгойства там и последующей эмиграции, сложные возможности свободы для несвободных людей, каковыми мы родились и попали в другой мир.

Перечитываю его эссе, которые он писал для «Нового американца» и для «Нового русского слова». Смотрю скрипты – то, что он делал для радио «Свобода». Они – дань времени, но не однодневки. Не главные вопросы, но всегда больные, нетронутые. Он первый на них обращал внимание, неважное делал важным, неинтересное – значительным. И еще искренность. Он был очень аккуратен, стыдлив, что ли, на громкие и фальшивые слова. Старался не употреблять их сам и очень точно замечал у коллег по обе стороны океана.

Сергей Довлатов виделся окружающим таким огромным, здоровым и сильным, а был больным, изношенным. Не в этом

ли парадоксе скрыта природа его доброты, сострадания к другим, способности ужиться с недостатками, которые столь часто выставляются напоказ от растерянности или избытка свободы?

Он ушел в возрасте, когда кажется, что можно прожить еще столько же. Мы знаем, что он добровольно изнашивал сам себя, несмотря на запреты врачей. Чего он только не делал из того, что вредно, плохо, опасно! Но у врача и писателя разные, подчас противоположные задачи. Врач хочет уберечь писателя от стресса, а писатель стремится к вредному для здоровья состоянию.

Может, писатель делает это, чтобы точнее знать, каково человеку во вредной среде? Вот откуда шли излишества Довлатова, перебор, несчастья, без которых – и это обратная сторона писательской жизни – нет и полной правды в литературе. Таким сжигающим себя «испытателем природы» был другой русский эмигрант, и тоже из Питера, – Александр Куприн. Как Зощенко любил говорить, «литература производство вредное, наподобие изготовления свинцовых белил».

Довлатов ушел в зазеркалье и оттуда, мне кажется, с усмешкой наблюдает за происходящим по сию сторону непробиваемого стекла. Если там, в зазеркалье, слышат то, что мы здесь говорим, я хотел бы ему сказать, что тень его в нашем мире живет веселей, чем жилось ему. И напечатанные, и еще не напечатанные довлатовские мысли остаются с нами. Они не только развлекают. Они помогают что-то понимать, любить и жалеть живых.

1990.

ТУСОВКА ДЛЯ НИГИЛИСТОВ

Прозрачный зачин, с которого начинается любопытная и в каком-то смысле показательная для наших дней статья Николая Климонтовича «Излечение от литературы», не оставляет сомнений в серьезности темы: «В доме повешенного поговорим о веревке».¹ Не сложно понять, что речь пойдет о том, кто умер. Покойница – современная русская литература. А овдовевшие писатели (автор пишет «писатели и литераторы» – видимо, знает разницу между ними) сделали париями общества, то есть, стало быть, оказались вне касты, не у дел.

Поскольку я отношусь именно к этим париям, я растерялся. Все еще пишу, печатают вроде бы по всему миру, включая теперь и оттаявшую родину, но живу в Калифорнийской глухомани. А у них там, в первопрестольной, литературы уже, оказывается, нет. Порешили, пришили, или как там еще это называется. И на похороны я опоздал. Пора закрывать лавочку.

Ушла литература из жизни, по словам автора статьи, за ненадобностью: спроса нету. Больше того, литература, как выясняется, и в прошлом играла отрицательную роль в прогрессе общества, но нынче, слава Богу, наконец-то с ней покончено. «Литература растворилась и перестала заслонять от российской публики реальный мир». Она «вышла в тираж» – «как

¹ «Новое русское слово», 31 декабря 1991.

партия, как идеология, как железный Феликс и как сам Советский Союз». Может, имеется в виду только официальная партийная литература? Но нет, никакой дифференциации не делается. Всё скопом на свалку.

По мнению, высказанному в статье, это один из положительных результатов текущего русского катаклизма: литературы больше не существует. Хотя в другом месте автор говорит, что «литература осталась лишь в качестве прилагательного» (и на том спасибо), но потом об этом забывает. «Излечением от литературы», оказывается, этот процесс именуется, – значит, была болезнь, некое упомешательство на книгах. Много читали и спорили, но теперь с этим покончено, как со свинкой, корью или, может, манией. Вылечили нас от этого. Впрочем, коль скоро литература была такая плохая, раз «заслоняла» от нас нечто более полезное для кармана или для здоровья, то ее и не жалко. Без нее даже лучше. Легко на сердце без песни веселой.

Вот такой интеллигентный взгляд, дорогой читатель. Все мы опасаемся еще переворота сверху, а там культурная революция сбоку, из-за угла.

Когда древние римляне оккупировали Грецию, военное начальство посетило одного местного философа. Библиотеку у него разграбили, а сам он остался в живых. Начальники вежливо поинтересовались:

– Не было ли у вас чего-нибудь похищено, когда войска вошли в город?

– Ничего! – скромно ответил философ. – Ведь мудрость не может стать военной добычей.

Это другой взгляд, менее прагматический. Но, конечно, не такой современный. Устаревший.

Разумеется, каждый пишущий имеет право высказать любые свои соображения. Даже крайние. Однако пророчества, как мы не раз убеждались (пора бы извлечь уроки), почему-то не срабатывают. Ухитрились Ленин, Гитлер, Сталин или Мао уничтожить литературу? Замедлить, изуродовать, упрятать авторов в застенки – да, это вполне удалось. А литература всегда оставалась, превращалась в Самиздат и Тамиздат, но выживала, добиралась до читателя. Неужто в переходный период к цивилизованному обществу под мудрым водительством пока

либеральных вождей Горбачева и Ельцина, в общем-то без репрессий и почти что без цензуры суждено ей прекратиться?

Из статьи «Излечение от литературы» следует, что сам ее автор уже исцелился от этого недуга. Он, так сказать, переориентировался на современные требования жизни, серьезно восприняв в средней школе рекомендации тургеневского Базарова, создателю которого, как известно, принадлежит копирайт на введение в русскую литературу слова «нигилист». Почти повторяя почтенной памяти русских анархистов Нечаева и Бакунина, Климонтович испытывает творческую радость разрушения: «...как все прочие кумиры, литература оказалась колоссом на глиняных ногах и рухнула в одночасье». «Это прекрасно», – констатирует он.

Судя по статье, автор вроде бы прагматического племени, а вот на ж тебе, мыслит вполне марксистско-ленинскими формулировками. Концепция такая: сперва похоронить то, что существует, что создавалось поколениями писателей (скопом, без разбору), а потом «заново отстраивать здание литературы». Знакомая мелодия, где-то этот канкан уже танцевали. «Разрушим до основания, а затем...» Называется эта игривая песенка «Интернационал». Когда вся старая литература будет уничтожена, то, вполне по-большевистски, начнется следующий этап, так сказать, созидание новой литературы: «Среди обломков пробьются бойкие роднички, – написано в статье, – сольются в негромкий поток...»

Из чего они бойко пробьются, как сольются, не ясно. Но ясно, что на голом месте. Только зачем им опять сливаться, когда еле-еле разлились из единого русла? Наконец-то литераторы стали париями, вышли из касты Союза писателей с предписанным «измом». «Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум», – писал всем известный пария. Ан нет, опять призыв сливаться...

Впрочем, нигилиста не волнует опыт предшественников, он живет сегодня. Он смело делает открытия по части разрушения. Суть статьи «Излечение от литературы» – убедить, что похороны русской словесности уже состоялись и даже объявить об этом всему миру, напечатав статью за границей. При этом примечательно, что выступает автор чуть ли не от всего своего поколения: «мы помним», «нас спросят», «мы покажем»...

Все это уже было. И похоже на знакомые идеологические погромы, только тулуп надет навыворот.

Русская литература внутри России и в изгнании всегда, даже в самые мрачные годы, представляла собой сообщающиеся сосуды. Корни, обрубленные в метрополии, давали могучие ростки на Западе. Периодически, как, например, сейчас, эти ростки успешно пересаживают в отечественный лес, где за предыдущие годы изрядно порублено. Процесс сложный и небезболезненный. Желание объявить отмирающей ту или другую часть русской литературы, тот или другой период нет-нет да появляется.

Зыбкое здание демократических преобразований в культурном пласте Московии раскачивается от призывов то размежеваться на ручейки, то слиться в поток. Будто это поможет сути дела. А суть – творчество художников. Для чего опять крушить стулья, на которых сидим, призывать к «излечению от литературы», то есть, если называть вещи своими именами, к литературному террору? Да и вообще как, по мнению автора и его единомышленников, с остальной культурой? Тоже сперва задушить старое, затем объявить о наведенной чистоте и дать команду созидать? Не надоело ли бороться? Или, может, идет новое, небитое поколение?

Заодно с литературой и читателя как такового автор превращает в примитивного потребителя инструкций, точь-в-точь по Оруэллу: «Находятся даже – допустим и это – кое-какие читатели, но Литературы больше нет. Она сгнула как фантом, и остался лишь навык функционального чтения – скажем, чтобы сдать экзамен по сопромату...» А дальше еще эффективней: «Загаженные вишневые сады российской словесности нынче оказались выкорчеванными...»

Давайте все же не будем доверчиво следовать за автором статьи, у которого закружилась голова от разрешенной свободы слова. Куда, простите, «сгнула» Литература, когда в каждом интеллигентном доме по обе стороны двух океанов книжные полки, когда библиотеки во всех странах пополняются, несмотря на денежные трудности?

Так называемые «массы» не читают книг, это правда. Ну, а раньше они читали? Был соцмиф о читающей нации, которая землю попашет, попишет стихи. Миф испаряется. Но реаль-

ность вовсе не соответствует новому мифу о лихом примитивном вещизме, который преподносит нам г-н Климонтович. И пишется, и издается сейчас больше литературной продукции, чем раньше. Духовный опыт интеллигенции, ранее там запрещенный, возрос в цене и стал более доступен. И вообще, как написал один московский редактор, «отучить читать невозможно». И нищета или благополучие, политическая стабильность или катаклизмы тут не при чем.

Бесспорно, советская литература в ее официальном виде перестала репродуцироваться. Но книги-то этажами везде стоят, не сжигать же. И несветские классики, то есть те, кого, как сказал Честертон, хвалят, не читая, на одних полках с конъюнктурщиками, сталинцы с антисталинцами и графоманы с гениями, прижавшись корешок к корешку. Зачем совершать тризну по историческим явлениям?

Один мой приятель здесь, в Америке, специалист по английской литературе, до сих пор собирает художественные произведения лауреатов сталинских премий, – такое вот хобби. И с точки зрения полноты истории литературы, и для того, чтобы лучше всё понять, их еще будут перечитывать – тех, и других, и третьих. И слово «советский» остается – в качестве исторического термина. Скончался ихтиозавр, у которого советская литература была содержанкой. Ну и что? Говорят, из проституток получают великолепные жены...

Вот что, однако, интересно. Рухнула партия, перекрыт кислородный кран у идеологии, расползлась империя, которая рано или поздно должна была рухнуть. Разве не мечталось многим из нас, что так рано или поздно случится? И вовсе это не катастрофа, а здоровый, плодотворный процесс, очевидный и невидимый. Надписями на майках литературу не заменить. Нынешнее время – время понимания, переосмысления, стремления сохранить лучшее, недоуничтоженное варварами. Время злобы – но и попыток сформировать понятие добра, уважение к истине, общечеловеческую мораль, без которых недостижимо благо.

Уверен: время сейчас бедное по части еды и шмотья, но богатое для литературы. Не только потому, что старая власть, надевший красную шапочку КГБ и почти разогнанная цензура спасают свои шкуры и им не до контроля за пишущими. Но

прежде всего потому, что плохого времени для литературы вообще быть не может по определению. А если и есть, то только для плохих писателей.

Думалось, литературные провалы неизбежны в пыточные тридцатые годы, в гниющие семидесятые и восьмидесятые. А поглядите, сколько написано и опубликовано. И еще не все исчерпано. Значит, одни пишущие предавались отчаянию и причитали, а другие спешили записывать, переснимать на микропленки убогой камерой «Зенит», понадежнее прятать и переправлять на Запад. Что же изменилось в литературной психологии? Пресытились? Судя по тому, что хорошие книги в Москве и сегодня достать непросто, немало жадных глаз ищет, что читать и какие книги оставить детям.

Конечно, в отдельные времена тучи сгущаются. В период теперь уже не великой Октябрьской революции резко подскочила вверх не только статистика смертности по насильственным причинам, но и число самоубийств. Такая же картина, не особенно афишируемая, в крупных городах России сегодня. Но никогда и ни в одной стране мира не происходило самоубийства литературы, которое сейчас видится тревожному взору нигилистов-критиков.

Мне кажется, призыв перейти от литературы к реальности (читай: от ума к желудку) автор статьи «Излечение от литературы» в личном плане может без труда осуществить. Для этого он, в соответствии с собственным прогнозом, может перестать читать и больше уделить внимания материальным соображениям. Означает ли это, что сам он, «закрыв литературу», написал свое последнее сочинение?

Свободы стало больше в хилой державе, меньше ограничений, при этом в общем литературном хаосе поток печатающейся чепухи, несомненно, вырос. В отличие от Н.Климонтовича, забивающего гвозди в гроб Литературы (он даже слово это пишет с большой буквы, чтобы похороны выглядели импозантнее), я думаю, что литературный хаос – состояние естественное. Разве, не будь хаоса, стали бы авторы делать такие крайние заявления? Представьте себе статью такого культуролога в «Нью-Йорк таймс бук ревью»: «Загаженные апельсиновые сады американской словесности нынче оказались выкорчеванными...»

Из статьи «Излечение от литературы» мы узнаём, например, что такое литература. Дураки-литературоведы (за что только деньги им платят?) две тыщи лет не могут кратко объяснить. А литература – это, оказывается, «ряд напечатанных литер, составленных в слова, которые в свою очередь составляли текст». Только и всего. «Составляли» написано в прошедшем времени, поскольку Николай Климонтович литературу закрыл.

Так и в целом: литеры приняты им за глубинные духовные процессы, которыми в действительности живет сейчас большая литература; алкаш, рвущий на груди тельняшку, – за нежелающего бегать глазами по литерам читателя.

«Водя ручкою по белому листу», как автор «Излечения от литературы» изящно выражается, он пишет. Но ведь литература, с его точки зрения, умерла! Затем, записав свои мысли, автор их отправляет публиковать. А значит, рассчитывает на читателей, которых, как он доказал в своей статье, уже нет.

Выходит, вопреки объявленной смерти словесности, литературный поток продолжается. Он вынес нам, между прочим, и эссе-некролог «Излечение от литературы».

Время на Руси сумбурное. А в смуту всегда тусуются нигилисты.

1992.

ХОРОВОДЫ ВОКРУГ МИФОВ

Наши нынешние споры о судьбах культуры в России приобрели фатальный характер, будто речь идет о конце света.

Диалог с московским писателем Николаем Климонтовичем был именно таким. Напомню, что в качестве новогоднего сюрприза он вынес смертный приговор литературе.¹ Приговор, по мнению автора, приведен в исполнение, похороны состоялись. Статья была как бы констатацией факта. Однако «аплодируя свержению кумира» (цитата), автор любезно разъяснил некоторые аспекты наблюдавшейся им деградации, а затем предсмертной агонии литературы.

Не стал бы я возражать, если б сказано было, что литература перестала играть несвойственную ей роль. Или автор хоть как-то классифицировал бы умирающую литературу. Нет, вся сдана на свалку скопом. Ранее не раз публиковались статьи о кончине литературы соцреализма. Климонтович взял шире и покончил со всей русской литературой вообще. Из статьи, однако, было неясно, что поставили на могиле: крест, звезду, моговид или всё вместе. А может, прах литературы развеяли по ветру, чтобы о ней ничего не напоминало?

Примем во внимание, что в последнем каталоге книжного магазина Виктора Камкина рекламируется книга Климонтовича «Двойной альбом».² В ней большой роман, трактуемый авто-

¹ «Излечение от литературы», «Новое русское слово», 31 декабря 1991.

² «Двойной альбом», роман, рассказы. М., «Сов. писатель», 1990, 448 с.

ром как «вызов нормативным литературным требованиям», и коллекция рассказов, которая «объединена сквозной темой – вечной темой «искусство и жизнь». Выходит, в бессмертии собственной прозы автор не сомневается, а над другими возвел могильный холм. Кому же он тогда бросает литературную перчатку? Статья его не филологическая (какая ж филология, когда литературы нет?), а некрологическая. Так сказать, одной рукой пишет романы, другой готов их уничтожить за ненадобностью.

Думаю, что мы с Климонтовичем члены одного Союза скептиков, только он в секции циников, а я – сдержанных оптимистов. Мои возражения ему³ были, в сущности, продолжением размышлений о непростых отношениях русской литературы, государства и читателя, о литературных мифах и реальности, про что я много думал и написал пару книг. Все новые точки зрения мне интересны.

Не успели читатели осмыслить объявленную им кончину русской литературы, Климонтович опубликовал новую статью, в которой некрологические тенденции еще более расширились.⁴ Оказывается, писатель констатировал еще три смерти.

Смерть №2. Вслед за литературой с интеллигенцией теперь тоже покончено. Поскольку материальные интересы вылезли на первый план, рабочие, военные и бюрократы смешались с «так называемой интеллигенцией» и все стали «средним классом». «Элита» (верхний эшелон партократии, генералы, академики и придворные деятели искусств) тоже вытеснилась в средний класс, «пока, наконец, сегодня она почти полностью не исчезла».

Смерть №3. Семья в России, оказывается, перестала существовать. В стране сегодня «тотальный инфантилизм» – как реакция на отмену идеологии. Раскрепощенным людям кажется, что они будут жить вечно, – чего ж жениться? И при этом – бум порнографии. Вывод: «И то, и другое вместе практически разрушило семью».

И наконец, смерть №4. Конечно, «государство рухнуло в одночасье», что, особенно вблизи, кажется более или менее очевидным.

³ «Тусовка для нигилистов», «Новое русское слово», 21 января 1992.

⁴ «Средний класс и возможность действия». «НПС», 4 февраля 1992.

Однако все это, как говорил один знакомый портной, сидит уже почти хорошо, но еще немножечко совсем не так. Как и с литературой, тут все огулом.

Что касается интеллигенции, то большевики эту категорию хоть как прослойку держали, теперь же она в целом, если полагаться на мнение московского автора, не требуется: спросу нет. Так ли это?

На деле интеллигенция мечется, она без пристанища, она голодает больше других, но она никуда не делась. Если г-н Климонтович хочет проверить свою концепцию, могу его познакомить с интеллигентами в Москве и Санкт-Петербурге (их много) и с социологами, изучающими современные проблемы интеллигенции. Да и насчет «вытеснения» бывшей элиты из кресел у меня большие сомнения. Она-то и есть пока тот хамелеон, который сменил окраску, но все еще решает многое.

Семья... Неужели и это советский миф, который лопнул, как мыльный пузырь? Институт семьи стал разрушаться, как известно, в России после революции в страшных масштабах, особенно в периоды коллективизации, большого террора и войны. Смешивать недавно объявленный факт минусовой рождаемости, превышение числа разводов над числом браков, а тем более порнографию и демографию, делая вывод, что семья разрушена, можно только журналистам, для которых свобода печати означает свободу от достоверности фактов. Для опровержения достаточно позвонить в семьи знакомых и убедиться, что мужа, жены и дети на месте.

Государство рухнуло? А разве рухнуло оно в феврале 17-го? А в октябре того же года? В том-то и основная трудность происходящего, что оно не рухнуло ни от революции снизу (хотя Ленин обещал), ни от революции сверху (хотели скелет сохранить), а все время, выворачивая наизнанку идеологии, как Змей Горыныч, отращивает новые головы. Многие индивиды лишились государственной опеки, это правда. Но даже у родной матери кончается молоко, и надо расти самому.

Мысль о том, что все умирает, проистекает, мне кажется, от ощущения таким интеллигентным человеком, как Климонтович (хотя интеллигенция умерла), хаоса происходящего, и я его тревогу разделяю.

Однако, насколько я могу разобраться в молниеносно рождающихся крайних соображениях г-на Климонтовича, они отражают мысли и настроения не его лично, но определенного слоя молодых людей. Давеча я назвал их по старинке нигилистами. Похоже, Климонтович принял термин. Происходящее, пишет он в своей следующей статье, «избавляет от ответственности, от ощущения грани бытия и небытия, вселяет в души легкомысленный нигилизм, замешанный на чрезвычайной наивности».

Одна из самых злободневных частей второй его статьи называется «Трагедия нонконформизма». Раньше все считали трагедией советского общества конформизм, но не отрицалось наличие социальной жизни, значение оппозиционной роли диссидентства, антигосударственной активности даже в советский период. Теперь нам объяснили, что ничего этого не было и, тем более, нет теперь. Оказывается, все это выглядело так, «как бунтует жена, на самом деле полностью зависимая от мужа». Только и всего. Что имеет в виду автор? Академик Сахаров был такого рода «женой»? Или, может, писатель Солженицын? Разве теперь дух нации сведен только к тому, что индивид не знает, «где право, где лево»? И сверх всего, оказывается, думать теперь нация не может, некому да и не надо...

Возможно, Николай Климонтович искренне не подозревает, чьи взгляды он выражает: они висят в воздухе, которым дышит его поколение. Я хотел бы оказаться неправым, но сподвижники писателя Климонтовича кажутся мне, так сказать, позитивными нигилистами, устремленными вперед. Нигилизм для них – просто стартовая площадка, переходный этап из ничего во всё. Отрицание для них – расчистка места, чтобы окопаться, занять рубежи, а затем заявить о себе и создавать то, что они хотят. Если они знают, чего именно хотят.

Я вовсе не хочу бросить на них тень. Сам через эти взгляды прошел и даже им симпатизирую, – им, но не их методу. Протест их сиюминутно логичен. В разных странах это бывало, даже во Франции и в США. Но метод их действия, их, как говорится в упомянутой книге Климонтовича, «вызов», вполне отечественный, и другим, похоже, он быть пока не желает: скинем кого надо с парохода современности.

Кто же те, кого скинуть? «Генералы от литературы лишлись тиражей и почестей», – пишет этот автор. Генералы от

партии, науки, искусства, само собой, тоже. Но этого недостаточно. Стремящимся вперед молодым надо доказать, что не только раньше все было плохо, но, что важнее, именно они, не замаранные компромиссами с бывшей властью, и только они, а не семидесятники, не бывшие политзеки какие-нибудь, вроде недопосаженных диссидентов, и не Запад, – именно они смогут все сделать хорошо.

С одной стороны, они не комсомольцы, с другой – беспокойные сердца. И им мешают «пережитки». Поэтому семья, которая их вырастила, была плохая, и больше не требуется. Поэтому мыслящая часть общества – интеллигенция – сравнялась с пролами, то есть с рабочими, и расплылась. Поэтому государство, которое было отвратительно, умерло. Наконец, литература, и это для новых писателей главное, вся была лживая, колосс на глиняных ногах, и рухнула. Простые писатели (не генералы) там как бы не существуют или тоже все коллаборационисты. Теперь молодые будут создавать подлинную литературу, ни на что не похожую, но они же, по Климонтовичу, будут становиться и бизнесменами, и бюрократами, а некоторые, возможно, превратятся в нового типа интеллигентов в новом государстве и даже в новых буржуа.

Люди нового типа... Слова эти произнесены. «Новая «демократическая» элита, – пишет он, – таковой себя еще не осознала». Новые люди... Ведь и этим мы уже сыты. А на деле? Так ли уж всё сводится под корень, как видится московскому писателю Климонтовичу?

Государство никуда не денется, и в нем, несмотря на заклипания, не все умерло, разумеется. Останутся, Бог даст, и культурные институты, отбросив имперскую и советскую идеологии. И если это будет цивилизованное государство демократического типа, то все в нем будет всякое, и при том сбалансированное, как в любой западной стране, если... новые люди, так сказать, строители мрачного будущего, не будут считать себя особой породой, наиболее прогрессивными, новой элитой, etc. И если они не станут сперва все разрушать, а затем захватывать силой власть.

Топтать без разбора доперестроечную литературу аж до Кантемира, чтобы самоутвердиться («литература вышла в тираж», по Климонтовичу), – это сейчас одно из самых модных заня-

тий среди литературной и околосредств массовой культуры молодежи в Москве и Петербурге. Одна из тенденций – самая что ни на есть клубничка – выкинуть из прошлого диссидентскую литературу, виновную в попытках найти компромиссы с властями, и самим вскарабкаться на освободившийся пьедестал. В сущности, стиль топтания предшественников на перевалочных пунктах развития заимствован из обширного арсенала агитпропа. Молодые писатели не виноваты, так их учили в советской школе. Но – позволю себе подчеркнуть – учили отнюдь не только на уроках литературы.

Именно на сей счет своим мнением поделился С.Ясиевич.⁵ Вот основополагающие взгляды на отечественную историю, литературу и культуру в целом, бережно выписанные из его труда:

Во-первых, «русско-советская культура – культура параноидальная».

Во-вторых, «эта литература – род массового психоза».

В-третьих, «советское общество – общество параноиков».

В-четвертых, «деятели русской литературы – люди ненормальные».

В-пятых (прошу извинения за то, что для экономии дефицитной газетной площади сокращу), писатели – люди с гипертрофированным тщеславием, оставшимся с подросткового возраста; они (и профессиональные читатели вместе с ними) спасаются в выдумках от своего ущербного бытия. Последнее касается, правда, не всех писателей, исключение – Зощенко и Бабель, у которых было «отсутствие гордости за свою литературную профессию».

К указанным выше примыкают и другие принципиальные обобщения данного мыслителя. Идеологические мифы, партийные лозунги и просто стереотипы мышления Ясиевич называет одинаково «брехами», а интеллигенцию «вяло рефлексирующей». Становится ясно: причины ушли в область психиатрии. Впрочем, компетентен ли автор в этой области? Отдельных деятелей прошлого он считает «свихнувшимися», про других говорит, что их «свела с ума» литература. А свои взгляды называет то диагнозом, то анамнезом.

⁵ «Поле чудес страны». «Новое русское слово», 19 февраля 1992.

Написано это не сгоряча в пылу полемики. Ясиевич подчеркивает, что высказал эти свои убеждения в письме в «Новое русское слово» еще полтора года назад, и никто ему тогда не возразил. Это укрепило его уверенность в том, что его картина мира адекватна.

Вообще-то, она не нуждается в комментарии. Но, как говорил покойный президент Джон Кеннеди товарищу Аджубею, «я позволю себе заметить, не вступая, однако, в спор». Если говорить серьезно, то «психический подход» к явлениям уместен в застолье, а не в публикации. Специалисты давно пришли к выводу, что крайне рискованно считать даже отдельных деятелей прошлого психически больными, не говоря уж о массовых ярлыках. В противном случае, всем крупным фигурам истории можно приписать с точки зрения сегодняшней медицины любые психические болезни. Очень хочется объявить параноиком Сталина, но даже этот, казалось бы, очевидный факт все еще нуждается во множестве аргументированных доказательств. Наш советский опыт призывает быть вдвойне осторожными со злоупотреблением психиатрическими терминами.

Другой аспект размышлений Ясиевича я бы назвал болезненным сведением счетов с литературой вообще. Оговорив, что «литература – важный и интересный культурный феномен», и это «глупо оспаривать», он сам сочиняет формулы и сам их опровергает. «Литература – соль жизни – это, извиняюсь, бред». «Литература – основа нравственности – это опять бред». Сложные вопросы психологии творчества, вдохновения, теорию искусства, социологию чтения и воздействия книги, то есть все то, чем серьезно занимаются во многих странах компетентные люди, – в объяснении моего оппонента просто «бред», и такой взгляд напоминает мысли подлинно пролетарских писателей в советском журнале «Литературная учеба» 1930-х годов. Чтобы принизить значение литературы, Ясиевич называет союзы авторов, писательские общества, клубы и объединения «кружками», будто все они при домоуправлениях. Впрочем, это естественно проистекает из его представления о литераторе как о тщеславном бумагомарателе.

Климонтович утверждал, что литература в принципе закончилась, она нужна теперь только для того, чтобы «научить-

ся готовить макароны по-флотски или овладеть мастерством кройки и шитья». Это и побудило меня взяться за перо. С.Ясиевич в противоречие с Климонтовичем объяснил нам, что мораль и идеология теперь будут отдельно, а литература отдельно, что учителем жизни литература не является. С этим я почти согласен, тем более, что именно об этом опубликовал большую статью пару лет назад.⁶

Писал я там о роли литературы в тоталитарной стране – роли мифической и реальной и о переходе литературы из одного состояния в другое. Не хочу повторяться, прошу извинения за то, что вынужден процитировать сам себя: «Литературное слово не лечит, не исправляет и не помогает ни партиям, ни государствам... Насчет того, чтобы глаголом жечь сердца людей, Пушкин, мне кажется, слегка погорячился. Пророки в нашем отечестве обращаются за реальной помощью к охранке. И вообще, сердца читателей надо беречь. Слово (и правдивое, и лживое) субъективно, и за это нравится нам или нет. Оно только выполняет свою функцию: оно ри-су-ет».

От русской литературы Ясиевич переходит к анализу всемирной истории. С той же непринужденностью, с которой он навешивает медицинские термины, он манипулирует и понятиями в этой области. Такие разнопричинные и комплексные явления как крестовые походы, марксистское учение и причины Первой мировой войны только в обывательском споре на кухне можно соединить названием «массовые психозы». С.Ясиевич добавляет: «В этот ряд следует поставить и психоз русско-советской литературы». А именно: «Литература – род массового психоза, овладевшего массами и ставшего материальной силой».

Неясно, что в этой формуле автор считает материальной силой – массовый психоз или литературу? Но в любом случае это – типично советский идеологический миф, в котором то партии, то советам, то электрификации, то химизации, то науке отводилась роль материальной силы, способной вытащить буксующую систему из канавы. На деле же, как показывает статистика, и до революции, и в течение минимум десяти лет

⁶ «Власть и слово». «Новое русское слово», 9 июля 1990.

после нее тиражи художественной литературы были слишком малы, чтобы ее читали массы. Да и потом массы, хотя им и вдалбливали «Равняйся на Павлика Морозова (Веру Павловну, Рахметова, Корчагина, молодогвардейцев... продлите список сами)», – массы делали это из карьерных соображений, а по сути больше интересовались продуктивно-шмоточной идеологией, чем литературой. Грамотность стала массовой, да, но «читающие массы» – это всегда был миф, и только большевистские идеологи и г-н Ясиевич утверждают, что это правда.

Перефразирую классика: мне кажется, слухи о роли литературы в политической истории сильно преувеличены. Литература столько же способствовала политическим заблуждениям или порождала застарелые русские болезни, сколько была нейтральной. (Особый разговор о том, что историю литературы изуродовали, как и все остальное, пытаюсь изобразить участие ее в выгодном кому-то деле.)

С таким же успехом можно сказать, что литература противостояла заблуждениям («массовым психозам»). Взять для примера «Бесов», или «Историю одного города», или «Мы», или «Архипелаг Гулаг». Не литература способствовала захвату власти в Париже в 1789-м и в Петрограде в октябре 1917-го, как считает Ясиевич, а конгломерат сложных обстоятельств, включающих, среди прочего, и печатное слово, – таких обстоятельств, отметить которые – значит примитивизировать историю ради эффектной газетной фразы.

Только для политической модели умирания литературы Климонтовичу понадобилось золотой и серебряный века русской литературы сменить на нынешний, который он назвал фанерным. Звучит остроумно, но к реальности не имеет отношения. Для этого же Ясиевич подкрепляет свое утверждение цитатой об иссякании русской поэзии к 70-м годам прошлого столетия.

Но есть и другое мнение: поэзия в начале нового столетия поднялась опять. Двадцатый век русской литературы, что признано и в мировой культуре множеством славистов, не уступает первой половине девятнадцатого ни в прозе, ни в поэзии. Богат наш век не только грехом литературы перед Россией, участием в отравлении сознания, сожигательством с коммунизмом, созданием трухи, как справедливо доказывают оба моих

оппонента, но и в такой же степени полезностью литературы для развала колосса. Если она участвовала в создании Утопии, то также она участвовала и в ее разрушении. И просто чистой литературой богаты и девятнадцатый, и двадцатый века. Или, может, если чуть продлить логику моих оппонентов, чистая литература появляется на свет благодаря Горбачеву?

«Россия... не имела своих выдающихся государственных деятелей, которые осуществили бы общественные чаяния», – пишет С.Ясиевич. Полноте, откройте любой учебник истории, кроме стандартного советского, и обнаружите вереницы таких общественных людей (у которых, кстати, тянут идеи нынешние политики и экономисты, без ссылки на первоисточник, разумеется). И увидите несомненный прогресс, вполне адекватный западному развитию.

«Русская интеллигенция... пустилась в массовое и длительное фрондерство», – полагает Ясиевич, вслед за Климонтовичем обвиняя огулом несколько поколений и подкрепляя свою мысль цитатой из недоучки Ленина, у которого, как известно, можно найти любые соображения – и за, и против чего угодно.

Часть интеллигенции соучаствовала. Но надо ли перечислять множество таких интеллигентов разных времен, которые «не пустились», которые умело и умно сотрудничали с правительством, что Ясиевич наблюдает только в истории западных стран и отрицает в России? Ведь «массовое фрондерство» интеллигенции – тоже коммунистический миф.

Согласно тому же Ленину, построившему лестницу из трех ступеней революции, в первой ступени орудовали декабристы. Лишь сравнительно недавно удалось точно подсчитать, что декабристов было 337 человек, только и всего. Никто еще не знает, сколько членов партии большевиков было перед Октябрем, ибо все пока опубликованные цифры липовые, но даже и они незначительные. Тех, кто не принимал участия в «массовом психозе», было много. Их Ленин изгонял из страны, а потом Сталин уничтожал в лагерях. После революции покинули Россию свыше восьмидесяти процентов писателей. Они что – и за границей участвовали в создании литературы «массового психоза»?

Станным образом, сперва категорически не согласившись с моим взглядом на смерть литературы в России, г-н Ясиевич

приходит в конце к тому же выводу, простому, как глоток воды: «значение литературы глупо оспаривать» и «речь идет о злоупотреблениях, которые сопутствовали литературе». Литература – огромный, многообразный, животрепещущий организм, и сваливать все в одну яму – хоронить ли, всю ли обвинять в мифологическом сознании, напрочь ли отрубать ее возможное влияние на читателя (для меня лично сомнительное) представляется неправильным. Ясно, что время от времени отдельные ветви литературы отсыхают, что жизненные катаклизмы меняют ее функции и место в обществе, – это азбука. Но литература выживала не раз в трудных обстоятельствах; выживет, по моему убеждению, и теперь.

Тем более наивно, ставя традиционно русский роковой вопрос «Кто виноват?», валить все на литературу. Приписывать вину за провалы политики то евреям, то погоде, то литературе, как это всегда делала Софья Власьевна – дело привычное. А литература как народ: она разная, она не может быть вся плохой или вся хорошей, она не может вся умереть, не может быть вся виновата.

И последнее. Вовсе не обязательно свою точку зрения внедрять с агрессивностью, будто классовый враг хочет эту точку зрения экспроприировать. Давайте в споре вместо «не хочет понять» употреблять выражение «думает иначе». Мы ведь не в редакции газеты «Правда» сталинских времен. Что касается предмета дискуссии – русской литературы, то она обитала и обитает в *нор-маль-ной* стране, хотя все еще полной предрассудков. Впрочем, С.Ясиевич (см. пять приведенных выше цитат из его статьи) думает иначе: литература вышла из палаты №6.

1992.

ПРЕДПОСЛЕДНИЕ МОДЫ ВЕКА

Легкомысленные заметки серьезного писателя

Помню свою первую лекцию в Техасском университете в 1988 году. В два часа ночи полуживой отказник прилетел из Рима в Америку, едва не опоздав к началу семестра. Утром уже стоял в аудитории у доски и писал тему лекции. Мне казалось, я готов к любым неожиданностям. К тому, например, что техасский язык вроде бы не совсем английский и придется трудновато. Но когда я повернулся к залу, выяснилось, что главной проблемой первого дня стало совсем другое. Это было состояние некоего дискомфорта. А если уж говорить начистоту, у меня просто дыхание перехватило. Я не знал, куда деть глаза.

Читал я вводную лекцию курса «Современная русская цивилизация» – того обычного цикла по русской литературе и культуре, что в разных видах читается во многих американских университетах. На меня внимательно смотрели семьдесят шесть пар глаз. Мальчики в шортах и майках, а девочки... На студентках было по две ниточки, перетягивающих тело попеременно точно в двух местах. И всё.

Нет, вру! На особых модницах еще были черные чулки, притянутые резинками к поясу. Другие были в черных платьях, закрывающих тело от ушей до пят, но этот контраст только усиливал нервозность лектора. К тому же, когда монашка вышла к доске, оказалось, что у черного платья до пят сбоку

разрез до подмышки. В довершение картины рядом с одной из монашек сидел в погонах с буквами СА советский солдат. Успокаивало только, что на голове у солдата была бескозырка с надписью «Дважды Краснознаменный Балтийский Флот». Всю эту амуницию студент, как после выяснилось, купил на соседнем блошином рынке.

Поймите мои трудности. Я не умею выступать по бумажке и импровизирую, обращаясь к записям лишь изредка, в основном, для точной цитаты. Для меня остается загадкой, как Владимир Набоков заранее написал курс лекций по русской литературе, а затем, упершись глазами в текст и не общаясь ежесекундно со слушателями, читал вслух.

Мне просто необходимо внимательно смотреть на слушателей, спрашивать их, видеть реакцию и в зависимости от этого перестраиваться, замедляться, ускоряться, если тезис ясен, или, если публике стало скучно, немедленно вставить что-нибудь смешное, подходящее к случаю.

В тот первый день в Техасе вся моя система, отработанная за годы встреч с читателями, рухнула: я не мог смотреть на студенток, а когда обращался к ним, заикался, терял нить и, наверное, краснел. Они бедные не понимали, что происходит с этим русским. Помучившись, я все же нашел выход. Решил я смотреть в левый дальний угол зала, то есть как бы на студенток, но поближе к потолку.

Шли дни. Человек, по мудрому замечанию Достоевского, это существо, которое ко всему привыкает. В конце концов, и я привык к техасской моде, перестал обращать внимание на этот, скажем так, стиль, или, как написала бы газета «Правда», на их нравы. Но произошла адаптация не сразу. Хорошо, что моя жена всего этого не знала, а то, наверное, стала бы сопровождать меня на лекции. На всякий случай. О том, что я это пишу, она тоже понятия не имеет, и вы ей, пожалуйста, не говорите.

Вспомнил я эту историю недавно, когда снова приехал в Техас на конференцию по современной литературе. С конференцией было все в порядке, речь дальше пойдет вовсе не о ней. Прошу прощения у читателей за то, что хочу высказаться на тему, в которой я абсолютный дилетант.

Отец Флоренский говорил, что по женской моде можно судить о сути нашей цивилизации. В Европе и на севере Со-

единенных Штатов зима, и магазины еще полны зимней одежды. Модельеры, наверное, разрабатывают моды для будущего лета. А в южных штатах одно лето кончилось, но сразу же после дождевого антракта наступило другое: все цветет, небо голубое и душно. Днем по старику Цельсию 35 градусов жары в тени. Галстук становится удавкой, а в пиджаке вы чувствуете себя вроде как в дубленке в финской бане.

Добравшись до университета, зашел я на немецкий факультет, который, как у нас в Калифорнии, соединен со славянским. Навстречу мне по коридору шла женщина, и глаза у меня по привычке стали искать левый угол поближе к потолку. На женщине были надеты маленькие белые штанишки, на эти штанишки – красные шорты, а на них еще более коротенькие шортики, одна штанина которых голубая, а другая зеленая в цветочках. Кроме того, на ней была белая майка, завязанная на талии узлом так, чтобы средняя часть тела с той вмятинкой, которая остается, когда ребенок отделяется от матери, была открыта. При этом майка, стянутая на бок, врезалась в шею, зато открывала плечо, часть груди и руки. На другой груди наискось шла надпись, звучащая в переводе на русский так: «Соблазни меня, я принцесса на тренировке».

Красотка оказалась аспиранткой, заканчивающей диссертацию по средневековой немецкой литературе. Когда я пришел в себя и мы разговорились, аспирантка эта оказалась матерью двоих детей. Муж ее работал исследователем в том же университете на факультете генетики.

Да простят меня женщины, я не очень обращаю внимание на то, как они одеты, хотя и признаю объективную важность данного фактора. Мне же лично гораздо важнее, что женщина говорит и как смеется. Чтобы вы не забыли, повторю на всякий случай: не проговоритесь моей жене, но от остроумной женщины я могу потерять голову, даже если она будет в халате и кирзовых сапогах. На лекциях у себя в университете, в Дейвисе, я давно уже не замечаю, кто как одет; меня волнуют только студенческие глаза: ново? интересно? поняли?

Но тут, в чужом университете в Техасе, видимо, в связи с воспоминаниями о начале новой жизни в Америке, я вдруг заинтересовался, а как же одевается это поколение?

Перед главной башней университета, где в библиотеке шла наша конференция, огромная зеленая поляна, залитая солнцем. Весь день на поляне сотни студенток (и студентов тоже) готовятся к занятиям, завтракают, болтают, флиртуют, дремлют. Один разучивает упражнения на скрипке. Другой включил магнитофон и отрабатывает чечетку на куске фанеры, который он притащил с собой. В старой ванне, принесенной откуда-то, сидят без воды две девушки с плакатом, требующим наказать парня, который пытался в ванной совратить их подругу. Слава Богу, что хоть имя опущено. И – будто специально для меня – на поляне демонстрируют суперсовременные моды.

Вообще-то ничего особенного нет. Но я побрел наискосок по поляне, останавливаясь, чтобы поговорить со специалистками по модной части, и узнал много чрезвычайно важного. Живешь-живешь, а сути дела не понимаешь, пока тебя умные студенты не просветят.

И вот тут, при солнечном свете, я понял, что все-таки я недооцениваю женскую изобретательность. Видимо, тогда, когда я приехал в Техас и читал первую лекцию, в аудитории было темновато и на душе тоже. На поляне мода свидетельствовала, что она не только не ушла от двух ниточек поперек тела, но еще больше прогрессировала. Ниточки стали еще тоньше. Но все же приличия, оказывается, соблюдены: в трех важнейших местах сделаны какие-то узелочки, как-то это намотано, что-то вроде бантиков или пуговок имеется. Волновался я тогда за них, а еще больше за себя зря.

Да и не все студентки в двух ниточках. На некоторых три и даже больше. Оказывается, например, у них в университете модно сейчас на коленках у джинсов вырезать большие квадраты. Или еще так: на одной коленке дырка в виде треугольника, а на другой в виде квадрата. Таким образом, как я понимаю, знания, приобретенные на лекциях по геометрии, не пропадают даром. Хорошо также отрезать у джинсов одну штанину, это называется полушорты.

Для хождения на занятия в моде также купальники в гарнитуре с яркими колготками. Но поскольку идти надо не на пляж, а в вуз, то к поясу справа и слева прикрепляется по маскировочному носовому платку. Или сбоку завязывается шарф – вроде черного цыганского с цветами, так что он закрывает

одно бедро и для демонстрации остается, стало быть, тоже только одно. Носят студентки и платья, но они теперь чуть короче того места, которому раньше полагалось быть закрытым.

Разумеется, браслеты и цепочки носят там у них не на шее или руке, а на ноге возле щиколотки. Это касается теперь и мужского пола. Как исключение, можно на запястье намотать кусочек веревочки. Изящный этот гарнитур со стороны спины украшает тяжелый туристский рюкзак, набитый книгами и конспектами. На велосипедах впереди вращается ветром бумажный пропеллер на булавочке – это тоже модно. А сзади на номере вместо цифр имя: «ANNE». Так что традиционный незамысловатый вопрос «Девушка, как вас зовут?» отпадает за ненужностью. Можно сразу переходить к делу. Тем более, что надпись (это на бампере спортивного автомобиля, за рулем которого сидит белокурая бестия) написано: «Давай это делать на Луне».

На двери кафе-мороженого надпись: «Просьба не входить без майки и босиком». В класс на лекцию босиком, между прочим, можно, но нельзя – с собаками и кошками. Впрочем, если пришел или пришла – не выгонять же! Пускай животные тоже набираются ума-разума. Штанишки собаки в Техасе уже носят, хотя и не все.

А теперь признаюсь, что я, хотя и ничего не выдумал, но немного сгустил краски. Точнее, рассмотрел техасскую моду несколько односторонне. Каюсь: ирония в этой серьезной области абсолютно неуместна. Тем более брюзжание, напоминающее генерала милиции, прибывшего в Сочи из Министерства внутренних дел на борьбу с аморальными явлениями. Помню, он гулял по пляжу в брюках с красными лампасами и исподней майке, отлавливая граждан в шортах. Помню потому, что меня самого забрали тогда за шорты в милицию.

Экстравагантных модниц в Техасе полным полно, и не только среди студенток. Это если не всегда красиво, то интересно. Это повышает жизненный тонус мужчины, и женщина это знает. Идти по улице не скучно. Яркость и живость человеческого потока необыкновенная. А все ж большая часть женщин, если смотреть на уличный поток, носит сейчас просто разноцветные шорты и большие майки, почти закрывающие эти

шорты, будто их нет. Вижу пенсионерок в возрасте до девяноста лет, а может, и старше, в таком же наряде. Многие носят юбки-штаны. Другим надоела летняя одежда. Они надевают строгие «зимние» платья и, мучаясь от жары, сапоги. Ну, про монашеский стиль я уже говорил. Хаос моды? И да, и нет!

Как бы я, полный профан в этой области, охарактеризовал сегодняшнюю американскую женскую моду? Пожалуй, как категорический отказ от следования за профессиональными законодателями. Француженки нам не пример. Не копируя готовых моделей ни из Парижа, ни из Нью-Йорка, молодые американки фантазируют. Они хотят решать сами, что носить, без указаний сверху, хотя бы идеи и спускались из мастерских лучших дизайнеров одежды. Они сами знают, где пределы приличия, и знают лучше нас, мужчин.

Женщина не только облагораживает мужчину, но способна снять с него одежду, надеть на себя и при этом сделать эту одежду изящной. Что может более пародийно выглядеть, чем мужские кальсоны в качестве наружной одежды? Кажется, весь мужской мир, кроме сибиряков, вообще от них отказался. И вот иду по тexasскому университетскому городку, а навстречу женщины всех возрастов в голубых, белых, с цветами, в крапинку... словом, в бывших мужских кальсонах, как бы они их ни называли. Да как выглядят! Сам бы надел немедленно, будь я хоть чуть-чуть женщиной.

Между нами, было бы никому не нужной ретушью реальной жизни не отметить и другое: есть в тexasской уличной толпе и некрасиво одетые женщины – с точки зрения европейца. Дисгармония цветов и форм, некая неадекватность одних частей туалета другим; какие-то добровольные лагерницы или красотки, напоминающие прислугу, получившую выходной и к нему в придачу платье с плеча хозяйки. Реже попадаются и одетые дорого, но без всякой меры вкуса и с убогой фантазией.

Эмигрантки из разных стран, особенно студентки, в большинстве своем по части одежды стремятся стереться, выглядеть, «как настоящие американки», «как все», и лишь немногие дарят глазу свое родное, колоритное, национальное, то, что нигде в мире не ценят так, как в Америке. Это не означает, что бывшей петербуржке или москвичке рекомендуется

надеть сарафан, повесить на шею связку баранок и носить подмышкой балалайку. А все ж чего-то жаль.

Впрочем, никто в Техасе (кроме меня в этот раз) не оглядывается ни на хорошо, ни на плохо, ни на необычно или, скажем, фривольно одетую девушку. Ни разу не слышал, чтобы отпустили насчет этого шуточку или высказались, как это бывает в Москве, или в городе имени бывшего товарища Ленина, не говоря уж о длинноязыкой Одессе.

Интересно, что никакого падения нравов из-за моды, которая меня поначалу шокировала, не происходит. А если происходит, то не из-за моды. Ибо это всего-навсего летняя легкая одежда в теплой и в общем-то счастливой стране. Рассуждения о том, что «так» одетая женщина провоцирует мужчину на акцию против себя, которые можно прочесть в американских газетах, мне кажутся некоторым сгущением красок.

Характерная черта молодежной одежды сегодня – полная свобода вкуса, манеры, стиля. Одевай, что есть, что хочешь, что идет, что нравится, что выдумаешь, что купишь в сверхдорогом магазине на месячную зарплату или за 25 центов на субботней гаражной распродаже. Чем меньше ханжества и запретов, тем меньше желания шокировать общество из чувства протеста. Запрет, говорят психологи, создает духовный дефицит. Моды это также касается, как и свободы слова.

Однако у свободы моды (которую, кстати, забыли оговорить в конституции отцы нации), как и в добрые старые времена, имеется одно «если». Если, конечно, не брать в расчет служащих официальных учреждений: банков, авиа-, страховых компаний, солидных фирм и прочих респектабельных мест. Там, в этих офисах, – только строгие костюмы и только скромные цвета. Да еще подчас и просто униформа, что, по-моему, правильно и красиво.

Правда, иногда разинешь рот и забываешь закрыть. Летом летел с выступления в Стокгольме на «Америкен Эйрлайнс», а на пересадке в Нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди у них как раз открывалась новая линия в Лондон. Чтобы привлечь пассажиров, их бесплатно угощали клубникой, пирожными и всякой другой всячиной. Женский персонал авиакомпании одела (точнее, раздела) примерно в такой фасон, какой был у студентов, описанных мной в начале этих заметок.

Последним ударом по остаткам моих консервативных представлений была студентка, которая надела бюстгальтер снаружи, на кофточку, и так пришла на занятия.

– Вам это очень идет, – сказал я ей в перерыве, просто чтобы что-нибудь сказать.

– Это форма протеста, – строго объяснила она.

– Я так и подумал. А против чего?

– Против равенства с мужчинами. Я – антифеминистка и хочу подчеркнуть свои отличия.

– Вам это замечательно удалось, – признал я.

Попытаюсь сформулировать американскую тенденцию молодежной моды: нижнее становится верхним, а верхнее исчезает, вот и всё. Женщины давят на моду, и торговля одеждой лезет из кожи вон, чтобы угодить самым изощренным потребностям. Иду вдоль рядов только что поступивших в продажу новинок одежды в университетском магазине – и в глазах начинает рябить. Сегодня это дорого, но, так сказать, упрощенная молодежная мода все же не настолько дорога, чтобы посмотреть и ничего не купить. И студентки примеривают тут же, а я, проходя мимо, ищу глазами левый угол поближе к потолку.

Наверное, одеваться модно, ко всему прочему, просто интересно. Тут своего рода азартная игра: кто кого переиграет. В сущности, все мы, кто в большей, кто в меньшей степени, актеры большого жизненного театра и исполняем роли, которые сами выбрали. А может, роли выбрали нас. Так или иначе, перед выходом на сцену надо одеться в соответствии с ролью.

Куклы и живые манекены в костюмерном цехе, то есть простите, в магазине, демонстрируют такие фасоны, что упомянутые раньше юные леди в нескольких парах разноцветных шортов или в купальнике с цыганским платком на одном бедре рискуют оказаться жалкими провинциалками. Наверное, чем меньше расход материи, тем дешевле. Стало быть, эти наряды скоро можно будет увидеть в действии на лекциях по Достоевскому или Толстому. И цены будут снижены, потому что опять появятся новинки. Это немаловажно для молодых, многие из которых, между прочим, сами зарабатывают себе нелегким трудом на пропитание и учебу в высшей школе.

И все ж философские вопросы остаются. В чем высшее предназначение женской моды? В конце концов, это же не просто занавес, который закрывает или открывает зрителям одно из лучших творений всемирно известного скульптора по имени Господь Бог, произведение, именуемое женским телом. Мода есть нечто большее. И еще: куда яблочко катится?

Ответов на эти вопросы у меня нет. Раньше мудрецы утверждали, что примета простая: юбки укорачиваются к войне, поскольку число мужчин будет резко уменьшаться. Надеюсь, война нас минует, навоевались уже. Студентки-то точно к ней не готовятся. Но теоретически мода – говорим о ней – это когда хоть что-то, но все же на теле есть. Ведь голого короля все-таки обманули – вспомните сказку Андерсена «Новое платье короля». А может, именно к такой моде мы и приближаемся?

Сегодня в предпоследней моде двадцатого века две ниточки. Однако прогресс человечества неизбежен и неостановим. Он, как мы видим, ускоряется во всех областях, и мода – не исключение. Движение женской мысли неуловимо. Еще немного времени, еще чуть-чуть, и завтра останется на теле одна ниточка. А дальше? С какими изобретениями мы, мужики, столкнемся послезавтра? Судя по некоторым тенденциям женской моды, особенно молодежной, слово одежда к концу нашего века заменится другим словом, которого ни в русском, ни в других языках мира еще не было. Слово это – *раздежда*.

В принципе я за прогресс. Даже за его ускорение. Я простой смертный, и обожаю то, что под ниточками. Объясните мне только, уважаемые читательницы, куда косить глаза во время лекции?

1992.

ТЕХАССКИЕ ЗАСКОКИ

Более опытные друзья, раскиданные по земному шару и уже хлебнувшие свое, были в ужасе: там ведь духота, надо жить с аквалангом. Ну, с воздухолангом – какая разница? Это пустыня, там салат из кактусов едят – колючки вместо перца. Тем друзьям, которые поддержали меня, я по сей день благодарен.

Мы прилетели в столицу Техаса Остин в январе. Не было ни духоты, ни жары. Моросил обыкновенный московский дождичек. Шокировала не экзотика, а нечто другое. Это была родная

Очередь за колбасой

Друзья повезли нас обедать. Если не считать тюрьмы и этой огромной, часа на полтора, очереди за колбасой (а оказалось, что там давали также и мясо), ничего примечательного не было в этом маленьком техасском городишке по имени Локхард.

Расположен он в двух часах езды от знаменитого космического Хьюстона, и туристы, понятное дело, рулят туда. А кто задержится в Локхарде, может посетить краеведческий музей, который гордо называется «Посольство Техаса», и посидеть в тюрьме.

Тюрьма маленькая и старая, бежать из нее, говорят, проще пареной репы, по этим двум причинам ее и закрыли. Уголо-

вники сидят в современной тюрьме, а эта разваливается. Пока вы проверяете прочность решетки и лежите на железной койке в камере-одиночке, вокруг стрекочут фото- и видеокамеры, – это туристы спешат увековечить друг друга. Внутри пускает бесплатно старичок, который норовит рассказать вам об этой тюрьме больше, чем вам хочется знать. От щедрости души пожертвуйте один доллар на ремонт исторического объекта.

В тюрьме инстинктивно возникает чувство голода, и начинаете думать о колбасе, которой вас обещали угостить. Где же она? Да вот, в ближайшей забегаловке. Очередь туда тянется вдоль стены дома по улице на целый квартал. Что-то слышится родное, что-то видится такое, от чего мы немного отвыкли. Двигаемся медленно. Выглянуло солнышко и начинает припекать. Кто-то впереди нас занял очередь заранее, и к нему подвалила целая группа лиц с детьми в колясках и на руках – семьи две или три. Так и хочется крикнуть: «Вы тут не стояли!»

Один нахал просто прошел внутрь и уже сел за столик. А очередь не возмущается. Я не выдержал, спросил простоватого человека позади меня: «Ведь он пролез без очереди!» Сосед кивнул и сказал равнодушно: «Наверное, он спешит...»

Наконец попадаем внутрь. Помещение старое, потолок в копоти. На подоконниках древняя мясорубка, ржавые топоры, старый самогонный аппарат. Двигаемся по проходу между длинных столов. За ними едят и пьют счастливики, которые стояли до победы. Посуды нет, пьют, как говорится, из горла. Всем очень весело, а вы, глотая слюни, стоите. Вдруг колбаса кончится?

Очередь медленно поворачивает за угол, в темноту, вы оказываетесь на кухне. Жарища. Запах жареного мяса. В печи полыхают дрова (говорят, особое дерево, вроде среднеазиатского саксаула), на противнях большими колесами, одно к одному, уложена колбаса. Здоровенные ребята в белых фартуках и красных шапках с надписью «Краузе» колдуют в этом аду, перебрасываясь грубоватыми шутками и потешая очередь. Только теперь начинаешь соображать, что это – часть ритуала, представление, игра.

В другой печи жарятся огромные куски говядины и свиные. Можете заранее присмотреть для себя персональную часть

и туда воткнуть флажок, что это стало вашей собственностью. Как только кусок будет готов, вам от него отрежут.

И вот добрались мы до самих братьев Краузе, двух седоволосых хозяев колбасной. Один священнодействует у плиты, вынимая из огня колбасу (только он точно знает, когда вынимать), другой обслуживает посетителей (только он знает, как правильно резать).

Колбасная фирма немцев Краузе существует в Техасе почти столетие. Секрет уникальной колбасы и особым образом на особом дереве зажаренного мяса прадед Краузе, эмигрант вроде нас грешных, привез из южной Германии, где тайну хранили их предки. Тоже, небось, боялся ехать в Техас, а вот осела семья и созидает это живописное чудо, вызывающее обильное слюноотделение.

Не из всякого мяса изобразишь такую колбасу. Среди соседей-фермеров есть особо доверенные люди. Телят и поросят особых пород они кормят по особой диете и только зеленой травой, без химических добавок, а трава та вырастает без минеральных удобрений. Таковы условия колбасников Краузе. А на кухне всё: резка мяса, фарш и прочее – делается только вручную и потому так медленно. В соседнем ресторане жарят барбекью – ребра молодых барашков. Там электронной плитой управляет компьютер. А здесь – как в средние века. Машины меняют вкус колбасы, считает Краузе.

Выбрав, наконец, колбасу, мы усаживаемся на длинные лавки и принимаемся за еду, конечно же, руками: ножи и вилки тоже портят вкус, описать который я не берусь, пусть редакция для этого наймет Гоголя. Под нежнейшее мясо соусы на столах тоже особые. Говорят, нигде в Америке нет вкусней колбасы и остроумнее шуток насчет гурманства, чем у братьев Краузе в Техасе.

Стало быть, едут со всей округи, чтобы простоять в длинной очереди? А разве Краузе не могут открыть филиалы, как делают другие? В принципе да, могут, хоть по всей стране, и станут, наверное, миллионерами. Кстати, за стенкой забега-ловки колбасники Краузе держат свой магазин. Там берите домой безо всякой очереди холодную или горячую ту же колбасу. Ту же, да не ту! Вкус, понятное дело, угасает. Кроме того, без очереди вы лишаете себя удовольствия лицезреть колдов-

ство колбасных мастеров. Братья Краузе хотят, чтобы к ним всегда стояла очередь. Вот и решайте почти гамлетовский вопрос: стоять или не стоять?

«Лица тexasской национальности»

Среди европейских журналистов, которые бывали в Техасе, существует дежурный анекдот. Тот, кто провел там один день, пишет книгу, кто месяц – статью, а кто прожил год – не может написать ничего. Как раз год я и прожил. Чувствую: если нынче не расскажу о впечатлениях, то уже не расскажу никогда.

Техасцы очень гордятся своей независимостью. По сравнению с остальными американцами, она у них в квадрате. Хотя они стали частью США еще в первой половине прошлого столетия, по сей день есть граждане, которые в душе и поступках независимы от Соединенных Штатов и вывешивают над своим домом только тexasский флаг. По-английски они говорят на таком своем диалекте, что приезжему из другого штата ничего не понять, и первое время где-нибудь в глубинке с необразованными местными людьми я нуждался в переводчике с тexasского на английский.

Тexasский патриотизм иногда анекдотичен. Мы ехали на машине в Нью-Йорк, и парень в тexasском отеле спросил: «Вы куда, в Штаты?» Патриотизм имеет и пищевой облик: в магазине лежит сыр в виде карты Техаса как независимого государства. Некоторые тexasцы заявляют о необходимости отделиться от Америки и – в отличие от лиц в некоторых других странах, которых власти за это преследуют, – тexasцы могут делать это открыто.

Но чаще тexasская независимость – любимая тема юмористов, ибо, говоря всерьез, тexasцы – настоящие американцы. Принципы свободы для тexasцев дороже всего на свете. Каждый из них настолько свободен и отделен от государства, что, не будучи анархистом, трудно придумать такую степень свободы, которой у них нет. Мой приятель, весьма популярный тexasский детский писатель и антицивилизант, ходит в лохмотьях и живет один в лесной хижине-развалюхе, потому что жизнь в городе, говорит он, слишком для него дорога и неприятна.

При этом он купил себе одноместный самолет и появляется к ужину у друзей в разных частях света.

Средний техасец любознателен и в чем-то наивен. Прежде всего он у вас спросит:

– А что знают про Техас в России?

Не задумываясь, я отвечаю:

– Там знают о Техасе три факта. Во-первых, про пустыню и жару, во-вторых, про нефть и, в-третьих, про космос.

И мы оба смеемся.

Дело в том, что на практике в техасской пустыне не меньше радио- и телевизионных станций, чем в любом другом штате Америки. А сама пустыня – это разбросанные тут и там просторные зеленые поля и холмы, заросшие лесами, вроде лучших мест Кавказа или Крыма. Это реки, такие, как легендарная Гваделупе, и озера, естественные и созданные. Это дороги по два, а то и по пять рядов в каждую сторону. Аккуратные городки, как в Западной Европе, с особняками и бассейнами, ценой значительно дешевле, чем в других штатах.

Центры техасских городов не отличаются от больших городов Америки своими стеклянными, отражающими плывущие облака небоскребами и витринами, в которых чего только не рекламируют. Разве что тут меньше преступности. В центре Остина немало фонтанов, по вечерам переливающихся в лучах цветомузыки.

В Техасе чище, чем в других штатах, особенно сравнение не в пользу Калифорнии. А говорят, было время: банки от кока-колы валялись вдоль дорог. Один университетский профессор, который бросил преподавать и стал фермером, объяснил так:

– Погрозил нам Бог пальцем: «Не сорите в Техасе!» И мы перестали.

На деле за чистоту в штате взялись общества, школы, фирмы, местное правительство. Взялись все для себя самих – и сегодня везде чисто. О прошлом напоминают надписи на дорогах: «Не сорите в Техасе!» Арестанты из тюрем в красных куртках, собирающие мусор вдоль дорог, – добровольная работа, без охраны, но если сбежишь, добавляют срок.

По-настоящему жарко и душно здесь около полугода. Но везде: в магазинах и учреждениях, в цехах и в классах, в забе-

галовках и, конечно, в автомобилях – шуршит прохладный ветер в кондиционерах. Только – не открывайте окна. И в жару много искусственных катков, на которых катаются от мала до велика. Зато остальное время года – можно считать, осень. Осенью, когда тротуары не такие горячие, на улице появляются прохожие, гуляющие босиком. Но бывают ветры, и штормы, и ливни. Несколько лет назад в Остине поток унес с улицы женщину вместе с автомобилем. Сейчас русла сухих рек реконструированы на случай возможного наводнения.

Нефть перестала играть в Техасе ведущую роль. Спад этой промышленности привел к оттоку рабочей силы в другие штаты. Зато подешевели дома. Продавались небоскребы закрывшихся фирм. Местные налоги в Техасе отменены вообще с целью развития края. Сейчас опять поднимается электронная промышленность, и экономисты предсказывают новый подъем экономики штата.

Что касается космических исследований, то Техас – это действительно место, откуда Америка летала на Луну, куда каждый может приехать и, купив за пять долларов билет, увидеть запуск шаттла. Никакой мании секретности в городе Хьюстон, где все это создается, нет. Но техасцев это не очень занимает. У них есть дела поважней.

Поважней, например, родео. Тысячи автомобилей съезжаются к гигантскому стадиону, и общественники в широкополых шляпах и верхом на лошадях помогают вам запарковаться. Гигантские рефрижераторы с пивом и мороженым тают на глазах. Начинаются ковбойские соревнования, кто дольше усидит на необузданном мустанге или бычке и кто быстрее набросит лассо на бегущего теленка. Не хотите рискнуть и попробовать?

Здесь борьба, иногда с риском для жизни, азарт, страсть. Здесь в лучах цветных прожекторов местная Кармен поет да еще заставляет танцевать лошадей под одобрительный гул толпы. И смех трибун, когда соревнуются клоуны. И грохочущий джаз, плывущий мимо вас на вращающейся платформе вроде летающей тарелки. А вокруг стадиона ярмарка, на которой можно купить все – от самолета до уникального быка-производителя. И космические карусели за полтинник захватывают дух сильнее, чем, возможно, реальный полет в Космос.

Техасцы могут показаться наивными, но они любят учиться и делают это в любом возрасте. Техас подвержен гигантомании, и это земля гигантских университетов. Стать настоящим техасцем нельзя – для этого надо здесь родиться. Или хотя бы прожить много лет. Но можно чувствовать себя здесь как дома – так ощущают себя в Техасе японцы, чилийцы, китайцы, французы, филиппинцы, эквадорцы, шведы, а также и русские.

Другая черта техасцев – легкость, с которой они готовы прийти на помощь. Это везде: на тротуаре, в магазине, в аэропорту. На улице человек спрашивает пожилую женщину:

– У вас такое печальное лицо. Могу я чем-нибудь помочь?

Через несколько дней после моего приезда позвонил незнакомый человек и сказал:

– Я знаю, что вы только что эмигрировали. Как вы добываетесь на работу?

– На студенческом автобусе, – ответил я. – А что?

– Я держу лишнюю машину на случай гостей, – сказал незнакомец. – Возьмите, пока не купите, и пользуйтесь.

На его старенькой, дребезжащей «Хонде» я ездил пару недель, пока не приобрел свою.

Безработные бизнесмены

Деловые люди в Техасе часто моложе, чем в других штатах и странах. Тип хозяина, описанный Диккенсом и Горьким, не увидишь теперь даже в сатирическом кино. Современный техасский бизнесмен – чаще всего окончил университет, иногда – защитил диссертацию, владеет не одним иностранным языком, поскольку ему приходится мотаться по всему миру. Он занимается спортом, потому что от его здоровья зависит процветание фирмы. Работает он не от звонка до звонка, а пашет, сколько нужно. Но если дела не пошли, если стоимость продукции чуть выше, чем у других или качество чуть ниже (другие-то тоже не спят), тогда – служащие оказываются на улице. И сам бизнесмен становится безработным. В Техасе таких примеров хоть отбавляй.

Предприимчивый повар несколько лет назад открыл свой ресторан с европейской кухней и преуспевал. Он купил еще не-

сколько ресторанов. А потом, в кризис, посетителей стало мало. А может, европейская кухня перестала быть желанной. Я с этим поваром познакомился, когда все рестораны ему пришлось уже свернуть. О разорении этот техасец говорил не то чтобы весело, но без трагедии. Теперь он снова работает поваром и мечтает открыть ресторан, на этот раз – с мексиканской кухней.

– Такой уж я повар – со страстью делать бизнес, – втолковывал мне он. – Я раньше не знал географии: Европа далеко, а Мексика близко.

Вот этот сдержанный, не показной оптимизм мне кажется одной из примет техасской генетики. Причем удача рассматривается как результат предприимчивости и упорства, а под трудом понимается работа от зари до зари, если надо, то восемьдесят часов в неделю без дней отдыха.

Соседом у меня был рядовой программист, симпатичный и открытый Джон Эндрюс. Когда электронная фирма, где он служил, закачалась, его уволили. Он получил пособие по безработице (фирма обязана была платить ему в течение полугода около тысячи долларов в месяц). Ездил наш безработный на своем стареньком спортивном автомобиле в поисках работы, но ничего не подворачивалось. И переезжать он не хотел: у него была тут постоянная подружка.

От скуки Джон играл со своим домашним компьютером в разные игры. Раз он показал мне статью экономического обозревателя в газете «Остин америкен стейтсмен». Тот писал: многие в Техасе, штате открытых возможностей, мечтают о своем бизнесе, но у них никогда нет времени.

– Слушай, – сказал Джон, – это как раз то, что у меня сейчас есть – время! Меня уволили с работы, выходит, согласно этому парню, мне повезло.

Сосед мой решил рискнуть. Сначала он провел пару месяцев дома за компьютером, придумывая новую захватывающую детективную игру. Деталей не помню, но, естественно, там полицейские гонятся за мафиози, и борьба идет с переменным успехом. Потом Джон поехал в Бюро деловой информации штата Техас, задача которого – поощрять частную инициативу и бесплатно консультировать начинающих капиталистов. Полицейская игра понравилась владельцу компьютерного магазина и стала продаваться. На вырученные деньги Джон

купил несколько компьютеров и снял помещение для собственной фирмы, которую назвал очень просто: «Джон играет». Постепенно он нанял трех компьютерщиков и дело пошло.

Разумеется, с доходами и налоги росли. Часть денег уходила на рекламу. Владелец фирмы «Джон играет» обязан своих служащих хоть как-то страховать, оплачивать им отпуска и будущие пенсии. А в случае увольнения – платить пособия по безработице. Фирма «Джон играет» шла в гору, и вдруг Джон позвонил и сказал:

– Джон больше не играет. Не устоял. Кто-то оказался умнее меня. Но ты не расстраивайся...

– Я?! А ты сам?

– Я даже не хотел тебе звонить, боялся, ты будешь переживать. А у меня все отлично! Только придется снова искать работу программиста.

Трезвые мысли на нетрезвую тему

Во всех штатах ради здоровья населения с успехом ведется борьба с употреблением спиртных напитков, которых, однако же, почему-то производится все больше. В Техасе, надо прямо сказать, борьба эта ведется недостаточно, хотя разнообразным программам и обществам трезвости нет числа. Местное правительство не призывает население меньше пить. Ни в одной из речей нынешний губернатор пока не остановился на вопросах пьянства, видимо, в свое время не изучал соответствующих постановлений Горбачева. На экране телевизора его то и дело видишь на официальных приемах с бокалом в руке. Что нынче пьют техасцы?

В Техасском университете, в Остине, посреди дня, проходило очередное заседание Студенческого винного клуба. О заседании этом загодя сообщили объявления в газете «Daily Texan». Я, конечно, пошел.

Вход свободный, но народу собиралось немного: узкий кружок любителей истории вина и, конечно, те, кто изучают рецептуру вин разных стран. Теоретическая часть проходила в обстановке стопроцентной трезвости. Однако внеся скромную плату – два-три доллара – можно перейти от теории к практике, что я немедленно осуществил.

В клубе не только студенты, но и преподаватели: химики, агрономы, инженеры, в общем, специалисты в этой третьей (после проституции и журналистики) древнейшей профессии. Приходят и те, у которых вино – хобби, как изготовление, так и дегустация. Такое же хобби, как у нас на родине – самогонование.

Заглядывают сюда и представители винодельческих фирм. Им нужны специалисты, не только знающие дело, но и любящие его, а тут есть шанс с ними познакомиться заранее. Фирмачи с огорчением говорят, что Винный клуб теперь пользуется среди студентов несравнимо меньшей популярностью, чем, скажем, Клуб жизни под водой, в котором студенты строят подводный дом, чтобы летние каникулы прожить в нем на дне океана.

Конечно, студенческие общезития гудят, когда празднуется начало или конец учебного года или день рождения. Пиво покупают в бочонках с насосом – это дешевле. Шум дикий, и музыка орет до четырех утра. Или – до тех пор, пока соседи не вызовут полицию. Полиция приезжает, проверяет возраст пьющих: тех, кто не достиг барьера, переписывают и сообщают родителям. Остальных просят вести себя так, чтобы снаружи было тихо. Один раз я и сам позвонил, не будучи в силах заснуть. В полиции ответили, что до меня уже было 136 звонков «на успокоение», и очередь дойдет не скоро. «Но мы постараемся!»

И все ж американская пьянка выглядит жалко и, я сказал бы, трезво по сравнению с отечественной. По Шекспиру это «Much ado about nothing».

Что пьют техасцы более крепкое, чем пиво? Ответить нелегко. В центре столицы Техаса неделю висела огромная реклама: светящаяся бутылка «Столичной» и призыв ее купить. Но стоит бутылка дороже шведского «Абсолюта», известного своим качеством. Потом цену на русскую водку, конечно, снизили, но все равно она не стала продаваться лучше. «Столи» сменила реклама западногерманской водки под названием «Горбачев» (эта водка дешевле), а ее – мексиканская водка (совсем дешевая), с модным плавающим в ней особым червяком. Но водка потому и рекламируется, что техасцы ее мало пьют, ну, в крайнем случае, уж лучше «Bloody Mary». А на первом месте, конечно, «Маргарита» – ледяная, с солью.

Большинство пьет в забегаловках и ресторанах. Дороже, зато в обществе. А тот, кто хочет купить выпивку домой, идет

не в супермаркет, где покупают вино дилетанты вроде меня, а в винный магазин.

В деревенском ликерном магазине, как в музее, я час глазел на полки: вина белые, розовые, красные и зеленые, портвейны, аперитивы, настойки, наливки, джины, коньяки, ликеры, разных лет, фирм и, конечно, водки со всего мира. Хозяин магазина повел меня в подвал и на мой вопрос, сколько у него сортов, нажал кнопку компьютера и, улыбаясь, ответил:

– Около шести тысяч названий.

– Из скольких стран?

– Из семидесяти.

Магазин обычно пуст.

– Заходят люди чаще всего среднего и пожилого возраста, – говорит хозяин. – Раньше подростки просили таксистов купить им пивка. Но теперь это прекратилось.

Он спросил меня об этой проблеме в России, и, как вы понимаете, мне было что рассказать.

– Надо бороться не с употреблением спиртного, – сказал он, – а с злоупотреблением, вот в чем дело.

Я перевел ему строчки очень советского поэта Расула Гамзатова, большого любителя этого процесса:

Пить можно всем.
Необходимо только,
Знать, где и с кем,
За что, когда и сколько.

Ограничения на алкоголь весьма просты. Стандарты на крепость пива в Техасе (да и по всей Америке) занижены. Можно купить импортное, но оно стоит дороже. В некоторых супермаркетах не продают самые крепкие напитки. Чтобы купить алкоголь, вы должны, если спросят, предъявить водительские права, где указан день рождения. Открытую бутылку вина запрещено держать в автомобиле, а в багажнике можно. Нельзя пить алкогольное в общественных местах, для этого не предназначенных. Значит, в ресторане пейте сколько угодно, но не на скамейке в сквере.

Есть в Техасе не только клубы любителей вина, но и общества трезвости – у них свои программы, как без насилия и

без запретов убедить людей не пить. Есть анонимные общества трезвости – для стеснительных алкоголиков или тех, кто боится, если на работе узнают, что он ходит в общество трезвости. В таком союзе борцов с опохмелкой у всех клички.

В Техасе редко увидишь человека, лежащего под забором. Кто-то заметил, что выпивший русский становится шумнее и агрессивнее, а выпивший техасец – добрее и тише. Может, это действительно так, если вспомнить, что в войну советским солдатам давали перед атакой стакан водки. Трудно представить себе подобное в американской армии. Есть определенная культура в этой области. Мораль не снаружи, когда взрослым людям диктуют, пить или не пить, а внутри. Большинство знает великое слово «мера». Кроме того, молодое поколение больше печется о своем здоровье.

Недавно пожилая американка-профессор, преподающая русский язык в одном Техасском колледже, принесла в класс бутылку «Кубанской». Тем студентам, которые хорошо приготовили урок, она наливала глоток водки – попробовать, что пьют настоящие русские богатыри. Об этом своем педагогическом эксперименте профессор рассказала на заседании кафедры.

Коллеги отнеслись к эксперименту с интересом. Одна преподавательница сказала, что если новый метод даст повышение успеваемости, она попробует его у себя. Вряд ли, однако, это станет популярным: как уже было сказано, крепкие напитки здесь не очень уважают. Видел техасского студента, который всерьез напился и попал в лапы правосудия, но это произошло в Москве – пил он с новыми приятелями без достаточной тренировки.

Значительный процент молодых техасцев обоих полов предпочитает из всех видов алкоголя – воду со льдом. Впрочем, один мой знакомый, приходя к нам в гости, каждый раз приносил две коробки пива – двадцать четыре банки – и сам их выхлестывал. Недавно он умер. Так выпьем, господа-товарищи, за борьбу с алкоголизмом в Техасе!

Кошки и собаки — тоже техасцы

Техасцы активно участвуют в демонстрациях и сочиняют гневные петиции, разоблачая местные власти, которые

пытаются ущемить «гражданские права» домашних животных. Проблема становится политической, а политика – дело серьезное.

В полицию позвонила пожилая женщина и просила срочно приехать. Через три минуты две полицейские машины, вызванные по рации, подкатили с сиренами к ее дому. Но ни пистолеты, ни автоматические винтовки с инфракрасными прицелами, имевшиеся в машинах, полицейским не понадобились, хотя операция была опасной. Женщина попросила снять ее кошку, которая залезла на дерево и отказывалась слезть. Забираться на дерево полицейским, увешанным рациями, наручниками и прочими брякающими предметами, не хотелось. Но – пришлось, ибо близились перевыборы шерифа, и он бы им потерю лишнего бюллетеня не простил.

Преступник (т.е. кошка) оказала сопротивление младшему представителю власти, который полез на дуб. Больше того, она нанесла ему телесное повреждение – поцарапала нос и прыгнула на соседнее дерево. Тогда полез старший, и кошка нехотя ему отдалась. Тут и пригодилась большая техасская шляпа: в нее полицейский посадил кошку. Вручив ее хозяйке, полицейские выполнили еще две служебные формальности. Во-первых, они спросили, не нужно ли женщине оказать какую-либо другую помощь, и, во-вторых, поблагодарили за звонок в полицию.

Происшествие, однако, обеспокоило пожилого соседа, который наблюдал эту историю.

– А хотела ли кошка слезть с дуба? – спросил он полицейских.

Полицейские открыли рты, не зная, что сказать.

– Если нет, – продолжал сосед, – то по техасским правилам это насилие, неуважение естественных (а значит, неотъемлемых) прав живого существа.

И сосед сказал, что он поставит этот вопрос на очередном заседании местного Общества друзей животных, членом которого он является.

Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышат братья наши меньшие, как сказали бы Лебедев-Кумач с Есениным. Собаки, кошки, опоссумы носят ошейники с именем, телефоном хозяев, сведениями о прививках, а подчас и с микро-

рацией на случай пропажи. Поросята танцуют на задних лапках под музыку Брубeka.

Объехав практически всю Америку, нигде я не видел такого обилия учреждений для животных, как в Техасе. Одежка и обувь на все четыре ноги на случай похолодания. Домики с бассейнами для черепах. Для тренировки котят – бегающие на батарейках мыши. В парикмахерских пуделям делают модную стрижку (она много дороже, чем женская) и наводят маникюр на все восемь конечностей (по четыре у собаки и хозяйки). Недавно в газете прочитал объявление: «Сердце разбито: любимый Чарли меня покинул. Большое вознаграждение тому, кто его приведет. Уши длинные, хвост крючком».

– А спросили ли у Чарли? – заметила по поводу этого объявления моя приятельница. – Может, он вовсе и не хочет возвращаться? Может, он разошелся со своей хозяйкой навсегда и уже нашел другую?

Слышал историю про бедного студента, который четыре года ел собачью пищу и, благодаря ей, закончил университет с отличием. Дарю идею предприимчивому читателю, который захочет продать эту рекламу фирме, производящей еду для животных.

Раньше техасцы покупали собаке на полгода пакет и насыпали в миску раз в день. Теперь ставят автоматический дозатор, и он следит за собачьей диетой. Но хочет ли собака есть фирменные шарики? Вдруг она желает человеческой еды? А может, попугай не хочет приготовленной для него витаминизированной гречки, а хочет леденцов? Продаются нейлоновые косточки, чтобы точить отрастающие зубы и когти. А может, щенок хочет рвать мебель и грызть ботинки? Песок для кошек тоже продается, причем такой, который привлекает кошку и уничтожает запах. А как же насчет свободы гадить, где хочется? Никто не может заставить техасца сбрить бороду, даже если она уже закрывает детородный орган. А собаку приводят на поводке, стригут и моют специальными шампунями.

Сейчас модно ездить на маленьких грузовичках, посадив сзади собак, лучше трех. Но хозяин сидит за рулем в прохладной кабине с кондиционером и слушает музыку, а собаки в кузове на солнце. За руль им сесть не дают. О каком равнопра-

вии в Техасе можно говорить! Для животных различных регламентаций в Техасе все больше.

Владельцы многоквартирных комплексов не всегда разрешают держать крупных собак или животных вообще. Американцы любят путешествовать в самолетах с собаками и кошками. Но разрешается их перевозить только в клетке. Есть рестораны, куда с собакой просят не входить. В городах все больше мест, где собаку выгуливать нельзя. Но вот парадокс: чем лучше жизнь животных, тем они ленивее.

Есть собачьи спецшколы, и действительно серьезные. Там обучают животных ходить со слепыми на зеленый светофор, вынюхивать на почте в письмах наркотики, бегать в противогазной маске по лестнице, чтобы выносить из горящего дома детей. Но разговор наш – об обычных домашних зверях, которых хозяева держат из любви и для удовольствия. Они (животные, а не хозяева) от комфорта и любви теряют свои профессиональные навыки. Кошки не ловят мышей. Собаки чужому в доме норовят лизнуть щеку. И хотя в Техасе почтовое ведомство все еще снабжает своих служащих в сельской местности устройством, отпугивающим собак, кусают почтальонов все реже.

Не скучно ли жить на свете, если даже укусить никого не хочется?

Париж в Техасе

В большинстве стран, особенно в Европе, твердый порядок: продмаги открыты с девяти до семи и ни минутой больше, промтоварные – с десяти до пяти или семи. А в сельской местности – до трех. В воскресенье все мертво. Покупатели и продавцы отдыхают. Централизован распорядок в кафе и ресторанах. В Техасе, как и во всей Америке, неразбериха. Что и когда открыто?

Небольшой городок Париж в Техасе. Понедельник. Около одиннадцати вечера. Маленькое кафе. Внутри пусто. Голодные, осторожно просовываем голову в дверь: «У вас открыто?» Белобрысый парнишка, весь в веснушках, начинает нас кормить ужином, попутно рассказывая о себе и выясняя, откуда гости. Поскольку мы собираемся переночевать в ближайшем мотеле, уходя, интересуемся, когда кафе откроется завтра утром.

- Никогда не откроется!
- То есть?
- Как открыться, если не закрывается?

Кроме нас, случайных путников, никто не заходил, городок Париж спит, а кафе действует круглые сутки: вдруг кто-нибудь проголодается? Владелец кафе и его жена работают днем, нанятый студент – ночью. Он повар, бармен, официант, судомойка и – вышибала тоже, если понадобится. Выйдя из кафе, мы обнаружили, что зря беспокоились насчет завтрака. Рядом светился «Макдональдс», а по соседству была открытая веранда в небольшом садике. Над деревом плавал воздушный шар с надписью: «Обслуживаем с утра до вечера». Не ясно, что имели в виду хозяева, но около полуночи веранда работала, в ней веселилась компания. Рано утром веранда тоже была открыта.

Разумеется, у входа в большие магазины выведено: «Работаем 24 часа в сутки». Если вам в четыре утра срочно понадобится не только молоко, но и велосипед, ради Бога!

С продавцом маленького магазинчика африканских масок мы разговорились насчет этого.

– В принципе техасец не хочет думать, когда в магазин можно зайти, а когда нельзя, и магазин должен быть открыт всегда, что бы в мире ни случилось. Но мы с женой держим торговлю сами. Есть мы можем ходить по очереди, но чтобы у нас были дети, нам надо вместе спать, вот и всё.

Никто не может постановить, когда открывать или закрывать магазин, – ни правительство Техаса, ни министерство торговли, ни власти графства. Перед праздниками или в туристский сезон владелец магазина закрывает дверь ближе к ночи. Сапожник работает только днем. Впрочем, ночью, если приспичило, ботинки можно сдать в ремонт в магазине «Эйчиби». Магазин для новобрачных вечером закрыт – жениться придется не раньше, чем утром. Большие универмаги, магазины одежды, хозяйственные, мебели и тому подобные работают до девяти или десяти вечера – так хотят владельцы торговых фирм.

Никаких перерывов на обед в магазинах, как это заведено в России, быть не может. Служащие обедают по очереди, по гибкому графику. Какой же дурак упустит покупателя, чтобы он пошел к соседу? Впрочем, на дверях маленького парфю-

мерного магазинчика видел надпись: «Извините, откроемся через неделю: уехали отдохнуть на Гавайские острова».

Социолог из Техасского университета сразу отверг мою идею хаоса в этом деле.

– Спрос тщательно изучается, – сказал он. – Круглосуточно работает та часть торговли, которая нужна ночью покупателю и может принести доход. Если можно продать больше, предприниматели, будьте уверены, своего не упустят. Реклама круглосуточности поднимает престиж. К тому же всегда открытые магазины или забегаловки, так сказать, разреживают дневное посещение, не бывает переполнения в час пик.

Само собой, круглосуточно работают бензоколонки и автоматические мойки машин. А вот ночью отремонтировать машину нельзя. Хозяин мастерской просто даст вам другую, а вашу оставит – поменяете, когда он вам позвонит. В Техасском провинциальном Париже ночью вы можете подойти к ярко светящемуся роботу, и он продаст или выдаст напрокат видеофильм. В этом Париже (в отличие от настоящего, где многое закрывается рано) на любой почте можете сами отправить посреди ночи письмо или посылку, купив в автомате марки или купоны для экспресс-почты, которая доставляется в любую точку земного шара за два дня, а внутри страны – за ночь. Там же, на почте, если вы написали ночью гениальные стихи или недовольны политикой правительства, можете размножить сочинения в любом количестве копий и начать распространять свою лирику или пропаганду по факсу, не дожидаясь утра.

Крылов и супермаркет

То и дело мы слышим, что качество сервиса в Америке падает. Но поезжайте в Техас, там он все еще высок.

– Я купила новый сыр, – сказала мать. – Попробуйте.

– Вкусный! – отдавая, решили дети.

– А по-моему, немного горчит, – решил отец. – Зачем они добавили туда красного перца? Я больше люблю черный.

– Хорошо, – послушно согласилась жена. – Поеду за продуктами, верну его.

Распакованную пачку сыра, который к тому же был на треть съеден, женщина принесла в магазин.

- У вас есть чек нашего магазина? – спросили ее.
- Нет, – ответила она, – я его выбросила.
- Ничего, не беспокойтесь, – ответили ей. – А что с сыром?
- Мужу показалось, что он горчит.
- Спасибо, что зашли.

И служащий магазина выплатил женщине двойную стоимость купленной пачки сыра.

Я бы не поверил сей истории, если бы эта женщина не была женой моего собственного приятеля. Такая традиция существовала в Техасе, но, кажется, теперь сошла на нет. Что ж получается: покупаю, съедаю часть, возвращаю объедки и еще зарабатываю деньги?

Ответ, однако, не прост, а выгода – штука хитрая. Раз в неделю эта женщина покупает в этом супермаркете полную коляску продуктов на семью – минимум долларов на семьдесят. Она вернула сыр, который стоит четыре доллара, и получила восемь. Двойная цена – компенсация за доставленное неудовольствие. И – будем откровенны – за то, чтобы хозяйка пришла через неделю снова именно сюда потратить еще семьдесят долларов. Четыре лишних доллара для фирмы – мелочь. Но – у нас абсолютно все вкусно, гарантируем не только высокое качество, но буквально стараемся ублажить вас.

И какой учет психологии! Разве техасец, человек широкой души, станет каждый день отъедать куски и относить продукты назад, чтобы получить несколько лишних долларов? Однако, если бы Крылов побывал в Техасе, то у басни «Ворона и лисица» было бы продолжение: выманив у вороны кусочек сыру, хитрая лисица отправляется в супермаркет обменять его на целого цыпленка.

Нашему брату эмигранту нужно время, чтобы понять одну особенность американского универмага. Он состоит из двух неравных частей: одна, гигантская, по которой бродишь часами, выбирая вещь, другая – прилавок у входа, куда эту вещь можно потом вернуть. В некоторых магазинах срок возврата практически не ограничен. Вас не спрашивают, почему сдаете обратно. В крайнем случае уточняют: не работает или не нравится? Но можете не говорить. Желательно иметь чек, но не обязательно. Записывают фамилию и адрес. Можете назвать любые – если любите врать,

но зачем? Сданную вещь никто при вас не смотрит. Деньги возвращаются немедленно.

Ситуация комическая: сперва «Спасибо за покупку», потом «Спасибо за то, что принесли назад». Снова возникает вопрос об убытках торговли, о злоупотреблениях... Конечно, злоупотребляют! Один знакомый купил перед поездкой в Европу видеокамеру, а вернувшись из отпуска, вернул ее в магазин. В прокате ему пришлось бы заплатить за прокат, тут – на шармачка. А очереди в магазинах на сдачу подарков после праздников! Но – торговая фирма терпит, ибо, простите за банальность, покупатель всегда прав. Торговля идет на издержки, чтобы нас заманивать.

Система продавец-покупатель в Техасе больше, чем где-либо в других местах все еще действует так, что быть строгим с покупателем, а тем более, нечестным не только рискованно, но – невыгодно. Лучше взять меньше за качественную вещь, чтобы вы пришли еще раз. Лучше пригнать оставленную вами на ремонт машину к вашему дому, чтобы это вам понравилось. Лучше позвонить через неделю или месяц и спросить, нравится ли вам то, что вы купили, будь то ковер или сковорода. И это не только стиль, но суровая необходимость. Даже борьба за существование. Разумеется, это тонизирует и промышленность. Она старается поставлять в магазины вещи такого качества и такой привлекательности, чтобы покупателю, ее купившему, было жаль с ними расстаться.

Прореха в сервисе

В противоречие с вышесказанным о хорошо отлаженном и изощренном техасском сервисе, заявляю: и на старуху бывает проруха. Будучи проездом в глухом городке Кервиль, я зашел в фотостудию. Заказ мой был выполнен не в срок. Короче говоря, вот что там произошло.

Российские фотолюбители сами проявляют и печатают карточки. Все же, хотя и хлопотно, получается лучше, чем в фотографии. Тут это проще: в магазине кладете отснятую пленку в пакет, на нем пишете свое имя, а через день берете пакет. Но если желаете особое качество – тогда нужно, чтобы для вас его обеспечивал не автомат, а профессионал.

Дабы привлечь побольше клиентов, тexasские владельцы фотолабораторий изобретают разные хитрости. У одного можно купить годовой членский билет за десять долларов, и за это пленки вам, «члену клуба», будут печатать дешевле. Другой хозяин предлагает бесплатно обучить владению фотоаппаратом не только вас, но и членов вашей семьи, включая детей и старую бабушку. Третий предлагает посылать ему пленки по почте, и тогда он бесплатно высылает вам чистую пленку, чтобы вы опять послали отснятую только ему. Четвертый... Вот как раз четвертый-то чуть было не заставил меня усомниться в качестве тexasского сервиса.

В даунтауне Кервиля я остановился заправить машину и пообедать. В глаза бросилась реклама: «Фотографии – за 50 минут». Открыл я стеклянную дверь и симпатичному молодому человеку с усами, похожими на сталинские, который, как выяснилось, недавно купил эту лабораторию, отдал свою пленку.

– Тридцать шесть кадров, хорошие скадрировать и увеличить? – уточнил хозяин. – Доверяете моему вкусу? Через пятьдесят минут заходите.

И я отправился на ленч в соседнюю забегаловку. После еды осмотрел местные достопримечательности, вернулся. Прошел час. Дверь оставалась открытой, но хозяина не было. От нечего делать я листал фотожурналы со всего мира (они здесь продавались). Сидел я и ругал себя за наивность, но и тexasцу доставалось, ибо, согласитесь, неприятно, когда вас обманывают.

Минут через сорок молодой человек вбежал с улицы весь мокрый от пота и с виноватым видом открыл ящик:

– Вот ваши фотографии, сэр. Я их сделал сразу, как вы ушли. Извините за опоздание. Клянусь, у меня это случилось впервые.

Знаем мы эти клятвы! Все растяпы на свете всегда клянутся, что это с ними случилось первый раз. Я бегло просмотрел фотографии, качество было хорошее. Все еще злясь, я вытащил бумажник.

– Нет, нет, сэр, что вы! Если больше пятидесяти минут – то бесплатно. Такой порядок, сэр. Спасибо, что зашли и приходите еще...

Я вышел на улицу и оглянулся на вывеску. Под крупным текстом: «Фотографии – за 50 минут» была строчка помельче:

«Если дольше – бесплатно». Из чистого любопытства я снова отворил дверь.

– Послушайте, – сказал я молодому человеку со сталинскими усами. – Я тут проезжий. А ведь вы же прогорите, если будете опаздывать.

– Я никогда не опаздываю. Но тут пришлось сгонять в соседний город, двадцать минут езды.

– В соседний город, когда клиент ждет? – удивился я.

– Видите ли, жена позвонила мне, и я... То есть, я хочу сказать, что она позвонила мне из роддома и сообщила, что родила сына. То есть я хочу сказать, что у меня только что родился сын. А я ведь фанатик фотографии. И потом, я только что стал настоящим отцом. Ну, я и помчался сделать первый в жизни снимок моего сына. У него еще нет имени, а фото уже есть. Еще раз извините, сэр. Мне очень неловко, что заставил вас ждать.

* * *

Несколько лет уже я не живу в Техасе, работа позвала в Калифорнию. Но все равно Техас – моя вторая родина, место, где я опять родился и начал постигать незнакомый мир, а Калифорния – третья. И когда меня теперь спрашивают незнакомые американцы, как они всех нас всегда спрашивают, «Откуда вы?» – гордо отвечаю: «Я из Техаса». «Что-то у вас акцент не техасский», – возражают мне. Что правда, то правда, акцент остается русским, а часть души отехасилась. Бываю там часто по делам и без, и он всегда остается со мной, где бы я ни оказался, даже в России: есть в Техасе что-то магнетическое для души.

1988-92.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Наконец-то родина моя опять вырвалась на первое место среди других стран. Есть еще порох в пороховницах. Постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства, как классик предвидел. С ракетами отстали, с балетом плохо, бензин по талонам. По хлебу и картошке тоже не в авангарде прогрессивного человечества. Но – жив дух соцсоревнования. Тряхнули стариной, обошли на повороте весь мир, громогласно объявив о чемпионе. Нет, не олимпийских игр. И не по части стахановской добычи угля или сбора хлопка двумя руками без продыха. То было раньше, в сурово и справедливо осужденную эпоху, и та эпоха ушла.

В чем же впереди бывшая одна шестая теперь? Может, в освобожденных от оков цензуры поэзии и кино? Или в самом твердом в мире рубле? Или полный стриптиз там нынче полнее, чем в Париже или Сан-Франциско? Смотрю телевизор каждый день и вижу: отечество мое потрясает цивилизованный мир сообщением о российском чемпионе XX века по количеству убийств. Вполне нормальный маньяк Андрей Чикатило в лавровом венке с лентами. Эдакий Антигерой бывшего Советского Союза. Впрочем, почему же «анти»?

Ранее товарищу, а ныне гражданину Чикатило обеспечено внимание прессы, телевидение сосредоточено на нем вот уже целый год. Слава этого заплочных дел мастера перекинулась в Америку. Отсюда едут репортеры с видеокамерами и, похваливая через переводчиков гласность, дозволившую такую неви-

данную свободу средств информации, снимают преступника, – на всякий случай сквозь решетку.

Местные ростовские пинкертоны, гуляя по местности в ярких импортных куртках и указывая на раскопанные следы преступления, охотно дают интервью о том, как они выследили преступника, как брали. И американские комментаторы вынуждены признать, что уголовники-янки потерпели поражение: далеко им до пятидесяти двух трупов на уголовную душу. Началась борьба за права: кто будет писать о нем книги. Напишут, конечно. Впереди девять месяцев апелляции, – не только книгу можно родить. Тем более, что материал-то и собирать не надо, он уже рассортирован и подшит, плати валютой да списывай.

Конечно, я горжусь, что Россия опять впереди всех. Но если мои чувства копнуть поглубже, что-то скребется в душе, мешает осознать полное торжество победы правосудия. Сомнения точат душу, последние остатки волос встают дыбом.

Прежде всего, сомневаюсь, что в книгу рекордов Гиннеса Чикатило попадет. А если попадет, значит, опять совковая пропаганда введет мир в заблуждение. На самом деле до него бывали люди похлеще. Помнится, в Москве ходил человек с напильником, и ему открывали двери, когда он произносил магическое слово «Мосгаз». Поговаривали, убил 150 женщин. Точно не известно: государственная была тайна. А стоит ли вспоминать историю, в которой массовые убийства были регулярной нормой? Вот ведь какая страшная наша ментальность: 74 миллиона, как предполагают сейчас, истребила партия, пришедшая к власти. И это называется холодным словом «статистика», о правильности которой спорят. А вот убил один пятьдесят человек – и весь мир в ужасе. «Как это может быть?» – восклицает американский телекомментатор.

С абстрактной точки зрения Чикатило можно рассматривать и как жертву системы. Десятилетиями система с упоением демонстрировала правильность убийств, называя их пролетарской борьбой, чистками, наукой ненависти и т.д., не говоря уж о войнах с врагами, в которых «сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Учили мы наизусть эти строки, кстати, во вполне мирное время, и человек, всерьез воспринявший программу такого воспитания, был готов делать, что прикажет родина.

В начале восьмидесятых в Сибири судьба свела меня с таким убийцей. Персональный пенсионер Спиридон Карташов тихим хриплым голосом рассказывал, будучи уверенным, что никто такого не напечатает: «У меня была ненависть, но убивать я сперва не умел, учился. В гражданскую войну я служил в ЧОНе (части особого назначения. — Ю.Д.) Мы ловили дезертиров из Красной армии и расстреливали на месте. Раз поймали двух белых офицеров, и после расстрела мне велели топтать их на лошади, чтобы проверить, мертвы ли они. Один был живой, и я его прикончил».

В коллективизацию уполномоченный ОГПУ-НКВД Карташов по разнарядкам сверху уничтожал кулаков. Часто он сам, по велению своего революционного сознания, решал, кого кончить на месте, а кого отправить в лагерь. Он всегда носил с собой два нагана: один в кобуре, другой, на случай, если кончатся патроны в первом, был запасным и лежал в сумке. «Я подсчитал, — скромно сказал мне Карташов, уютно сидя на старом диване, — мною лично застрелено 37 человек. (О массовых расстрелах он рассказывал отдельно. — Ю.Д.) Я умею убивать людей так, что выстрела не слышно. Секрет такой: я заставляю открыть рот и стреляю вплотную. Меня только теплой кровью обдаёт, как одеколоном, а звука не слышно. Я умею это делать — убивать. Если бы не припадки, я бы так рано на пенсию не ушел».

О славном милиционере, ставшем сперва чекистом, а потом эпилептиком, в начале гласности я рассказал по «Голосу Америки». В ряде советских изданий появились обвинения в том, что я оскорбил честь человека, преданного родине, героя, честно служившего ей всю свою энкаведешную жизнь. Тогда настал черед возмутиться американцам. Збигнев Бжезинский удивлялся в журнале «Комментари»: «Если бы Карташов был в СС, разве не было бы негодования, требования его судить?» При этом Бжезинский разделял точку зрения, что партия и КГБ — преступные организации.

Теперь из этих организаций идет, так сказать, «утечка мозгов». Государственные преступники карташовы идут в новые правительственные структуры и в частный сектор. Стоит ли удивляться тому, что происходит в растерзанной стране?

Вдумайтесь: двенадцать лет одиночка-убийца действует почти открыто. Никто ему не мешает. Мне скажут: вы не специа-

лист, а случай уникальный. Возможно. Но – полсотни трупов, следов и улик видимо-невидимо. Чем же занималась ростовская милиция двенадцать лет, если раскрываемость преступлений по этим пятидесяти делам была равна нулю? Ах да, простите, когда до высокого начальства слухи о бездействии ростовских ментов дошли, тогда выбили признания из невинного человека и его расстреляли за одно из этих убийств.

Убийца жил в одном месте, не бегал, не скрывался, не переезжал из города в город, как это бывает. Чего стоит профессионализм защитников правопорядка? Задержали – выпустили. И он снова убивал. А окончательно поймали – случайно, несмотря на то, что задействовали тысячи людей: оперативников, солдат, дружинников, стукачей, активистов-добровольцев. В казне денег нет, а тысячам холмсам платят за то, что они ловят одного преступника.

И опять мне не по себе. Если долгие месяцы вся милиция города Ростова (а к ней подключили и другие города) сосредоточилась на ловле одного, то какой стала криминогенная обстановка? Что делалось в этом городе и окрестностях? Ведь настала полная вольница для всех остальных, кто не в ладу с законом.

Какая разница между Карташовым и Чикатило? Принципиальная. Карташов – официальный убийца на службе, что-то вроде палача. Он послушно выполнял указания, присовокупляя к ним личный энтузиазм. Убивая, Карташов укреплял порядок, нужный вышестоящим, получал за убийства повышения по службе, звания, зарплату, премии, пайки, ордена. Чикатило же убивал без приказа сверху, от одной страсти. Поэтому карташовы – профессионалы, чикатилы же – дилетанты, занимаются убийствами в качестве хобби. Карташов – государственный человек, Чикатило – кустарь, частник. Страшно сказать, но и тут соревнование государственного и частного сектора, – судите сами, какой работал более эффективно. Мне кажется, тут социализм обошел всех.

Чикатилы нарушают порядок, режут людей без согласования. Но – бывают периоды, когда такие преступники выгодны. Они создают страх, панику, недовольство определенными структурами власти, значит – пусть убивают. Это была методика Ленина, стиль КГБ, это практика МВД в лагерях и сегод-

ня. И только когда чикатилы становятся опасными для престижа покровителей, их, идя навстречу общественности, ликвидируют.

Я хорошо знаю Ростов-на-Дону, не раз там выступал. Среди ростовчан были приличные писатели, которых задвигал в тень Шолохов, хорошие театры, любознательный, благодарный читатель. Не дремали там и доблестные органы. Когда в середине семидесятых нелегкая понесла меня на Всероссийском совещании писателей заговорить о позорном герое литературы Павлике Морозове, то не успел я вернуться в Москву, как начались неприятности. Буквально так, как сказал, если память мне не изменяет, Аркадий Бухов: «Я пострадал за наш народ, который я, будучи случайно в Костромской губернии, очень любил».

Бороться с преступностью – это вам не за антисоветские анекдоты сажать. И похоже, случай с рекордистом-насильником лучше всего демонстрирует, чего стоят заявления обновленного ЧК об их задачах в демократическом обществе. Раньше была чистая работа: читали стишки и выискивали намеки, а найдя – забирали интеллигентов и, поигрывая мускулами, наслаждались властью. Годы прошли, а я вижу их лица, помню их слова:

– Такие, как вы, нам мешают заниматься более важными делами.

Маэстро Чикатило начал при Брежневе, когда диссиденты отвлекали службу безопасности от занятий безопасностью. И, конечно, их отвлекали шпионы и диверсанты, которые хотели отравить наши советские колодцы. Еще их отвлекала секретность: все надо было засекречивать, чтобы свои ничего не знали про чужих, а чужие про своих. Кто же стражам порядка теперь мешает? Нынче им можно заниматься тем, чем положено по профессии, и какой же результат? Настал общественный порядок, похожий на тот, что был после революции или после войны.

Помню себя подростком в эвакуации на Урале. Глаз заплыл, губа разорвана, рубаха в крови. Бабушка и мать причитают. Попросили на улице прикурить, ответил, что нету. За это избили. Кривая преступности по всей России подскочила после войны. Кажется, амнистию сделали. Грабили, раздева-

ли, убивали ни за что. Сталин, говорили тогда, решил вопрос просто: морских десантников перебросили с фронтов, которые прекратили существование, на городские улицы, разбив на группы. Здоровые молодые ребята в черных бушлатах с автоматами пошли по улицам. С одним из таких я после познакомился. Приказ был: при подозрении на нарушение порядка убивать на месте. В считанные недели стало тихо.

Надеюсь, такое правосудие в Россию не вернется. Но существующее удручает. Может, старые кадры неспособны работать в новых условиях? Именно ЧК и милиция всегда похвалялись тем, что у них сто процентов членов партии. Не надо, по моему, судить коммунистов за то, что они коммунисты. Не надо их разгонять за приверженность путчистам. Их вина в данном случае – неспособность ловить преступников, то есть просто профнепригодность.

Недавно друзья прислали мне из Москвы замечательную реликвию, чтобы не забывал прошлое: набор пластинок фирмы «Мелодия» под названием «Песни и марши советской милиции». Среди сочинителей текстов и музык, среди певцов с бархатными голосами многим из нас известные имена – милицейские соловьи. Имена хотели заручиться контактами с органами. Смотрю на пластинки – оказывается, еще будучи в едином СССР, милиция уже готовилась разделяться: марши пели в разных районах свои. Был «Марш грузинской милиции», был «Марш ростовской милиции». И хотя по громыханью барабанов трудно отличить шумную Куру от тихого Дона, да и по текстам нелегко – все марши высокохудожественные.

Кто же нам скажет, что зря время прожито,
Если сквозь бури мы к цели пришли?

Не знаю, должен ли нынче, когда через цель уже перешагнули, хор ростовской милиции петь «Верны мы долгу своему всегда» или «Моя милиция меня бережет». Почему бы и не спеть, когда одержана всемирно-историческая победа над Чикатило? Хотя вообще-то ростовским детективам и майорам Прониным своего героизма лучше бы стыдиться. Ведь это они своей некомпетентностью и разгильдяйством наращивали число убийств. Они по вечерам слушали «Милицейский вальс», а

Чикатило тихо затаскивал в лес девочек. Они начали суетиться, когда число убийств перевалило за полсотни, вместо того, чтобы бить тревогу после первого же убийства. Росло число людей, у которых среди бела дня исчезали дети, сестры, братья, а они пели: «Нас революция звала солдатами». С милиции и с ЧК спрос, если не уголовный, то моральный, не политический – человеческий. Что-то в этой победной эйфории по поводу ареста Чикатило не слышал я от них ни единого слова покаяния, признания вины. Одно хвастовство.

Дело не в названии, но в самом слове «милиция» есть что-то противное. Да и по сути это ведь значит «военная служба» и «ополчение, выставляемое в случае войны». Резон в милиции был, поскольку партия семьдесят пять лет вела войну с народом. Но если народ победил партию, то логично вернуться к тем органам правопорядка, которые существуют в нормальных странах. К тем органам, с помощью которых, согласно «Словарю иностранных слов» сталинского времени, буржуазный строй «осуществляет реакционную власть антидемократическими, противонародными методами разнузданного произвола». Полиция тоже не идеальна, но что, скажите, в этом мире идеально, кроме женщины, которую вы любите?

Бывают периоды и страны, когда и в которых ценность человеческой жизни падает. Хочу ошибиться, но понимают ли те, кто добрались и еще рвутся сейчас к власти в России, что там, судя по происходящему, наступает (а то и уже наступил) период, когда цена жизни человека опять становится копеечной, не успев как следует подорожать. Копеечной не для самих людей (каждый знает себе цену), а для власть предержащих, вот что страшно. Они озабочены дележом стульев, сведением счетов друг с другом, ценой приватизируемого, стоимостью рубля, энергоносителей и пр. И в суете борьбы забыли, что человек бесценен сегодня, сейчас.

«Нам оставили тяжелое наследство. То, что мы делаем – это все для людей», – доказывают они. Да разве все предыдущие говорили что-нибудь иное? И гражданская война, и военный коммунизм, и чистки – все это было для нас, для людей. А результат известен.

Хорошо, что права человека объявляются теперь высшей ценностью в стране, которая на протяжении всей своей исто-

рии занималась тем, что эти права топтала. Вот бы еще объявить ценностью самого человека, которого государство обязано охранять. Как всегда в России, крайности слиты воедино: прав и свободы печати навалом, но нет физической возможности жить. Мы выбирались из страны, в которой не было политической свободы. Потом люди начали бежать от нищеты. Сейчас мы получаем просьбы о помощи от людей, которые боятся выпустить детей во двор.

Вот почему неустойчивыми показались мне построения статей в российской прессе об отмене смертной казни и заботах об уголовниках именно сейчас.

У меня нет сомнений в порядочности гуманистов-авторов. Согласен: проблема милосердия в стране, вскормленной на ненависти, еще как актуальна. Государственная комиссия для помилований в России тоже нужна. Но почему в стране с сотнями миллионов людей милосердие нужно проявлять в первую очередь по отношению к преступникам? Ведь они все-таки совершили уголовно наказуемые деяния. Да, справедливость суда необходима, ошибки есть, в российских тюрьмах нечеловеческие условия. А на воле они, позвольте спросить, человеческие?

Авторы, мне кажется, теряют меру, когда говорят о проблеме отмены смертной казни, полагая ее актуальной задачей российского правительства. Они считают, что для осужденных к пожизненному заключению (вместо смертной казни) надо строить новые достойные тюрьмы, чтобы они отвечали современным требованиям, принятым в цивилизованном мире. А сотням тысяч честных людей, в том числе беженцам и военным, – не надо построить крышу на головой, хоть какую-нибудь, пускай даже не отвечающую современным требованиям? Я не атеист, но как-то не очень верится в отчеты по телевидению сотрудников МВД: разослали в тюрьмы Библию и получили письма от уголовников, которые, прочитав, сразу раскаялись. Впрочем, тюремщикам видней. Может, следом за поспешными раскаяниями поспешно выпускать бывших грешников на свободу?

Не бардак и низкий правовой и деловой уровень органов порядка сверху донизу, не бескультурие суда и прокуратуры, не отсутствие цивилизованного законодательства в новой России, не милосердие к миллионам задыхающихся от бед не виноват-

тых ни в чем простых и не простых людей волнует милосердие. Главное, оказывается, – облегчение участи особенно тех, кто приговорен к смерти. В этом видится задача дня. И первым упоминается Чикатило, к которому предлагается немедленно применить милосердие.

Слов нет, проблема «за или против» по части смертной казни и важна, и стара, как само человечество. Но мне сегодня кажется, мера милосердия состоит именно в том, чтобы для особых случаев вроде дела Андрея Чикатило в законе любой страны наличествовала статья о смертной казни.

Возможно, читатели со мной не согласятся, но, по-моему, милосердие нужно людям, а Чикатило – *не человек*. Убийца невинных, да еще в таких количествах, не имеет права на свою жизнь. Запрет смертной казни есть гарантия ненаказуемости, которая поощряет такого убийцу. Русский Чикатило достиг зенита всемирной славы. Американские славные Чикатилы, пожизненно здравствующие в тюрьмах за счет тех, кого они еще не убили, тоже неплохо живут, чего теперь добиваются для своих маньяков российские сторонники милосердия. Но то, что им видится идеалом, мне представляется грустным просчетом. На мой взгляд, американская фемида демонстрирует в этом какой-то перекося милосердия. А в России сегодня пожизненное заключение для Чикатило звучит просто кощунственно: отнимать последний кусок хлеба у родственников его реальных и потенциальных жертв, чтобы его пожизненно содержать. А может, и его потом амнистировать?

Мне кажется, если утвердят приговор, Чикатило все-таки расстреляют. На одного «нечеловека» в мире будет меньше, и чьи-то дети останутся в живых, в том числе, возможно, дети сторонников сохранения жизни маньяка. Милосердие означает готовность помочь, а помогать надо не чикатилам. Им надо мешать.¹

В последнее время в хаосе российской прессы все больше статей, в которых вас успокаивают. Генеральный прокурор Рос-

¹ В марте 1994 года президент России Ельцин отказал Чикатило в помиловании, и, согласно официальному сообщению, многоубийца был казнен. В апреле 1996 года в том же Ростове-на-Дону был арестован за изнасилование сын Чикатило.

сии объясняет, что раскрываемость преступлений в Италии еще ниже, что органы правопорядка России вполне контролируют положение в стране, что бомбы, дескать, бросают в Лондоне. Из другой статьи узнаешь, что по захватам заложников в Москве вообще полный ажур, всех освобождают. И никто из ответственных не спросит себя и других: а почему вообще возможно в Москве среди бела дня стать заложником? Почему поездка в Италию или Англию не сопровождается таким риском?

А на другом полюсе – преступники, которые тоже читают прессу. И, анализируя методы работы самодовольных стражей порядка, гогочут. Им понятно, что беспокоиться не нужно. Если ловят одного на шестом десятке тяжких преступлений, то у каждого из них в запасе пятьдесят потенциальных убийств – руки развязаны.

Только что звонил своим в Москву – у них в подъезде дома у метро «Аэропорт» обычный эпизод. Женщина часов в семь вечера тут, на людной улице, спросила двух стоящих возле дома молодых людей, где подъезд номер пять.

– А вот он, – показали они и следом за ней вошли в подъезд.

Молодые люди приставили ей нож к горлу, раздели, привязали к батарее центрального отопления и ушли с ее одеждой. Она в конце концов сама отвязалась и вышла босиком на улицу – там как раз выпал первый снег. Обнаженная эта женщина шла по снежку босиком навстречу прохожим и была рада.

Поистине немного надо человеку для полного счастья. Ведь так гуманно обошлись: не убили, не избили, не изнасиловали, а вполне могли бы. Никто ведь не мешал.

1992.

ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ ПУБЛИЦИСТА

Нас, конечно же, протащили бы через длинное следствие и дали бы срок – дело шло к этому. Время было самое подходящее, и они уже топтались вокруг, вынюхивая, что плохо лежит, и подкапывая улики. Круг сужался: меня вытаскивали на Лубянку, сперва говорили вежливо, потом запугивали. Кое-что они, по-видимому, знали. А дело было серьезное, теперь о нем можно вспомнить.

У члена Союза писателей СССР Марка Поповского, автора документальных книг о людях науки, очерки которого печатали такие кондовые газеты, как «Правда», была еще одна, неофициальная и неафишируемая ипостась: с начала шестидесятых до эмиграции в 1977 году он вместе с нами был организатором самой крупной в Москве, а то и во всей стране, библиотеки Сам– и Тамиздата. Говорят, только на Лубянке была еще больше; не знаю, в тамошней нам не довелось побывать. Наша же изба-читальня была публичная, или, точнее сказать, почти публичная.

Помещалась библиотека в центре Москвы, на Брестской, возле метро «Белорусская», чтобы было удобно ее читателям. Общего числа их мы не знали, поскольку учета, по понятным причинам, не вели. Читателями становились по рекомендации друзей, тех, кто уже давно приходил, – как же еще можно спастись от непрошенных гостей? Хранительницей архива и библиотекарем была смелая и умная женщина Юлия Кальманович, племянница всемирно известного бактериолога Хавки-

на. Возраст ее приближался к девяноста. Конспирации она училась у своих родителей – старых большевиков.

Читатели обычно не только брали чтиво, но и сами пополняли библиотеку. Мы же тратили все свои отнюдь не безлимитные средства на распечатку копий у доверенных машинисток да на покупку редких изданий на черном рынке. Я, по мере сил, переснимал, проявлял и печатал фотокопии тамиздатских книг и делал микрофильмы рукописей перед отправкой на Запад.

В писательские дома творчества, где мы месяцами обитали, Поповский тащил минимум вещей и максимум книг. Обычно это была пара чемоданов с изданиями, которые передавались из комнаты в комнату, минуя тех писателей, которым не доверяли. Промахов, как ни странно, долгое время удавалось избежать.

Потом тучи начали резко сгущаться. В газете появилась статья с типичным названием «С чужого голоса» с типичной под ней подписью «Ф. Иванов». Библиотекарь, задержанный в Воронеже за чтение того, чего не полагалось, показал на допросах: за антисоветчиной он ездил в Москву. Хранением антисоветчины, писала газета, занимался писатель Марк Поповский, а хранение – это известная статья УК. У подъезда библиотеки появились два литературоведа в штатском. Поповский, вычислив их, прошел мимо, не войдя в подъезд. Ночью, когда топтуны отправились спать, мы подогнали машину, погрузили литературу и переправили на новое место.

Беспокойный писатель Марк Поповский давно и упрямо тореодировал бдящий орган, и быку эти уколы надоели.

– Чего он лезет на рожон? – ворчал на допросе общего знакомого следователь, называя имя Поповского. – Ему что – больше всех надо? Писал бы себе для детей про науку.

Там, где другие тихо помалкивали, он сочинял протесты, подписывал коллективные письма. Подобно известному герою, он сражался с мельницами, если позволительно сравнить жернова идеологической машины с невинными, поскрипывающими от ветра крылышками. Думаю, он делал это не только в силу внутренних убеждений – этого товара хватало у многих, но, в силу своего характера, играл с огнем.

Однажды Поповский к ним просто ввалился сам, в центральную приемную КГБ, чего они никак не ожидали. К нему

приезжала консультироваться американка, историк науки, и, разумеется, он поделился с ней архивными материалами по биографии ученого Хавкина, над которой сам раньше работал. Конечно, ее выследили и в таможне все материалы отобрали. Поповский пошел прямо туда, где некоторые другие просто стучали, – пошел стучать кулаком по столу. Кажется, он говорил, что данная акция чекистов идет вразрез с постановлениями партии и правительства о мире и дружбе во всем мире.

В это время он писал книгу о том, как партия манипулирует наукой, о нравственности советских ученых, книгу, которую он после так и назвал: «Управляемая наука». Он собрал гору материалов, а чтобы писать, надо было держать их перед глазами. Решили, что моя квартира была в ту пору безопаснее; я уехал на дачу, а Поповский, оповестив знакомых по телефону, что уезжает на юг, тихо поселился у меня, не отвечая на телефонные звонки, будто никого нет. Книга была закончена, переснята на микропленку и пошла на Запад.

Потом Поповский демонстративно, в знак протеста против исключения других, вышел из Союза писателей. Он в одиночку организовал агентство «Mark Popovsky Press» – альтернативу ТАСС – и начал ежедневно поставлять западным корреспондентам в Москве статьи на, мягко говоря, нежелательные для властей темы.

Днем мне позвонила Лиля, жена Поповского, и сказала:

– Я лишнего цыпленка купила, заезжай, возьми.

Обычно это значило, что поступило новое чтение, но голос у Лили был тревожный. Я приехал через час после обыска.

Когда они позвонили к нему в дверь, на письменном столе лежало несколько рулончиков пленок с моими и его рукописями для переправки на Запад: вечером Поповский должен был встретиться для этого с верным человеком, но не успел. Дверь им открыл сам хозяин, а Лиля, когда услышала слова «ордер на обыск», сгребла со стола рулончики пленок. В ящиках стола рылись, рукописи собрали в мешок и унесли. Только после этого Лиля встала: главные улики лежали под ней на стуле. Хозяина гости водили за собой по квартире, а с хозяйкой слегка оплошали.

Имея в виду эти самые пленки с нашими рукописями, я и сказал давеча, что они бы нас легко засадили. Спустился я к

своим стареньким «Жигулям», чтобы ехать домой. Ветровое стекло было пробито тяжелой металлической болванкой, которая лежала тут же. Я решил тогда, что это случайное совпадение.

Между тем уголовное дело на писателя Марка Поповского уже было заведено. Он обвинялся ни больше ни меньше, как в хищении юношеских дневников академика Николая Вавилова, которые они искали при обыске. Они даже подобрали свидетелей из ученых, охотно подтвердивших факт хищения. Странно, что ничего более умного придумать не смогли: дневников таких в природе не существовало.

Вскоре, видимо, решив, что выгоднее выпроводить этого хлопотного диссидента за кордон, чем начинать еще один писательский процесс, Поповского пригласили в ОВИР. В том ноябре было две ликующих демонстрации: одна на Красной площади, другая, значительно скромнее числом, в Шереметьеве. Так писатель и журналист Марк Поповский, хорошо знакомый читателям всех волн русской эмиграции, начал вторую жизнь в Городе желтого дьявола.

«Историю не изменить, перевернув портреты лицом к стене». Это выражение одного политика прошлого будто специально придумано, чтобы служить эпитафией к биографии Поповского, который, говоря о себе, выражает ту же самую мысль в упрощенной форме: «Скандалил я всю жизнь и продолжаю это теперь».

Москвич Марк Поповский родился в Одессе, что, как известно, предопределяет характер и, для многих, причастность к литературе. Родился во время гражданской войны. Родители его, полуголодные и полуоборванные, искренне мечтали о победе пролетариата во всемирном масштабе. На одной шестой части суши их мечты сбылись. Выжил ребенок благодаря американской продовольственной помощи, поступавшей через АРА и заменившей ему молоко матери (что поистине находка для чекистских исследований причин диссидентства). Отец был следователем ревтрибунала, приговаривал чуждый элемент к высшей мере, а потом сделался вполне советским писателем. Мать загоняла мужиков в колхозы, а потом стала биологом.

Поповский ухитрился отучиться в тринадцати школах, причем из пяти его исключили. Он был студентом двух военно-

медицинских академий, и в обеих его попросили больше их не беспокоить. В военно-медицинском училище, куда Поповского забрали во время войны, у него нашли антивоенный рассказ, который он не только сочинил, но, что еще страшнее, давал читать. Перед отправкой курсантов на фронт начальство решило дело не раздувать, но все вышли из училища лейтенантами, один только Поповский – младшим лейтенантом. Во Второй мировой войне он принимал участие с первого дня до последнего и несколько месяцев провел в блокадном Ленинграде. В армии от него, неуживчивого и на язык не воздержанного, готового возразить старшему по званию, старались избавиться и переводили из части в часть.

В Германии молодой советский офицер влюбился в немку, и начальство, конечно же, усмотрело в этом измену родине. Его хотели отдать под трибунал, но под победу амнистировали и отправили из сытой Германии в голодную Россию.

– Ты же кончил три курса Военно-медицинской академии, – говорили ему приятели. – Шел бы ты, знаешь куда? Доучиться.

Он доучился, но – вместо медицинского окончил филологический факультет. Дело в том, что он уже начал писать статьи в газеты, почувствовав вкус к публицистике. Время (конец сороковых) для жанра было мало подходящее. Но уже в этих статьях он одних защищал от других, наживая себе врагов.

В 52-м, когда он стал очеркистом в «Литературной газете», его вдруг перестали печатать. Кто-то посоветовал срочно уехать, не то пропасть бы Поповскому в космополитах. Оттепель сделала для него доступными лучшие толстые журналы. Здесь сформулировались основные темы, волновавшие писателя: власть, дело и совесть, призвание человека в науке и реальная работа, туфта, наконец, двоемыслие советского ученого, которое неминуемо должно было обернуться двоемыслием автора: что удастся напечатать, а что идет в стол.

И снова мы спрашиваем себя: как мы тогда жили? как постигали и преодолевали ложь? Оказывается, каждый созрел и действовал по-своему.

Первая трещина в мировоззрении подростка возникла в 39-м, когда приятель поделился страшной тайной, показав ему первое издание сочинений Ленина, где тот ругал Сталина. Ока-

залось, между Лениным и Сталиным дружбы не было, Сталин врал. Открытие так поразило, что Поповский поделился им с матерью. Мать ответила по-партийному просто: «Я немедленно иду в НКВД!» Отношения с родителями, до такой степени преданными советской власти, на всю жизнь остались, мягко говоря, холодными.

Писатель Александр Поповский сочинял толстые книги, прославляющие подвиги академика Трофима Лысенко и других таких же сталинских и хрущевских академиков. Книги эти публиковались массовыми тиражами. А сын, писатель Марк Поповский, долгие годы тихо ездил по стране и собирал материалы о погубленном в тюрьме и запрещенном академике Николае Вавилове. О публикации и думать было нечего. В разгар хрущевской оттепели пару глав опубликовал журнал «Простор» в Алма-Ате – редактора сняли, редакцию почистили.

Отец, по личному заданию Жданова, написал книгу «Восстановим правду», рассказывающую о том, что все на свете изобрели в России, а сын – о погроме этой науки там же (книга «Управляемая наука»). Отец создал сатирическую антирелигиозную пьесу «Суд над христианством», сын – книгу о непобедимости религии в России. Отец писал о счастливой любви, которая возможна только при социализме, а сын – о том, во что превратили любовь, секс и семью большевики (книга «Третий лишний», изданная на Западе уже после эмиграции). Проще говоря, отец был «за», а сын «против». Вечная тема отцов и детей, но доведенная до абсурда, как и все в советском театре.

У толстовского слова «непротивление» Марк Поповский ампутировал частицу «не» и взял слово себе на вооружение. Но, разумеется, не насилием он противился, а словом, словом лектора (он много выступал с лекциями, а на лекциях одно время можно было сказать больше, чем опубликовать) и словом публициста, словом с двойным дном: что можно опубликовать, а что идет в Самиздат.

Именно противостояние в духовной сфере стало главной темой многолетней работы Марка Поповского «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга». Нечего было и думать о ее публикации тогда, но и сейчас, здесь и там вышедшая, книга эта кажется мне одной из самых значитель-

ных в русской документалистике XX века и пока что недостаточно оцененной. Вдумайтесь только: выдающийся теолог, деятель православной церкви, он же знаменитый хирург, в одиночку противоборствующий дьявольской государственной машине.

Мне кажется, не только Поповский воссоздавал образы своих героев. Герои эти влияли на писателя, и конфликт писателя с обществом углублялся по мере философского осмысления позиций его героев. Житие самого Марка Поповского начинается как результат воздействия на писателя нравственного и религиозного опыта его героев. Это был естественный приход от внушенного бесами атеизма к сознательному христианству. Христианская концепция добра и блага нашла в лице этого писателя своего приверженца. Энергии у него оказалось на троих. А еще, как и у его героев – преданность словесному ремеслу, профессионализм, которого многим из нас не хватает, и готовность идти на ссоры с близкими друзьями ради принципов, которые для Поповского важнее обстоятельств, собственного преуспевания и часто самой дружбы.

Концепция эта наложилась на характер, который читатель замечает в острых статьях нью-йоркского писателя Поповского, печатающихся во всей эмигрантской прессе, а теперь и в стране побежденного социализма.

Я бы сказал, Марк Поповский – многопишущий, разноплановый, но всегда острый. Если вы хотите спросить его, что он пишет, то надо спрашивать *не о чем или о ком, а – против чего или кого*. Именно это двигает рычаги его пишущей машинки. Он вечный борец «против». Но, даже если он «за», то это тоже означает в его контексте одновременно «против». Информация, фотографии, события, письма, документы, показания свидетелей – все то, что является исходным сырьем документалиста, интересуют его в ракурсе нравственности.

Его нравственные противники существовали до эмиграции там и в тех же или новых обличиях существуют после эмиграции здесь. Шпага в руках журналиста – опасное оружие, защищающее одних, но неизбежно ранящее других людей. И потому Поповский всегда в конфликтной ситуации – со своими героями, с коллегами, с редакторами, с читателями, а если с перечисленными господами все мирно, то – с самим собой. Он давно бы перессорился со всеми друзьями, если бы ему не

прощали его устных и печатных бестактностей, которые он совершает в интересах дела, как он это понимает. Советам он редко внимает, даже тогда, когда сам их спрашивает. При этом он готов помогать знакомым и незнакомым, поддержать понавившегося чем-то ему молодого автора, даже если тот графоман, броситься на защиту несправедливо обиженных, да еще втягивает в эти заботы друзей, с которыми он еще не поссорился. Словом, он несет бремя русского литератора со всеми его достоинствами и слабостями. Жена такого человека должна быть поистине святой.

Кажется мне, что неудовлетворенность собой и другими есть движущая черта настоящего литератора. Поповский был и остается непримиримым правдоискателем. Его моральная позиция проистекает от добрых намерений, от желания видеть людей такими, как ему хочется, но это отнюдь не всегда совпадает с аналогичным желанием критикуемых. Думаю, если бы Марк Поповский взялся писать документальную книгу о Марке Поповском, книга получилась бы не менее любопытной, чем все двадцать его предыдущих книг.

Мастерская Поповского, в которой создавались его книги, проста: это бесконечный поиск материалов, и не всякому писателю по плечу такой размах подготовительной работы. Не случайно в предисловии к публикации книги о Войно-Ясенецком на родине наш общий знакомый отец Александр Мень назвал Поповского «неутомимым воссоздателем исторических характеров». На каждую из книг: и об академике Вавилове, и об архиепископе и хирурге Войно-Ясенецком, и о крестьянах-толстовцах – потрачено не менее десяти лет черной работы. Если учесть, что материалы раскапывались, собирались по крупицам в закрытой стране, начиненной страхом, как порохом, при наличии ханжества, прикрытого манией секретности, то о процессе создания каждой из книг Марка Поповского также можно написать отдельный детектив. Отходы этого золотискательного производства в книгах не видны, но составляют, думаю, девяносто процентов, если не больше. Помню, что только для книги «Русские мужики рассказывают» (о том, куда исчезли в Советском Союзе последователи философа Льва Толстого) я, помогая Поповскому перед его выездом, переснял на микропленку около четырех тысяч страниц воспоминаний и

иных произведений отсидевших в лагерях толстовцев. А в книге две сотни страниц.

Тягости труда писателя-документалиста, риск и радость открытия ощутил я на себе в те годы, когда, втайне от властей, собирал в Сибири материалы для книги «Вознесение Павлика Морозова». Способы опроса свидетелей, пути поиска документов и фотографий в частных архивах, замысловатые игры с властями, лавирование на хлипком мостке истины над потоком пропагандистской лжи, – опыт собрата по перу, его удачи и его ошибки, вспомнились мне во время тех поездок.

У обычных людей на земле один день рождения в году. У нас, эмигрантов, два: прибавляется второе рождение на второй родине. Так вот в один из таких дней Поповский приготовил и разослал знакомым американский Самиздат под названием: «Что я утерял и что обрел, пребывая в Соединенных Штатах». Из двух обширных списков, имеющих в этом сочинении, позволю себе перечислить несколько деталей.

«Я утерял, – пишет Поповский, – возможность писать слово «родина» с большой буквы, лучшее в мире метро, моих героев ученых и моих редакторов, не ученых ничему, мавзoley Ленина, звание лейтенанта запаса, очереди, потребность в кальсонах и социалистический реализм».

«Я обрел, – пишет Поповский, – ломаный английский, вид со 102-го этажа World Trade Center, уверенность, что могу опубликовать любую свою новую книгу, веру в Бога, невыносимое нью-йоркское лето, Первую поправку к Конституции, второе дыхание и фрукт по имени киви».

1992.

БЕЗ НАМОРДНИКА, БЕЗ ПОВОДКА, ДАЖЕ БЕЗ ОШЕЙНИКА

Со времен Курбского, а то и раньше, русская литература живет частично на чужбине. Слово это последнее не нейтральное, с душком неприязни, хотя Пушкин, например, вкладывал в него то иронию, то симпатию. Эмигрировали авторы как по своей воле, так и под давлением обстоятельств, но азимут всегда был от несвободы к свободе.

Практически вот уже более двух веков Запад демонстрирует полную либерализацию мысли для своих пришельцев. Недавно один мой приятель, новозеландский славист, раскопал в Парижском полицейском архиве уйму новых доносов сексотов на Тургенева. Оказалось, что не только русская тайная полиция прослеживала его активность за рубежом, но и французская, считая автора „Муму“ отнюдь не немым царским шпионом.

Но вот что важно: слежка никак не сказалась на литературном самовыражении Ивана Сергеича в Париже, в отличие от продолжавшихся цензурных ограничений для него на родине. К тому ж и случай с Тургеневым был все-таки исключением. Не будем преувеличивать интерес властей на Западе к русской литературе и ее представителям.

Как-то, уже в эмиграции, то есть лет через двенадцать после исключения из Союза писателей, меня пригласили в Вашингтон прочитать лекцию для дипломатов о политических аспектах советской литературы. После ответов на вопросы слушателей подошел элегантный молодой человек с платоч-

ком в кармане под цвет галстука и, протянув визитную карточку, представился. Он был из ЦРУ.

– Очень приятно, – усмехнулся я. – КГБ со мной знакомился, а ЦРУ никогда.

– У меня деликатный вопрос, касающийся одного из ваших коллег, – осторожно сказал он. – Не знаете ли случайно: правда, что у Пушкина была негритянская кровь?

Как бы вы поступили на моем месте? Сообщить или не сознаваться?

– Правда, – признался я.

– А правда ли, что его преследовали?

– Тоже правда.

– Это потому, что он негр! – объяснил он и удовлетворенный ушел.

Цереушник этот сам был чернокожим и по-своему понял проблемы русской литературы.

„Свобода здесь – читатель там“, – говорил мой покойный друг Сергей Довлатов. Поскольку пишу эту статью, находясь в Москве, добавлю: а теперь и свобода тут, но добавлю, замедлившись, без особой уверенности. Дело в том, что свобода русского писателя на Западе по сравнению с тутошней (как бы точнее выразиться?) нейтральной. Меньше нервов, меньше болезненности. Здесь свобода все еще групповая. Кругом табу – уже не цензурные, не политические даже, но конъюнктурные. Сказал критическое слово о Юрии Трифонове (при общем хорошем отношении), а у меня его из интервью выкинули. Спрашиваю:

– Почему? Ведь я этот пассаж там еще несколько лет назад опубликовал.

– Ну, старик, это не в интересах дела.

Чьего и какого-такого дела?

На Западе мое писательское мнение – просто мнение, а здесь – оно все еще делится на полезное и вредное, преувеличивается роль слова как некоего инструмента политического манипулирования. В печатном органе, который я упомянул, сказать об изъятии прозы Трифонова нельзя, он „наш“. В редакциях все еще спрашивают: „Чей он человек?“, „Кому это выгодно?“, „На кого вы ориентируете свои мысли?“, „А полезно в данный момент затрагивать эту тему?“

Так редакторы, на этот раз добровольно, втягивают себя в несвободу слова, в опасное торжество единого мнения, которым все давно сыты по горло.

В Америке же оба (три, десять мнений) имеют равные права на равное существование, ведь все они только слова. Желание поэта, чтобы к штыку приравняли перо, сегодня уместно, если только трибун этот состоит в какой-нибудь террористической организации. А в Москве литература все еще кое-кем почитается за горячительный напиток, вроде стакана водки перед атакой. В эмиграции обретаешь дистанцию. Особенно для прозы она незаменима: в ней ведь все правы, или, по меньшей мере, имеют свои мотивы и оправдания.

Веками русское инакомыслие утекало и вытеснялось на Запад. Самиздат просачивался сквозь решетку и тем же манером возвращался в виде Тамиздата. Литературная эмиграция спасала и сохраняла духовные сокровища метрополии, рукописи, целые архивы, особенно в периоды застоя на родине. Но всегда обе части литературы были сообщающимися сосудами, хотя с восточной стороны краник то и дело перекрывали. Тут следили (уместно ли прошедшее время?) за всеми нами там. И не жалели денег на усилия в манипулировании словами на других континентах.

Несчастливого Куприна, в зависимости от его встречи с Лениным, высказываний там и возвращения сюда, трижды переводили из оторвавшегося в присоединившегося, из друга во врага, из врага в друга. А закончили, посулив его жене манну небесную и всучив ей советские паспорта, сочинением липовых патриотических интервью с писателем, вернувшимся в старческом маразме, который у нас в Америке называется болезнью Альцхаймера. Как эта кухня готовила блюда, наше поколение журналистов и писателей не только хорошо знает, но и участвовало в этом и, само собой, испытало на себе.

Чего уж там! Трудности для писателя сегодня ощутимы в обоих сообщающихся сосудах, что доказывает их неразрывность. Не о себе говорю: у меня вывезенные по-тихому саженцы теперь пускают корни на родине. После пятнадцатилетнего пребывания в черных списках здесь переизданы три книги и выходят еще три. Переселение в эмигрантскую литературу было для меня единственным шансом выжить, сказать, что хочу и могу, со-

стояться. Теперь слышу, что эмигрантская литература была временной, вынужденной – и с этим категорически не согласен.

Поток запретного чтения из Америки в Россию иссяк, что больно ударило по русским издательствам. Но книги на русском языке в Америке выходят. Полиграфическое качество их по-прежнему лучше, да и содержание многих интереснее и значительней. Не слышал, чтобы редакция русского журнала или издательство в США просили убрать какое-нибудь имя или тему по каким-нибудь соображениям. В связи со свободой в России тематика иссякла только у конъюнктурщиков – и там, и здесь.

Больше того, много читая и просматривая издаваемое теперь в метрополии, я пока не замечаю выдающихся открытий. Наоборот, выплеснулась пена графомании. Дилетанты называют себя постмодернистами от прозы и поэзии, а они просто не в ладу со школьной грамматикой. Экзерсисы перестроившихся мастеров соцреализма вообще стыдно читать. В кино пошлые поделки, и жаль даровитых актеров. Пышные и смелые откровения авторов, разносящих похороненных вождей, свидетельствуют о незнании или, что хуже, о компиляциях из источников, опубликованных на Западе десятки лет назад.

В России утеря государственного интереса к литературе – а я всегда мечтал, чтобы меня ни к чему не призывали, в том числе и к патриотизму, чтобы портреты вождей, как говорил Набоков, не превышали размеров почтовой марки. Родина – женщина: любить ее можно только по внутреннему побуждению. Литература – тоже женщина. Могу ли я, автор, ее любить, зная, что она на содержании у другого?

Трудные для русской литературы времена бывали не раз: сужался круг, ширпотребное чтиво или пропаганда заполняли книжные лавки, а проза и поэзия выживали. Феномен „ствола и ветви“ по многим причинам будет сохраняться. А для такого книгочеха, как я, важно, что в библиотеках и архивах на Западе хранятся великолепные русские коллекции и значительно больше организованности, удобств и свободы ими пользоваться. Например, часть университетской библиотеки я просто держу дома и возвращаю отдельные книги, когда они больше мне не нужны или понадобились кому-то другому.

Всю жизнь читал и слышал: писатель, живя на чужбине, отрывается от среды. Твердили, что бедный и несчастный рус-

ский человек чахнет в изоляции, не питаемый соками родной земли. Теперь хочу, опираясь на свои скромные знания и тот опыт, который я вобрал от встреч со множеством людей в эмиграции, сказать: эта мысль – апология имперского мифа о недопущении отечественной собачке гулять без поводка и, тем более, без ошейника.

Смысл стереотипа в том, что на убежавшую шавку не наденешь намордника. Вдруг она там, на Гавайских островах, гавкнет что-нибудь, нас в Смольном компрометирующее? Намордники начали осторожно снимать, примерно, в 1987-м. В 90-м – уже отстегивали поводки. А ошейники писатели сами стали срывать после августа 1991 года и смелее высказываться, будучи за границей. Впрочем, кое у кого не только ошейник, но и намордник не снят до сих пор, натертая шея болит, а отстегнуть страшно. С такими писателями старшего поколения я тоже встречался в Москве и хорошо их понимаю.

Ностальгия – очень российское явление, больше административное, чем духовное. Между прочим, в Калифорнийском университете и сотнях других по всему миру работают писатели множества наций, изучают (и обогащают произведениями, между прочим) десятки словесностей мира и их эмигрантских ветвей. И только в русской метрополической прессе много говорится про отрыв, родные березки и надрывную тоску. Тут, в российской прессе, продолжается какая-то инерция мышления. А может, опять кастовое табу, кому-то выгодное в соображении попытаться повернуть историю вспять?

Скучно приводить список классиков, Нобелевских лауреатов, живших за рубежом, и произведений, написанных на чужбине. Дома бы им не состояться. Ни от какой среды, культуры или атмосферы серьезный писатель, если он сам того не хочет, не отрывается. Не отрывается даже тогда, когда власти на родине его наглухо изолируют от читателей. Разве что Шолохов действительно существовал в эмиграции (как ее понимал агитпроп): то есть в изоляции и отрыве от среды. Как он жил, что написал в эмиграции и чем кончил, всем известно. Стоит ли в век факса, модема, глобального телевидения и карманного телефона подерживать слегка поблекший идеологический штамп?

1993.

ПАРАДОКСЫ КАМПУСА

Избыток свободы

Дважды в неделю по часу у меня в университетском кабинете приемные часы. Иногда никого, и я пишу письма. Иногда – в коридоре очередь, сидят на полу, читают или треплются, ждут. Раз в год я получаю циркуляр от испуганного начальства всему мужскому персоналу: просьба не закрывать дверь, когда беседуете со студенткой tête-à-tête. Рассердившись из-за плохой оценки, заявит, что вы посягали на ее прелести. Все знают, что это перестраховка, на практике ничего такого не происходит. Студенты дружелюбны, в отличие от российских, менее циничны и более открыты.

Студентка Джулия К. (фамилию не скажу, а имя выдумал). Пришла, села и сходу:

– Меня трахает черный. Что вы посоветуете?

Вообще-то прием для консультаций по литературе. Но – свободная страна. Приходят ко мне, доверяя авторитету или просто в данный момент посоветоваться больше не с кем. Времени на размышление нет. Послать ее в центр психологической помощи? Она и без меня знает про это, а пришла ко мне. Итак, у нее связь с черным. Что же ответить?

– Все цвета кожи хороши, – начал я банально. – Проблема, видно, не в том, что он черный, а...

– Только в том, – отрезала она. – Отец узнал и категорически требует, чтобы я с ним порвала. Нет, отец не расист. Он и сам мексиканских кровей. Он говорит, что Бог для чего-то

создал людей разных рас. И смешивать расы – значит, идти против Бога.

Что бы вы ей ответили, читатель? Когда она от меня уходила, черный парень ждал за дверью и сразу принялся обнимать ее так, будто хотел заполучить тут же, в коридоре.

Я приветствую секс. Но за те три года, что Джулия провела на кафедре русской литературы, она никогда ничего не спросила о Тургеневе, Достоевском или Цветаевой – хотя бы в плане любви или Бога. Больше всего ее занимал феминизм. Как доктрина. С трибуны она была активисткой борьбы против засилья мужчин. В жизни же крутила бесконечные романы, а одного своего друга вывезла из Москвы.

Секс и феминизм в причудливом гибриде переросли все меры в американском образовании. Сажу на совете по аспирантуре. Докладчица сообщает о громадном успехе Калифорнийского университета в прошлом году: число женщин в аспирантуре достигло 50 процентов. Я аплодирую вместе со всеми. Она закругляется: наша задача – не останавливаться на достигнутом, бороться дальше, добиться новых успехов. И опять все аплодируют. А бороться за что? За 100 процентов женщин в аспирантуре? Открытое общество. Борись за и против чего хочешь. При этом то и дело натыкаешься на подводные рифы.

Студенты, изучающие испанскую словесность, объявили голодовку протеста. По их мнению, профессора занижали оценки на экзаменах тем, кто приехал из испаноязычных стран. На площади перед главным зданием университета поставили палатки и в них, несмотря на уговоры представителей администрации, голодали, естественно, под контролем переполошившихся врачей. Через неделю конфликт иссяк. Во-первых, выяснили, что преподаватели испанской литературы сами были, не коренными американцами, а выходцами из тех же стран. Во-вторых, оказалось, что голодали не сами протестанты, а их друзья, студенты из Индии, которые были йогами: голодать для них было наслаждением. Потрачена уйма времени, и нервов, и энергии, которые лучше было бы направить на сдачу экзаменов, но университетская свобода подтверждена.

На мой взгляд, та самая свобода, к которой сегодня стремится Россия, парадоксальным образом – в американской системе образования в избытке.

Вхожу в класс, о чем-нибудь пошучу, начиная лекцию, чтобы создать настрой. Моя свобода – академическая (о ней речь впереди), а у студентов реальная. На последних рядах расположились голодные, разложили завтрак, слушают и кушают. Впереди, прямо передо мной, студентка, которая только что родила, вытащила грудь и кормит младенца, чтобы молчал и не перебивал меня плачем. Покормив и все еще держа рукой грудь, она задает вопрос: «А был ли у Натальи Гончаровой роман с Николаем Первым?» Это тоже свобода; слава Богу, с кошками, собаками и змеями теперь в аудитории сидеть запретили. Байрон, который держал у себя в общежитии медведя, протестовал бы, но он учился давно и в другом университете.

Избыток свободы в университете – это предпочтение дискуссии заучиванию наизусть. Студенты мало читают, а если читают, то только учебники. Американская молодежь в большинстве не занимается сутками, как учились их родители или, что несколько странно вспоминать, как мы учились в Москве в пятидесятые годы. Грызут гранит науки по-настоящему недавние выходцы из Азии и, как результат, преуспевают. Поощряемая практика без меры менять университеты, переезжая из штата в штат и из страны в страну, тоже имеет свои серьезные дефекты.

Государство в государстве

Слова «кампус» нет в русских словарях (заглянул в несколько томов). Нет и по сей день, когда каких только слов не позаимствовали вроде дурацкого и ненужного «эксклюзивный» с легкой руки «Московских новостей». Перевод «campus – университетский городок» в последнем Оксфордском словаре 1993 года плохой, потому что университетский городок – это и то, что вокруг кампуса, а кампус – только сердцевина такого города. Русское «студгородок» тоже не раскрывает сути кампуса: это в основном общежития.

А нет слова кампус в жизни бывшей в употреблении одной шестой части планеты потому, что нет пока такой реалии. Без слова «кампус», составляющего важнейшую часть американской, а в будущем, несомненно, и русской жизни, не обойтись.

Слова пока в обиходе нет, но и российскому читателю, конечно же, ясно, что оно обозначает. Кампус, о котором идет

речь, – Дейвис, известный в мире под названием «ЮСи Дейвис», то есть University of California, Davis. Я читал лекции или встречался с читателями примерно в тридцати американских университетах, – кампусы сутью своей и схожи, и нет. О качестве и типичности Дейвиса говорит то, что он не лучший в Америке, но и не последний: он в числе первых сорока американских кампусов, а всего их свыше двух тысяч двухсот. К тому же из недавнего исследования вытекает, что Дейвис по ряду параметров входит в группу из пяти наиболее перспективных в смысле будущего развития: ему есть куда расти.

На берегу Тихого океана лежит тарелка – долина, окруженная горами, с идеальным климатом на дне. Дейвис в центре этой тарелки. Иностранцы пришли на территорию индейских аборигенов, постреляли их во время золотой лихорадки. Сейчас могилы тех и других бережно охраняются. Россия тоже, между прочим, целилась на Калифорнию. Крепость Форт Росс осталась как память, тщательно изучаемая славистами. У нас можно купить инвентарь и пытаться отмыывать золотой песочек по долинам горных рек, – есть такое хобби. Недалеко от нас Джек Лондон поселился в этой райской долине – жил в скромном доме, но рядом соорудил шикарный дворец. Остались стены, которые Лондон не успел достроить, и могила великого романиста.

Сюда, на чистое место, переместились европейцы и начали, в отличие от сегодняшних россиян, с нуля. Почти полтора века назад ферма превратилась в университет, и он выпускал по преимуществу агрономов. Башне Сило около ста лет. Когда-то это действительно была силосная башня, а теперь обслуживаемое студентами кафе-забегаловка, вернее, *заезжаловка*, где можно быстро, дешево и вкусно перекусить.

Университет давно стал наполовину гуманитарным, а остальное – медицинский (пятая школа в США по престижности), юридический, инженерный и прочие факультеты. Аграрные дисциплины сжались из-за ненужности в специалистах до самого минимума и занимаются больше охраной окружающей среды. Да еще вином: факультет виноделия в Дейвисе, расположенном в солнечной долине, на третьем месте в мире после двух французских школ, и корни (в буквальном смысле) отту-

да. Некоторые профессора в качестве хобби держат винные погреба, а осенью приглашают дегустировать.

Политически кампус – это республика, государство внутри государства. Во главе президент. В Дейвисе – канцлер, как в ФРГ, потому что мы – один из девяти кампусов системы Калифорнийского университета, одного из крупнейших в мире. В часе езды другой наш кампус – Беркли, в четырех часах – Санта Круз, в шести – ЭлЭй (Лос-Анджелесский). Кампус кажется стабильным, вечным. Старые здания, монументы, портреты основателей в залах придают ему такой вид.

На въезде в кампус современное здание с ярко-синей крышей. Оно построено только что, в разгар экономического кризиса для встреч выпускников, для абитуриентов и гостей. На строительство, как говорится, скинулись бывшие студенты, – те из них, кто сегодня занимают места на верхушке американской пирамиды.

Кампус – это город в городе: улицы, площади, парки, научные институты и лаборатории, концертный зал размером с Лужники, многоэтажные парковки, кино, театры, книгохранилища и архивы. Библиотеку имени Питера Шилдса считают одной из крупнейших в Северной Америке. В ней почти два с половиной миллиона томов, включая весомое собрание русских книг. Две коллекции имеют мировую ценность: книги о современном театре и романтическая поэзия. Кампус сказочно красив – в вековых деревьях, с огромной площадью для гуляний, ярмарок и демонстраций, круглый год в цветении.

Когда едешь по скоростной дороге, кампус обозначен как самостоятельный город. Внутри кампуса своя система транспорта. Для Дейвиса купили пару десятков двухэтажных автобусов в Лондоне, на палубе провезли через Атлантический и Тихий океаны и вверх по реке Сакраменто доставили сюда. Без специального разрешения внутри кампуса можно передвигаться только пешком и на велосипеде. На кампусе своя телефонная система, полиция, пожарные команды, общепит. На каждого служащего (включая меня) приходится в среднем три компьютера.

Кампус – муравейник. Тридцать тысяч велосипедов направляются к нему утром со всего города по проложенным через парки специальным дорожкам, через виадуки и тоннели

над и под улицами. Велосипеды обычные, одноколесные, как в цирке, трехколесные и для лежания во время езды – похожие на кровать с педалями. На велосипедах в Дейвисе едят, дремлют, целуются и, говорят, ухитряются зачать детей, хотя сам я этого не видел. Канцлер университета едет на велосипеде, а его секретарша, которая живет далеко, на «Мерседесе». Едут на занятия и на роликовых коньках (на них же выезжают и к доске), и на инвалидных колясках.

Идут лекции, и кампус кажется неживым. Перерыв – и муравейник зашевелился. Тысячи студентов и сотни преподавателей вываливаются на улицу, садятся на велосипеды и перемещаются в другие здания. Лихачей-велосипедистов штрафует полиция за превышение скорости, но за год три-четыре человека оказываются в госпитале. Через десять минут кампус опять замрет, и велосипедные воры получают возможность выбрать самые лучшие велосипеды, которые стоят дороже автомобиля. Но полиция бдит. Она же собирает в конце учебного года сотни брошенных велосипедов и за бесценок продает их на аукционе.

Кто платит, тот не заказывает музыки

Петуха кормят не только за то, что он кукарекает. Писателя держат в университете не только за то, что он пишет. Бернард Шоу как-то сказал: тот, кто способен, творит, кто не способен – учит. Тут считают иначе: кто не способен творить, тот не способен и учить. Знания и опыт из первых рук – это принцип. Но надо любить и уметь этим щедро делиться. Кто из писателей в России преподавал? Пушкин прочитал одну лекцию в Московском университете. Гоголь начал курс, заскучал и не справился. В Америке писатели (как и композиторы, и живописцы) – неперемнная и особо почитаемая частица так называемого академического персонала. Бернард Маламуд и Владимир Набоков – расхожие примеры. Биограф Сталина Роберт Такер, американский дипломат, которому отец всех народов с почтением, глядя снизу вверх, пожимал руку, преподавал политические науки. Романист и профессор Техасского университета Майкл Адамс даже написал учебник для студентов «Психика писателя и смысл сочинительства». Как делать дра-

му, у нас на кампусе учат известнейшие авторы мира: это входит в полугодовой ангажемент с ними.

Конечно, лекции именитых гостей стоят дорого. Курту Воннегуту, путешествующему с лекциями из кампуса в кампус, Дейвис заплатил 12 тысяч долларов за 50 минут. Но аудитория была – 12 тысяч студентов и преподавателей, а очереди с вопросами к двум микрофонам вытянулись на улицу.

Университет отрывает писателя от стола и от компьютера. Затягивается окончание книги, незаписанные хорошие мысли (а их не так много) вылетают устно во время лекции, но я люблю весь это процесс. Интересно при этом, что никто не предлагает вам программ курсов лекций и приветствуется новая тематика и новые подходы.

На семинаре по русскому фольклору анализировалось популярное отечественное выражение со словом «мать». Как известно, на чужом языке слушать и произносить брань легко. Но на письменном экзамене выражение это вместе с синонимами требовалось перевести на родной английский, и студентка заявила профессору, что мама ей не разрешает писать такие слова.

– Это ж факт русского быта, – спокойно возразил преподаватель, всемирно известный, между прочим, славист.

Отец девочки оказался крупным чиновником в правительстве штата Калифорния. Он поднял хай на солидном и принципиальном уровне: дескать, чем занимается наша высшая школа, на которую мы отпускаем такие огромные деньги, с трудом вырванные у налогоплательщика в такие экономически трудные времена? Скандал кончился ничем, ибо профессор, не оправдываясь, произнес в ответ два магических слова: академическая свобода.

Свобода, которая в данном контексте именуется академической, на кампусе на первом месте. Администрация университета не может затронуть право профессора исследовать и преподавать то, что он лично считает нужным. Если никакое издательство не согласится издавать спорную, заумную, глупую, бесполезную или даже вредную книгу профессора Икса, университет выделит деньги автору на ее выпуск, не вникая в суть излагаемых доктрин. В этом есть свои плюсы и, конечно, свои минусы, но принцип академической свободы неколебим.

Кстати, уж раз я коснулся матерной темы в связи с академической свободой, спрошу: как вы считаете, важно или нет американским студентам знать русскую ненормативную лексику? У меня был один аспирант, в прошлом военный, который служил в Европе на радиоперехвате разговоров советских военных летчиков между собой и с их наземными службами. Русскую матерщину этот интеллигентный американский мальчик знал лучше меня и объяснял тем, что восемьдесят процентов, если не больше, лексикона советских летчиков составляли выражения из известного американского Словаря русской брани (Dictionary of Russian Obscenities).

Выходит, американцам стратегические планы России без матерщины не понять. Так что же, учить в университете будущих журналистов, дипломатов, политологов, экономистов и, тем более, бизнесменов, собирающихся иметь дело с Россией, ненормативной лексике или не учить? Должны они понимать, куда партнеры посылают друг друга на переговорах?

Свобода преподавания... За шесть лет в Дейвисе никто из администрации не посетил ни моих лекций, ни лекций моих коллег, хотя можно попросить придти к вам даже с видеокамерой, если вы нуждаетесь в совете, как улучшить процесс. Так же свободен и студент в выборе курсов. На неинтересные – не идет, даже если они полезны.

Свобода – и вот, скажем, феминизм заполнил все пустые ячейки, вытесняя другие темы: женская литература – отдельно по всем странам и расам, женская психология, роль женщины в археологии и в самолетостроении, в борьбе за и против в том или ином периоде истории. Для чего женщин нужно во всем выделить из традиционного изучения человека вообще? Зачем делить журналистику, кино, театр на женский и мужской, как туалеты? Если спрашиваешь о целесообразности, ты политически некорректен. Но вообще-то часто дело просто в моде, и со временем этот перекосяс отрегулируется сам собой.

Идеальный пример вольности на кампусе – советология. Много написано про университетских левых, социалистов, марксистов, тех, кто защищал режим Ленина и Сталина, пионерскую организацию и трудовые лагеря, а заодно и коммунизм как светлое будущее Америки. Недавно читал статью уважаемого мною писателя под названием «Берегись совето-

логов!»), где говорится о вреде этих профессоров как консультантов. Но и название, и сама статья получились односторонние: ведь в то же время в тех же университетских издательствах выходили книги противоположных взглядов, которые мы в Москве в мрачное время конспектировали по ночам. Были кампусы с левизной (Беркли) и правые (Дейвис), но и там, и там была и есть свобода полемики, в которой открыто говорится и пишется всё. Были массы левых студентов – а сейчас многие студенты выступают против комсомольских замашек американского президента. Нравится это кому-нибудь или нет, но считать огулом всех американских советологов левыми, как делает автор статьи «Берегись советологов!» (и не он один), несправедливо.

Чудесным образом, качаясь влево и вправо, от пользы к бесполезности, занимаясь актуальным и ненужным, американская университетская наука движется вперед. Запретите перекосы, кто-то окажется уполномоченным решать, что нужно и что нет, – и будет знакомая нам, бывшим советским людям, единственно правильная и глубоко порочная система.

За счет будущего

Может быть, основной парадокс американского университета, насколько я понимаю, состоит в том, что это, как ни странно, одновременно очень мобильная и очень стабильная организация. Кампус постоянно совершенствуется каким-то естественным образом, но в нем очень трудно что-либо изменить усилием воли даже могучих и влиятельных умов. В Америке вообще трудно что-либо сделать централизованно: внедрить метрическую систему, провести реформу здравоохранения или образования. Единственное, что быстро происходит, – поступление денег. Или – их отток.

Университеты в последние годы стали беднее. Раньше выделялись огромные суммы специально для приглашения Нобелевских лауреатов во всех областях. Теперь идет утечка видных специалистов: врачей, адвокатов, физиков, которые в фирмах получают вдвое больше. Мой приятель, популярный телеценарист, женившийся, между прочим, на талантливой актрисе из МХАТа, уехал из Дейвиса вместе с женой обратно в Голливуд: заработки несоизмеримые.

Кампус питают три источника: пожертвования частных лиц, плата за обучение и финансирование штатом Калифорния. На специальные исследования деньги идут отдельно по контрактам. С первым и вторым родниками более-менее ясно. Первый источник весомый: не случайно здания на кампусе носят имена жертвователей. Это добрая американская традиция – вкладывать деньги в образование, строить университетские кампусы, поддерживать свою Альма Матер. Возвести многоэтажное здание, перевязать ленточкой и подарить. Второй источник – студенческая плата – сравнительно небольшой, и эти деньги по закону запрещено расходовать на оплату преподавателей, чтобы не было щекотливой зависимости типа: я заплатил и за это хочу получить хорошую оценку.

Ситуация наиболее аховая с третьим источником, ибо он основной, бюджетный. Остряки шутят, что в Калифорнии есть два типа землетрясения: трясет землю и – казну. Но землю – время от времени, а казну постоянно. Казна же колеблет систему образования. Что если могучий экономический спад разрушит кампусы совсем? Ответ на этот раз однозначен: тогда мы нестройными рядами придем к окончательной победе первобытного общества.

Опасность есть: депрессия начала девяностых соизмерима с той, которая была в тридцатые. Четыре года Калифорния стонет от сорокамиллиардного дефицита. Причины: закрытие военной промышленности и военных баз, а также миллионный наплыв эмигрантов. Расходы кампусов растут быстрее доходов штата. Мудрецы из политиков, частью сами недоучки, обнаружили близко лежащий источник для пополнения казны: сокращение системы образования. Басня «Свинья под дубом» начала было реализовываться на кампусах. В университетах сократились не только военные исследования, но и такие темы, как космос, спид, электрический автомобиль. Повысилась плата за обучение, урезались зарплаты, сжались спортивные программы, закупка книг и подписка на иностранные журналы для библиотек, убавилось число студентов. Зазвучали речи: «Мы дошли до красной черты», «Начинаем жить за счет будущего».

Денег на кампусе не хватает, но у наследников богатого местного землевладельца для расширения университета в бу-

дущем купили землю, равную трети нынешнего кампуса, которая пока что пустует. Только что возвели новую многоэтажную стоянку для машин преподавателей. Строят гигантское здание гуманитарных факультетов. Собираются возводить стадион (их уже есть несколько). Все это делается с дальним прицелом, делается умно, ибо, похоже, что виден свет в конце тоннеля. Но тревожные вопросы о содержании и качестве обучения не отпадут с улучшением бюджета. Скорее наоборот – обострятся.

Хорошо ли, что американцу любого возраста попасть на кампус теперь легко? Практически записаться можно через компьютерную систему. Поступают сразу в несколько университетов и потом выбирают. Специализации в первые годы обучения нет, нет и обязательных курсов, лишь их количество. Исправляя слабые стороны средней школы (об упадке которой должен быть особый разговор), университет пытается поднять культурный уровень новоиспеченных студентов. Они обязаны прослушать несколько курсов «джи-и» – General Education, то есть – для общего образования. Я тоже читаю раз или два в год такие курсы, например, «Писатель и цензура в России» или «Современная российская цивилизация». Собирается человек семьдесят пять. Количество курсов обязательно для каждого, а тема – по выбору. И тут их выбирают для удовольствия, из-за той же моды. В моде сейчас курсы по археологии, трудно сказать, почему. Но самым популярным у нас на кампусе был курс (или попкурс?) «Биография Моцарта» – в классе 800 студентов. Тут уж не до глубоких знаний. И вообще: почему университет должен латать дыры средней школы?

Учиться в университете стало не трудно, даже если приходится одновременно зарабатывать деньги на учебу мытьем посуды в ресторане или покраской домов. Целеустремленные студенты все еще есть, но, мягко говоря, далеко не все таковы. Формула «Жизнь – для удовольствия» так въелась в последние поколения американцев, что грозит деградацией нации. На вопрос: «Зачем вам русский язык?» – девушка на собеседовании отвечает с открытостью, свойственной американцам вообще: «Чтобы на тусовке сказать молодым людям что-нибудь эдакое».

Читаю общеобразовательный курс и вижу там и сям туповатые лица, которым ничего не интересно. Их будущая оценка написана у них на лбу. А статистика такова: 34 процента поступивших в университет студентов отсеиваются в течение первых двух лет. Не вытягивают. На 22 900 студентов в Дейвисе это много. Но я преподавал в Техасском университете – там на 42 000 студентов отсеив 40 процентов.

Для тотальной системы образования, которая была в Советском Союзе, такое немыслимо. Это выброшенные государством деньги и недовыпущенные с конвейера роты врачей и батальоны инженеров. Здесь другой принцип: одни учатся просто так, без цели, чтобы провести время. У других уже есть профессия, и они хотят ее сменить. Третьи приходят, чтобы расширить кругозор. Возраст любой. У меня была студентка, которой исполнилось 77 лет. Большинство школьников идет в университеты, то есть учатся лишние год, два, а то и три. Не потянут – будут работать продавцами, или работягами на заводе, или официантами. Да, говорят защитники отсева, эти не подобрали такого яблока, какое нашел Ньютон, но они попробовали это сделать. Недоучки вдохнули запах науки в лабораториях, библиотеке, послушали интеллектуальные споры на кампусе, попробовали иностранные языки, общались со студентами многих стран.

А теперь умножьте почти 8 тысяч бросивших университет в Дейвисе на две тысячи двести университетов и колледжей Америки. Образование и общая культура американской нации повышаются. Впрочем, таким молодым людям лучше бы сразу идти в государственные колледжи, то есть в техникумы, попытаться их закончить. Но – свобода, и они попадают в престижный университет.

Образование все еще ценится в американском обществе, хотя и не так, как раньше. Сертификат, то есть, кроме диплома об образовании, разрешение на право практиковать в данной профессии, в Калифорнии требуется для всего, в том числе для парикмахера, стригущего собак. В какой офис ни войди, на стене в рамке диплом, а чаще несколько. В кафе, где я покупаю торт для гостей, висит документ хозяина об окончании кондитерской академии в Вене. А рядом – свидетельство его жены, балерины из Нью-Йорка. Купить поддельный дип-

лом, как это принято в некоторых странах? Слышал как-то, что в Техасе ленивые детки богатых родителей нанимают себе двойников, которые учатся вместо них под их именами. Честно учатся несколько лет, получают настоящий диплом со степенью бакалавра и... с фамилией оплатившего их учение. Разумеется, это уголовно наказуемо. Но ведь, кроме того, в Америке, в отличие от некоторых других стран, невыгодно работать без знаний. Получается, что человек с «корочками» и пустой головой обкрадывает собственное будущее.

Встречное движение

Я состою в комиссии, которая отбирает студентов для обмена между университетами разных стран. Впрочем, заплатив за поездку дороже, могут ехать и те, кого забраковали. Но сами. Обмен со странами СНГ такой: мы посылаем – мы платим, к нам посылают – тоже мы платим. Это невыгодно, и официальный обмен с этими странами пока что сокращается.

Гуманитарная часть университета выросла до одиннадцати тысяч студентов, а работа для них становится все более проблематичной: дипломатов, журналистов, политологов, психологов в Америке перебор. Некоторые готовы ехать в любую страну. Была у нас студентка, которая готовилась преподавать русский язык в американской школе.

– Мой любимый писатель Гоголь, – говорила она мне. – Я читаю повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Кефириновичем.

– Никифоровичем, – механически поправляю я.

– Конечно, вы правы: Иван Иванович с Иваном Некефириновичем.

Русский у нее к концу университета стал хорошим, а работу не нашла. Только что я получил от нее письмо. Специалистка по русскому языку, она преподает английский в глухом узбекском кишлаке, русский позабыла, учит узбекский, счастлива.

Сегодня тысячи российских энтузиастов, желающих здесь учиться, учить или заниматься исследованиями, пытаются взять штурмом американские университеты. Разумеется, самыми про-

бойными оказываются детишки той же бывшей (впрочем, почему же бывшей?) партийно-гебешной элиты: у них и деньги, и связи, и английский лучше, и нахрапистость наследственная. Одна моя студентка поехала в Москву туристкой. Вернулась, сразу начала учить русский. А вскоре привела ко мне на лекцию по истории русской цензуры бойфренда, которого обрела там. Мальчик с факультета журналистики МГУ, он быстро пристроился здесь.

– Интересно, как КГБ манипулировало прессой, – похвалил он лекцию. – Я многого не знал, а ведь у меня папа – начальник главного управления.

Вскоре, как радостно сообщила мне эта студентка, появился и папа, заведующий русскими шпионами. Приехал в качестве нового российского бизнесмена проследить, как окопался сын. Но есть действительно талантливые люди, уникальные профессионалы, и я хорошо понимаю их желание жить в Америке. Десятилетиями кампусы этого континента пополнялись за счет утечки мозгов из других стран. Это продолжается и сейчас, но предложение значительно превышает возможности.

Американское высшее образование, несмотря на все изъяны, остается одним из самых престижных в мире. Говорят, оно хуже японского или немецкого. Но в Америку приезжает больше японских и немецких студентов, чем американцев в Японию или Германию. Часть иностранцев притягивают более высокие стандарты жизни, других – высокие технологии, третьих легендарные избытки свободы. Свобода учить и учиться, однако, на американском кампусе конца XX века достигла, на мой взгляд, критической точки. И тут не избежать сакраментального вопроса: что делать? У меня нет ответа. Вернее, то, что предлагаю, многим покажется неприемлемым.

Умеренный консерватизм есть неотъемлемая черта академического образования, да и вообще системы образования как таковой. Сделать бы так, чтобы свободы стало чуть меньше, а обязательного и вечно важного больше. Это привело бы к глубине и качеству высшего образования. Как при этом не повторить ошибок тоталитарных образовательных систем именно в то время, когда в тех странах хотят избавиться от идеологического диктата и равняются на Америку? Это вопрос процедуры. А в целом, мне кажется, если бывшему советскому и

восточно-европейскому вузу предстоит для прогресса сделать два шага вперед, не мешало бы американскому кампусу сделать шаг назад.

1994, Дейвис.

КАК МЕНЯ РЕДАКТИРОВАЛИ

Недавно, выходя в Москве из метро, встретил знакомую. До пенсии (если это можно там теперь называть пенсией) она работала в том самом издательстве, о котором пойдет речь чуть ниже.

– Вам привет от В., – вспомнила она.

– А разве он жив еще?

– И здоров. Недавно поймал меня за рукав на улице. Консультирует какую-то секретную структуру. Говорил, что следит за тем, что вы пишете. Зря, сказал он, вы в своем романе издеваетесь над органами: они обид не прощают.

– Неужели он это серьезно? Ведь сейчас...

– Я только повторила, без комментария. Советовал сочинять осторожнее. Вы ведь его помните.

По полутемной улице я брел, невольно оглядываясь. В. сразу явился в моей памяти из сигаретного дыма.

* * *

Неприятно искать оправданий собственной слабости: перед читателем стыдно. В общем, не следовало бы все рассказывать. Но это случилось давно, и если уж прошлое держать в тайне, о чем тогда вообще писать?

С этим московским издательством у меня были добрые отношения и договор. Тема, хотя и названная туманно, стояла в плане, а план выполняли не только для рапорта, но и для

получения прогрессивки. Автор обязан был сдать рукопись вовремя, хоть кровь из носу. Я уехал на два месяца в Дом творчества, работал от темна до темна и вручил машинописный экземпляр главному редактору.

Не повезло сразу же: моим редактором назначили В., усталого человека лет пятидесяти пяти, в черном костюме и таком же галстуке с засаленным узлом. Сам он и воздух вокруг него пропитались удушающим сигаретным дымом. И еще от него пахло провинцией, не объяснить, как именно.

У нас с ним уже был опыт общения. Говорил он вкрадчиво, глядя мимо, а ладонями водил по столу, сгребая пепел. Большую часть рабочего дня он стоял в темном коридоре и курил. Год назад в свободное от курения время он отредактировал мою книгу «Спрашивайте, мальчишки»: резал пополам страницы рукописи и вклеивал туда цитаты Маркса и Ленина из сборника «В мире мудрых мыслей».

– Без этого звучит аполитично, – тихо разъяснял он. – Нужен фундамент.

– Дело не цитатах, а в духе, – тогда возразил я.

– Дух надо подкреплять цитатами. Не помешает!

В ту книгу он врезал, кажется, только три цитаты – в начало, середину и конец. Теперь В. скосил глаза на папку с рукописью, как бы оценивая качество романа по объему и подсчитывая количество цитат из вождей, которое придется вклеивать. Затем, поставив рядом с папкой вертикально сигарету, как линейку, он смерил толщину.

– Что ж, поглядим, – сказал он.

На самом деле он решил сперва дать поглядеть другим. Поскольку там упоминалась школа, рукопись ушла на внутреннюю рецензию в Академию педагогических наук. Месяца через три оттуда пришел вежливый ответ на нескольких страницах. Говорилось, что автор очень интересно рассказывает о жизни вообще и о работе уголовного розыска, но, к сожалению, ничего не понимает в педагогике. В чем выражается непонимание, не объяснялось. Однако в тех местах, где критиковалась педагогика или в смешном виде описывались учителя, стояли на полях жирные вопросительные знаки, иногда подкрепленные восклицательными.

Получив такую рецензию из педагогического ведомства, В., человек объективный, послал роман на проверку в Министерство внутренних дел. Там, как следовало из присланной через месяц рецензии, были довольны педагогическими вопросами, затронутыми в романе, но определили, что автор не знает специфики работы советской милиции.

– Ну, как быть? – спросил редактор, держа в руках обе рецензии.

Неужели он пошлет рукопись в некое Третье место, в котором из намеков и, как выражаются цензоры, неконтролируемых ассоциаций сделают такие выводы, до которых и сам автор не додумался? Увидев мое замешательство, В. ответил на свой вопрос неожиданно просто и смело:

– Теперь они нам развязали руки. Поработаем!

– Может, я сам попробую подумать, что и как?

– Нечего тут думать! Вы будете жалеть свой текст и только время потратите. Основу я возьму на себя.

Вспоминаю этот момент теперь, и мне чудится, что большие портновские ножницы, которые лежали на его столе, подпрыгнули и весело лязгнули. Это – преувеличение. Ножницы лежали тогда равнодушно. Но именно этот музыкальный инструмент редактор имел в виду, сказав «поработаем». Через месяц он позвонил и просил срочно приехать. Он курил в коридоре и, увидев меня, сразу сообщил, что я заставил его попотеть, но основная работа закончена.

– И каков результат? – с тревогой спросил я.

Он молча прошел к столу и придвинул папку. Рукопись похудела на добрую треть.

– Намааялся я с ней. Но теперь стало чище. Почти все, не совсем правильное, непонятное и двусмысленное я уже убрал. Роман стал значительно стройней, но мешают еще оставшиеся орехи.

В. медленно листал страницы, позволяя прочесть его замечания на полях, там, где он сам еще не вырезал.

– Тут уж вам карты в руки, все-таки вы – автор. Забирайте рукопись и действуйте по моим указаниям. Причем быстро. Время поджидает, надо сдавать в производство.

– Сколько же вы мне даете времени?

– Дня три, не больше.

Я стал было возражать, но он похлопал меня по плечу.

– Ладно-ладно, подумайте, а после решим...

После, просматривая дома текст, я насчитал двести пятьдесят одно изъятие из рукописи, в иных местах добавки, меняющие смысл.

«Слова «бог», «ей-богу», «молиться» и пр. – пережитки. Их надо искоренять из языка», – читал я на полях.

«Заменить фамилии, очень грубые для работников милиции».

«Зачем учительнице учиться пить водку?»

«У вас плохой отец. Но он ведь коммунист! Или убрать, что плохой отец, или – что коммунист».

И так далее...

Дома я швырнул рукопись под диван и старался о ней забыть. Через неделю В. позвонил.

– Закончили? Сроки-то прошли... Ну, вот что: берите рукопись и приезжайте. Вместе будет веселей.

Не знаю, почему он сказал «веселей». Ни разу не видел, чтобы он хотя б улыбнулся. Строгость была частью его натуры. Знакомая из того же издательства рассказала, что в сталинские времена он служил в НКВД и был большим шишкой в дальневосточном Гулаге. Редактор из соседней комнаты, мой бывший однокашник, шепнул по секрету, что В. однажды перебрал на редакционной пьянке и стал чересчур резво хлопать женский персонал по попкам. Директор издательства пожурил его, а В. огрызнулся:

– Да заткнись ты! Я в лагере гарем держал. Вызывал по одной для воспитательной беседы, а кончив мужское дело, любил затянуться и потом сигарету об ее белую грудь гасил. А тут и шлепнуть нельзя. Вы у меня допрыгаетесь!

И директор проглотил угрозу, отошел.

Когда лагеря сворачивали, В. направили служить редактором газеты в Магадане, откуда его поперли, якобы за то, что не сработался с обкомом. Назначили сюда, и все боялись с ним связываться. Получал он скромную зарплату старшего редактора в добавку к персональной пенсии и работал не халтуря. Однажды, указывая в окно (наискосок от издательства, в отдалении, было расположено историческое здание Пыточного двора, в обиходе именуемое Лубянской), В. сказал:

– Там дела посерьезней.

И вздохнул. Ему нельзя было не посочувствовать. Сейчас он снова вел следствие. Подсудимым был мой роман. А преступник, то есть, автор, пока оставался на свободе.

Мы принялись за дело, следователь и подследственный, судья и подсудимый, палач и жертва, рука об руку. Конечно, он курил, а я давно бросил, и он окутывал меня дымом, в котором тонула бедная моя рукопись. Потом он вдавливал сигарету в пепельницу, стоящую на рукописи, так, что, казалось, прожжет пепельницу и текст.

Замечание о слове Бог (Бог он писал, конечно, с маленькой буквы) относилось к следующей фразе: «Вика произносила слова, как заклинания, и молилась в надежде, что ее услышит, если не Бог, так хоть Бугаев, министр гражданской авиации».

– Давайте уберем бога. В сущности, он тут и не нужен.

– Уберем, – согласился я. – Если вы настаиваете.

– И поскольку мы бога убираем, слово «молилась» теперь, конечно, тоже ни к чему.

– А что останется? «Вика произносила слова, как заклинание, в надежде, что ее услышит Бугаев, министр гражданской авиации»...

– Знаете что? Зачем попусту трепать имя члена правительства? К тому ж Бугаев был раньше знаете кем? – В. повел глазами на потолок и, помолчав для солидности, раскрыл государственную тайну. – Бугаев был личным летчиком Леонида Ильича. Это необходимо учитывать. Уберем имя, поскольку ни с кем не согласовано.

– Уберем! – радостно согласился я, входя в атмосферу творческого подъема. – Краткость, по Чехову, сестра таланта. Что у нас от фразы осталось? «Вика произносила слова, как заклинание».

– За-кли-на-ние, – задумчиво повторил он. – Знаете, в этом тоже мистика какая-то... Есть планы, решения, убеждения, призывы, а заклинание – это не из нашего ряда...

– Уберем всю фразу! – смело предложил я.

– Это будет самое мудрое решение, – и В. поддел указательным пальцем ножницы.

Ззз-ик! Звук тот у меня в ушах до сих пор.

Медленно, но уверенно мы двигались вперед. Вычеркивали все, что касалось намеков на политику («Зачем вам в это лезть? Не это главное в романе».) Перед тем как что-то изъять, он обязательно уточнял со мной: что именно я имел в виду в каждом показавшемся ему подозрительным месте. Само собой, я врал, что ничего не имел в виду, но он все равно вырезал, на всякий случай.

Вслед за политикой рубили личные отношения и, тем более, секс. Не то чтобы прямо сексуальные сцены, этого там не было, – я же понимал, куда сдаю роман. Но человеческие отношения между мужчиной и женщиной он рассматривал с подозрением. Зоркости его взгляда можно было позавидовать.

– «Он взял ее за локоть», – медленно, со вкусом читал он. – А вы уверены, что читатель нам поверит, что он ее взял именно за локоть?

– Ну, а за что еще?

– Ну, мало ли... – пошевелив губами, пробурчал он. – Вымараем от греха подальше.

Все это делалось не за один заход, а постепенно, по чуть-чуть. Автора сгибали, ставили на колени, потом положили на асфальт и проехали по нему катком, потом подтащили к дверям издательства и вытирали об него ноги вместо половика.

Именно такое чувство у меня было, когда В. сказал:

– Ну, а теперь поговорим по сути. Что же у вас получается? Молодой человек, ваш главный герой, кончает самоубийством. И перед нами проходит вереница людей, его окружавших: учителя, директор школы, его одноклассники, приятели со двора, девушка, в которую он влюблен, милиция и даже какой-то таинственный человек в штатском... И получается, что все они виноваты в том, что он покончил самоубийством. А особенно, *че-ло-век в штат-ском*, так или не так?

– Видите ли, – замялся я, не зная, что возразить, ведь он довольно точно просёк суть, которую я тщательно камуфлировал.

– Я вам больше скажу, – продолжал он. – Компетентный читатель сразу почувствует, что виновата система. Улавливаете мою мысль? За такой подход нас с вами не только по головкам не поглядят, а наоборот, могут головки наши побрить.

Первый раз за всю историю наших взаимоотношений он хихикнул и сделал это как-то нехорошо.

– Молчите? Так вот, берите рукопись на денёк домой и превратите самоубийство в убийство хулиганами. Это все-таки лучше. Милиция хулиганов найдет, и все пропорции в романе будут соблюдены. Кстати, этого человека в штатском, который перед самоубийством вашего героя с ним зачем-то встречался, тоже уберите. Так примитивно не вербуют, – вы ведь на это хотели намекнуть? Или вы желаете, чтобы мы послали на еще одну рецензию – туда? И вообще, я поинтересовался и получил компетентный ответ, что самоубийство у нас – явление нетипичное, стало быть, и предметом литературы оно не является. Значит, договорились? Действуйте! Только то, что вычеркиваете, не вырезайте, оставьте мне, дабы я видел, что именно у вас было, и как стало.

Процесс подготовки романа к печати неумолимо катился к развязке. Меня удивляло только, почему названия редактор не касался. Я уже стал было думать, что оно так и останется: «Из сих птиц...»

– А почему тут точки стоят? – когда мы доехали до конца рукописи, он, перевернув ее, ткнул пальцем в первую страницу. – Вы чего замялись? Скажу...

Неужели он знает? Вот уж не подумал бы, что он когда-нибудь такое читал!

– Скажу, – повторил он. – Точки вы поставили, поскольку понимали, что это непроходимо. Ведь название-то взято из Библии: «Из сих птиц одну в жертву». Так? Сам бы я не догадался, но мне сын подсказал. Уж не знаю, где он этого нахватался...

В. торжественно смотрел на меня, не отводя глаз.

– Молчите? Что же вам сказать, когда вы приперты к стене? Ну, да ладно, я же не монстр какой-нибудь. Мы – люди современные. И Библию можно читать, если правильно понимать. Но в данном случае речь идет о массовом издании, и название надо не мрачное, а... спокойное, что ли... Подумайте, потом обсудим.

Дома я нашел список названий. У меня их всегда накапливается с полсотни, а то и сотни две, пока книга пишется, и я названия собираю, пока не подберется лучшее. Теперь такой

момент настал, только задача состояла в том, чтобы выбрать нечто похуже.

– А вот «Подожди до шестнадцати», – сразу ухватился В. – Чем не название? Остановимся? И не чужое – вы сами придумали...

Надо быть справедливым. За время нашей долгой совместной работы В. нашел в моей рукописи несколько описок и пару ошибок и без назиданий поправил их.

Читатель будет удивлен, а может, и возмущен. Если автор такой принципиальный, почему он просто не забрал рукопись, когда надругательство только началось? И читатель будет прав. Читатель всегда свято прав, а автор всегда виновен, и этот закон действовал во всем мире, но не в Советском Союзе. У нас, если вещь одобрена сверху, читатель уже больше прав быть не может. Прав исключительно одобренный автор, а читатель виноват в том, что не правильно его понял. Для этого-то автора и поправляют, чтобы его одобрить. Кто не подвергнется исправлениям, автором быть не может. А я хотел остаться автором, продолжать писать и печататься.

Только это мне теперь и остается сказать в свое оправдание. Я рассказываю, как было дело, а не как должно было бы быть, в случае если бы я оказался тогда более решительным, отчаянным, смелым, твердым и благородным. Я хотел бы подыскать противоположный пример, но редко встретится на этом свете писатель, который не пойдет на жертвы, лишь бы дожидаться встречи с читателем, которому (писатель до последнего вымарывания надеется) хоть что-нибудь да останется.

Ведь он, интеллигентный читатель, схватит с полуслова, ему только букровку оставь! Он согласен быть виноватым в том, что неправильно понял написанное, только бы нашлось для него, для изголодавшегося, что-нибудь неправильное. Поэтому мамонты русской литературы, которые давно вымерли, учили нас не только писать, но и вычеркивать, говорить не только «нет», но и «да», ибо наша жизнь – это десять, и сто, и тысяча компромиссов на один маленький захудалый взлетик.

Что делал редактор В. с моей рукописью дальше, я не знал, потому что мы все-таки поссорились. Я уперся в какой-то несущественной мелочи, исчерпав до дна свою жертвенность.

– Всему есть предел, – сказал я и ушел.

Одумавшись, я понял: предела нет. Он позвонил. Все, что надо, он сам уже выкинул и просил только уточнить, не реакционер ли Шлихтер, памятник которому упоминается в романе.

– Фамилия какая-то странная, – прибавил он.

Через полчаса я перезвонил ему и сказал, что связался с горкомом партии. Там разъяснили, что раз уж они разрешили памятник Шлихтеру оставить, когда кладбище сравнивали с землей, то, значит, им бдительность издательства не нужна. Никуда я не звонил, но такой поворот успокоил В.

Мой редактор часто работал дома, возможно, там у него были ножницы еще большего размера, а то и топор для разделки мясных туш, который использовался для редактирования.

Книга через год вышла. Получив авторский экземпляр, я начал читать ее. Изменено было все, одно имя автора каким-то образом случайно уцелело. А ведь могли имя тоже заменить или вовсе убрать. И было бы даже лучше: не так стыдно, по крайней мере. Во мне боролись негодование, равнодушие, брезгливость и прочие чувства. Ни штриха радости, которая подогрывается запахом типографской краски. Первым желанием, когда я кончил читать, было бросить роман на пол и топтать, топтать, топтать, чтобы превратить бумагу в пыль. Но это был один экземпляр из пятидесяти тысяч таких же, которые я растоптать не мог, даже если бы захотел.

Некоторое время спустя, не помню уже зачем, зашел я в издательство.

– Да вы разве не слышали? – удивилась секретарша редакции. – В. больше у нас не работает. Подкосило его.

– В каком смысле?

– Ушел на пенсию. От несчастья: сына похоронил.

– Сына? А что случилось?

– Самоубийством кончил. Отца ненавидел, говорил, что такие, как он, во всем виноваты. Тыща и одна ночь. А подробностей я не знаю.

Вот так дела...

Я понятия не имел, читал или не читал сын В. куски романа именно об этом, тщательно вырезанные дома отцом. Самоубийство произошло такое же, но, может, все-таки это было случайное совпадение?

Значит, В. жив, здоров и консультирует секретную структуру, размышлял я, бредя по улице.

Теперь, рассказывая это, утаил я от вас только одну деталь. Со старой редакторшей мы отошли от метро в сторонку и еще немножко поговорили про В. Расставаясь, я поцеловал ее. Глаза у нее блеснули и опять погасли. Вдруг она закусила губу и решительно произнесла:

– Вы далеко живете, не здесь. Так вот, чтоб вы нашу жизнь лучше понимали.

И она вдруг быстро расстегнула две пуговицы на черной кофточке и показала мне грудь. Возле соска темнело бурое пятно размером с копейку.

– Я не знал, что вы сидели, – сказал я в смущении, чтобы что-нибудь сказать.

Нечто похожее на усмешку проскользнуло по ее морщинистому, без капли косметики, лицу.

– Восемь лет. В том самом лагере на Колыме, где он был начальником. Я тогда прехорошенькая была.

– Как же вы могли потом вместе работать? – вопрос был глупый, но как-то сам собой вырвался.

– А как вся страна с ними живет? – не обиделась она. – Не говорю про раньше – теперь! Что же мне – убить его? Я слабая, сама еле дышу. Да ведь они сейчас везде между нами, только притворились нормальными. Может, и вправду ждут своего часа?

1974-94.

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ И ПОСЛЕ

Воспоминания

Наши пути скрестились, когда он уже был кинознаменитостью.

В отличие от Смоктуновского или, к примеру, Плятта – актеров для интеллигентного или, скажем шире, образованного зрителя, Крамарова знали все. В детском саду строили рожи, повторяя его экранные гримасы. Пенсионеры, забивающие «козла» под кустом сирени, употребляли выражения, запущенные им в атмосферу с экрана. К перелому своей жизни в конце семидесятых он снялся в сорока двух лентах. Он был в зените советской славы и готовился ко всемирной.

Если в вагон метро войдет Лев Толстой или даже Иисус Христос, москвичи вряд ли обратят внимание. А когда входил Крамаров, взгляды сосредоточивались на нем. Через минуту подскакивал какой-нибудь матросик или стильная девица, прося автограф. Савелий мгновенно рисовал свой профиль – абрис был отшлифован годами.

Он любил демонстрировать свою славу. Останавливался возле сопливого мальчика в скверике и спрашивал:

– Кто я?

И через секунду, растягивая рот в улыбке, тот произносил:

– Ты Крамаров.

Очередной инспектор ГАИ, остановив его, вдруг начинал смеяться:

– Не надо документов! Контрамарочку на просмотр для жены можно получить?

И отпуская с миром.

Уже будучи отказниками, мы поехали в Пярну: в Москве шли шмоны перед Олимпийскими играми. Через два дня в гостиницу явился начальник ракетной части, дислоцированной на закрытом для смертных острове Саарема.

– Товарищ Крамаров, – стоя в дверном косяке и отдавая честь, начал он издалека. – Не надо ли вам чего?

– Проси засунуть тебя в ракету и послать в Нью-Йорк, – шепнул я.

– Телевизора в номере нету, – пожаловался Савелий.

– Установим! Мебель новую завезем. Вы только не откажите выступить у нас в части перед офицерами. Вертолет пришло в шесть ноль-ноль.

Выступления его к тому времени прекратились, честолюбие требовало пищи, Савелий согласился. До шести вечера мне удалось его убедить не лезть ради горячих аплодисментов в петлю ледяной секретности.

Режиссер Юрий Завадский сказал мне как-то: «Актёр есть человек, который говорит чужие слова не своим голосом». Если это справедливо, то относится к Крамарову ровно на пятьдесят процентов: он говорил чужие слова собственным голосом, и в этом состояли его достоверность и обаяние. Но, конечно, он говорил чужие слова, своих у него и не водилось. Он был катастрофически необразован. Грамотно он не мог написать двух строк. Ничего не читал, кроме рецензий на себя. Стены в его московской квартире были оклеены вырезками из киножурналов, про него писавших.

Этот «чукча-нечитатель» в жизни не прочел ни одной книги и хвалился, что сумел избежать учебников, будучи студентом Лесотехнического института. Он обожал своего друга Жванецкого, потому что его можно не читать, а слушать. Книгу, которую я ему подарил, на следующий день увидел в квартире у его подруги: он выскреб мою надпись и наказывал свою. Я спросил:

– Зачем?

– Книжки, старик, покрываются пылью, – назидательно сказал он.

Откуда он это узнал, если книг у него не было? Впрочем, одну я заставил его прочесть, когда мы затеяли некую игру. Это была самиздатная рукопись «Как вести себя на допросах в КГБ».

Почему он решил эмигрировать? Не у многих была такая серьезная причина, как у него. Хотя я вовсе не уверен, что сам он ее осознавал.

– Про тебя написал Апдайк, – сказал я ему. – «Цели наши, которых мы достигаем, навевают на нас скуку».

– Кто это – Апдайк?

– Твой будущий соотечественник.

При своих скромных потребностях и не будучи напрямую вовлечен в идеологию (клоун – что с него взять?), Крамаров имел все, что мог желать так называемый «представитель творческой интеллигенции». Его юмор был доступен наверху. Оставались депутатство в Верховном Совете да звезда Героя труда, но он был человеком социально выключенным. Только в своем амплу актером он был прирожденным и ничего другого делать не мог.

И вот союзная слава перестала улаживать самолюбие. Он подсчитал (уж не знаю, откуда взял такую статистику), что в США сорок четыре выдающихся комедианта.

– Я буду сорок пятым, – заявил он.

При его целеустремленности и результатах, достигнутых на родине, мы в его будущем успехе за океаном не сомневались. Ему отказали: слишком дорого стоило изъять его фильмы из проката и телевидения, ведь доходы от киноиндустрии, если я не ошибаюсь, стояли тогда на следующем месте после водки. Он считал, что стал заложником своей популярности и размышлял, как подключиться к нашей борьбе за выезд. Я свел Крамарова со своим приятелем Эндрю Нагорски, шефом московского бюро «Ньюзуик». Объясняя ему причины выезда, актер-отказник сказал, что он стал религиозным, а тут это запрещено.

Должен признаться, что я немного скептически отношусь к внезапной религиозности. Крамаров сделал обрезание и стал соблюдать обряды. Но выехать ему религия не помогла.

Началась подготовка к открытию нашего совместного литературно-эстрадного театра, в обиходе ДК. ДК – дом культу-

ры, удобная аббревиатура для телефона, а в действительности наши фамилии. Я написал комедию «Кто последний? Я за вами» из жизни нашего брата отказника. Действие происходило в приемной московского ОВИРа, где были установлены новые часы. Согласно тексту каждые полгода в часах открывается дверца, и миловидная девушка в милицейской форме приносит: «Ку-ку!»

Крамаров играл Крамарова, а я самого себя. Пустую крамаровскую квартиру переоборудовали в фойе и зрительный зал. По телефону о репетициях не договаривались, чтобы не привлекать внимание ненужных гостей. На премьеры каждый день приглашали избранных, главным образом, по понятным причинам, иностранных корреспондентов. Но вваливалась в квартиру вся отказная Москва, плотно стояла на лестничной площадке и выплескивалась во двор. Крамаров был великолепен. Думаю, что это была его самая реалистическая самая вдохновенная роль. Игру нашу прекратили просто: у подъезда встала милиция; для входа требовали у зрителей паспорта.

Шум какой-то получился. Фильмы его продолжали крутить, только из титров теперь вырезали его фамилию. Он учил английский, однако уроки с молодой пухленькой училкой свелись к другому занятию. Перед выездом он знал семь английских слов и пытался запомнить восьмое.

После его отъезда в «Литературке» появился фельетон «Савелий в джинсах» о том, как некий актер мучается в США. Забавно, что фамилии Крамарова не назвали, рассчитывали на узнавание в узких актерских кругах. Думаю, сделали это, чтобы у него не возникло последователей. Стыдно сказать, но насчет мучений агитка впервые не лгала.

Бедой Крамарова всегда была дырявая память. Начал он свою актерскую карьеру в самодеятельности, но после, в драмтеатре, не потянул, так как не мог выучить ни одной роли. В кино было легче, потому что советские фильмы озвучивались в студии, и можно было прочитать реплику перед тем, как ее произнести в микрофон. Впрочем, монологов от него не требовалось. Выступая перед аудиторией и в кругу друзей, он всю жизнь повторял одни и те же несколько экспромтов, но интересно, что и в сотый раз слушать их было смешно.

Крамаров – яркая личность в паноптикуме советского кинематографа. Все еще трудно ворочается язык, когда надо сказать «был». На фоне грандиозной идеи создания положительных героев он играл вроде бы дурачков. Но, в отличие от фольклорного Иванушки-дурачка, герой Крамарова никогда хитрей царей не оказывался. В фильмах он совок, отважный в поддаче и трусливый при виде ментов. Он выразил суть советской эпохи своим лицом, которое, как он сам любил повторять, напоминает противогаз. Исправив позже свое косоглазие, он много потерял. Задолго до гласности он создал образ идеального совка, счастливого в своем идиотизме. Актерская интуиция Крамарова состояла в том, что он методично, из фильма в фильм, убедительно и смешно олицетворял быдло, «винтиков» – основное достояние сталинско-брежневского прогресса. Я не раз говорил ему, что абсолютной ролью для него, будь он подростком, было бы сыграть в кино Павлика Морозова. Впрочем, подростков играют травести.

Перемещения этого крамаровского типажа на другой континент в общем-то не получилось. Пропасть между двумя кинокультурами оказалась для Крамарова слишком велика. Это не вина, а беда замечательного актера нашей эпохи. Некролог в газете «Сан-Франциско кроникл» в день его похорон восемью строками покрыл всю его голливудскую жизнь. Из-за плохого английского круг приемлемых для него ролей сузился до шаржированных русских персонажей, которых в американских фильмах не может быть много. Кагебешник в «Москве на Гудзоне», советский космонавт в «2010», русский посол в «Красной жаре» и русский матрос в «Любовной афере» – вот круг съемок, в которых ему дали поработать. Он говорил, что ему платили по требованию профсоюза 2000 долларов за съемочный день, но, к сожалению, роли были краткие, все эпизоды снимали подряд, а потом резали. К тому же американские фильмы выстреливаются быстро, а решетка конкуренции жесткая.

При этом достоинство профессионального актера Крамаров держал высоко. Режиссер Марк Левинсон, снимавший не так давно фильм «У времени в плену» («Prisoner of Time») о русских интеллектуалах в эмиграции, уговорив меня на роль писателя, просил надавить на Крамарова сыграть пару эпизо-

дов. Савелий отказался из-за того, что оплата меньше указанной выше.

– Лена Коренева у нас играет, – убеждал я, – Олег Видов...

– Нет, мне надо держать марку.

Так мы с ним и не сыграли второй раз.

Он храбрился, много говорил о Боге, но, что бы ни говорил, на деле бедствовал и страдал. Его московские интервью выдают стремление пустить пыль в глаза о своем благополучии в Голливуде и вообще в Америке. Не хочу быть моралистом, но если есть люди, которым не стоило бы торопиться эмигрировать, он, возможно, был в их числе. Он говорил мне, что решил жить здесь, а сниматься там. Потом собирался жить то там, то здесь. Все это было бы нормально, но там ему, спустя годы, тоже не удавалось вписаться в вяло текущую толчею. К концу дней он наладил, наконец, семейную жизнь, уехал подальше от Голливуда в Сан-Франциско, но часы его остановились. И в плане творческом, кажется мне, он умер, не доиграв. Обещанные ему роли, на которые он надеялся в последнее время, опять уйдут к оставшимся сорока четырем комедиантам. Жаль, что второго зенита славы Крамаров не достиг.

1995.



Рисунок М.Беломлинского.

МЕСТО ДЛЯ ГОГОЛЯ

В нью-йоркской газете «Новое русское слово» было опубликовано интервью с одним ленинградско-петербургским профессором и композитором. Он высказывает свое мнение по широкому спектру нынешней культуры Петербурга и Москвы. Композитор, посетивший Нью-Йорк, – консерватор, что в нем меня (и, наверное, не одного меня) привлекает. Даже там, где он сгущает краски супротив реальности, где он подливает «чернухи». Я и сам ее люблю, был не раз публично за это руган, начиная с советских времен и теперь. Но как же без «чернухи» обойтись, чтобы ярче выразить мысль?

И все же постулат г-на композитора вызывает мое активное сомнение. Спорить с проинтервьюированным не хочу, но вопрос принципиальный и промолчать не могу, а потому выкладываю обе точки зрения, его и свою, на суд читателя.

Те же самые большевики, считает гость, проворачивают нынешние перемены, «якобы возвращая России ее прошлое, украденное ими же. Идиотизм переименования петербургских улиц достиг невероятного уровня. Была у нас, например, улица Гоголя, который, как известно, не большевик и не последний человек в русской культуре. Нет, ей вернули старое название – Малая Морская, причем мэр Петербурга даже не удосужился узнать, что улицей Гоголя она стала в 1915 году, при Николае Втором».

Далее композитор говорит, что мэр Петербурга переименовал улицу Салтыкова-Щедрина назад в Кирочную, а улица

имени народовольца-революционера Чайковского осталась. И, по мнению бывшего ленинградца, Ленинград надо было переименовать, но переназвать не так, как сделали, а – в Петроград.

На заре переименований, то есть в начале перестройки, дискуссий было много. Две долгих – в «Литературке» и «Новом русском слове», и я в них был втянут, призывал вернуться к слову Россия вместо безликого Советского Союза («Новое русское слово», 8 ноября 1988). Сон в руку! Меньше чем через три года это свершилось. Тогда я, возможно, погорячился, добавил, что в перспективе отпочкование приведет назад к исторической Московии и даже Сибирь отделится. Но это мы еще посмотрим, как пойдет дело.

Понятно, что топонимика, наука о названиях, в советское время стала придатком идеологии. О том, что сотворили с картами страны, мы знаем. Как сейчас видно, «деименизация» (такой вот мой собственный термин), начавшаяся в конце восьмидесятых, стала частью деидеологизации. Спервоначально это была вроде бы внешняя, но очень зримая, бросающаяся в глаза, а потому важная часть всего процесса, наглядно убеждавшая толпу, включая нас с вами, в серьезных переменах. В большой пропорции исчезли за эти годы назойливые и казавшиеся вечными имена вождей и липовых героев. Сбавилось количество тавтологий типа «Ордена Ленина метрополитен имени Ленина». Города и улицы становятся самими собой, хотя далеко не везде.

По мнению композитора, это все «идиотизм». Он считает, что большевики украли названия и сами же их возвращают. Но разве нынешний мэр города переименовал точку на Неве в Ленинград?

Нет у меня любви к российской администрации, и все же, мне кажется, что названия не «якобы возвращают», а всерьез, что происходящее – нормальный, живой и сложный процесс. И считать всех большевиков нескольких поколений одинаковыми подонками – значит, в оценке явлений жизни следовать целевым критериям, которые в свое время выработали партократы. Номенклатурному композитору, со множеством его советских чинов и почетных званий, придется тогда и себя отнести к тем самым большевикам, от которых он теперь отмежевывается. Он нигде не говорит «мы», с газетной трибуны обвиняя «их».

А суть в том, что в процессе переименований возник вопрос хирургический: до какой глубины резать? Вот этот вопрос, в сущности, опять поднял композитор, набросившись с обвинениями на мэра Петербурга.

Есть ли разница: немецкое название Санкт-Петербург или голландское? русские или полунемецкие Екатеринбург и Екатеринослав? Несомненно, разница есть. Но важнее то, что названия эти подлинные, исторические, а не заменители. Петр Первый, точку на карте поставивший, запатентовал название города. Разве и таким авторским правам цена теперь в России копейка?

Улица Гоголя, которую композитор требует оставить, извините, не историческая. Да к тому же это название не удобно для жизни и просто нелепо. Выходит, Гоголь жил на улице Гоголя, а если даже и не жил, что часто и в массе городов с улицами в честь писателей (и не только писателей) случается, то это тем более глупо: почему эта улица – Гоголя, та Лермонтова, а не наоборот?

Получается, что Пушкин жил в Одессе на Пушкинской улице, в Москве он гулял по Пушкинской площади, а по Пушкинской набережной там же, в Москве не гулял: она советского производства. А еще хуже, что есть по всей стране сотни улиц Пушкина, которые вообще к поэту не имеют никакого отношения, а просто переименованы из-за централизованного культа Пушкина, ураганом прошедшего по городам и весям. Сам поэт в этом не виноват, он жертва пропаганды, решившей, что он полезен, и я думаю, что ему место, как и раньше, на Страстной. Нескромно и стыдно стоять Пушкину на Пушкинской.

Полагаю, что читатели вообще или жители улицы Гоголя, в частности, не хуже городских властей знают о месте Гоголя в русской культуре, но не потому, что ходят за картошкой по улице Гоголя. Имени писателя положено значиться на обложке его книги, а не на каждом углу, где люди не обращают на имя никакого внимания, зато, отдавая писателю честь, приостанавливаются и задирают ножку все проходящие собачки.

И – если называть улицы в честь писателей, то где мера и логика? Вон в Москве вокруг бывшего «дворянского гнезда»,

где жили члены Союза писателей, а также в Переделкине улицы до сих пор носят имена номенклатурных сочинителей. Писатели-администраторы увековечивали умерших коллег в расчете на то, что сами когда-нибудь в виде улиц и переулков перекрестятся с ними. Туда тоже добавляли и улицу Гоголя, и улицу Пушкина – для весомости. Но вот Симонов успел стать улицей, а, допустим, Чаковский или Георгий Марков нет.

А ведь кроме писателей имеются тысячи тысяч имен в разных областях культуры и науки, заслуживших жизненным подвигом право иметь свою улицу, деревеньку, а то и городок. Что же делать в государственном масштабе? Переносить на карту всю книгу «Who is Who in Russia»?

Может, вместо названий улиц ставить памятники? Но даже ценность памятников великим и не очень великим деятелям девальвируется, если их ставит государство. Потому что у государства на уме чаще всего конъюнктура. Вот погорячились и поставили у входа на Красную площадь бронзового Жукова, и никто не заметил малой детали. Нет, не смешной факт, что ноги у лошади под Жуковым идут в ногу, как два солдата, а лошадь так идти не может. Забыли москвичи, что это место в тридцатые годы было предназначено лично Сталиным для монумента Павлику Морозову. Монумент герою-дочискику номер 001 переместили на Красную Пресню, а в августе 91-го скинули. Поглядим, какая судьба будет у поставленного для устрашения Чечни сталинского оруженосца Жукова, улица которого тоже, конечно, давно есть, но этого показалось мало. Кстати, она называется «Улица Маршала Жукова». Для сравнения: «Улица Камер-юнкера Пушкина»...

Ценны уникальные памятники, вознесенные на собранные у населения деньги, как Пушкин 1880 года. А что стало потом? Вместо одного монумента поэту, поставленного в городе, где классик родился и много жил, статуи, именуемые «наглядной агитацией», по приказу стали изготавливаться на скульптурных фабриках едва ли не для каждой третьей средней школы. Или, может, прав Честертон: классики – это те, кому отдают честь, не читая? Но ведь Честертон смеялся, а композитор и его единомышленники защищают идею серьезно.

Где же выход? На мой взгляд, в историзме, то есть уважении к прошлому, корням, истокам. Политбюро нравился Ле-

нинград, композитору – Петроград, даже уважаемый Александр Исаевич предложил свое оригинальное название Петербурга взамен подлинного. Но историческое название, то есть настоящее, имеется только одно. Да, имеются неприятные и даже похабные названия в России. Исконное имя пушкинского Болдина – Еболдино. Разве что такие имена не возвращать, уважая себя и других. Но это опять-таки особое исключение.

Кажется мне, улица Гоголя в Петербурге принципиально правильно восстановлена как Малая Морская, а улица Щедрина как Кирочная. Площадь Пушкина в Москве должна так же точно стать Страстной, как улица Горького сделалась Тверской. И Пушкинская улица не нужна (она ведь Большая Дмитровка), как не нужны повсеместные улицы *a la* Карла Либнехта, Клары Цеткин, Розы Люксембург, не говоря уж о Стахановских.

И – это мое обращение к имеющим сегодня власть – город Пушкин обязан стать Царским Селом. Все равно он станет им, если не завтра, то послезавтра. Пушкин учился в Царском Селе, жил с женой на даче в Царском Селе, а не в городе Пушкине. «Отечество нам Царское Село», а не город Пушкин. Я уже как-то писал про городскую газету: «Пушкин по числу квартирных краж на первом месте в области». А жители Пушкина – все автоматически пушкинцы и пушкинки, даже те из них, кто больше любит Тютчева.

В принципе исконное имя себе вернувший Нижний Новгород звучит нормально, а невернувший город Белинский – пародийно. И в этом смысле разницы между Пушкиным, Горьким и тем же Белинским быть не должно. Имена людей, будь то писатели, певцы, политики, академики, маршалы или стахановцы, внедрять в историю и географию таким путем ни к чему. Могут быть исключения, но не унылое правило.

Странно как-то, что Международная конференция по творчеству Пушкина проходила в Пушкине, а не в Царском Селе. Так же странно, как и то, что на этой конференции российские участники, шарахнувшись в другую сторону, дружно изображали Пушкина в своих докладах набожным, ортодоксальным верующим христианином, другом Библии и Евангелия, сделав вид, что забыли, как десятилетиями убеждали нас в его атеизме и революционности. Видно, к истинам и чувству меры

пушкинистике вернуться также трудно, как... ну, например, топонимике.

Композитор возмущается, что нет логики: то переименовали, а это нет, и недовольство справедливо. Но считать страну в трудном переходном периоде «явно и тяжело больной», как интервьюируемый российский деятель культуры это делает, – явный и тяжелый перебор. Чтобы все логично и последовательно сделать, нужны время, деньги и – как бы это поточнее сказать? – культурное содействие, а не брюзжание. Время неконструктивной залихватской ругани всего и вся, смело изрекаемой российскими гостями в наполеоновской позе со сложенными на груди руками под защитой статуи Свободы, уходит.

Постепенно страна вернется к исторической реальности, восстановятся уважение и терпимость, Гоголевский бульвар в Москве станет Пречистенским, и пошлый памятник Гоголю «от правительства Советского Союза» заменят старым, ибо два, стоящих по соседству – перебор. Но всегда будет требоваться осторожный подход и большое чувство меры в названиях улиц. Если уж не вмоготу строителям от любви к данному писателю, можно использовать и имя Гоголя. Например, улица Гоголя в новом районе. А все ж лучше, если Гоголь будет просто стоять на книжной полке. Главное, чтоб читали.

1995.

АКТИВИСТЫ ТЕАТРА АБСУРДА

В качестве американца, побродившего изрядно по глобусу, скажу, что североамериканская демократия – самая-самая в мире. А как русский писатель, склонный к инакомыслию, упру палец в ее изъян, в ее самоистязание. Все знают суть этой американской акции (affirmative action – позитивное действие): меньшинствам даются преимущества при поступлении в университет, приеме на работу и для поддержки бизнеса.

Славянская кафедра соседнего университета принимала на работу преподавателя. Вообще-то он у них уже был, но на так называемых «мягких деньгах», то есть временный, а нужен был постоянный. Казалось бы, парень кончил Гарвард, по-русски говорит почти хорошо; накопив материалов в Москве, заканчивает рукопись о советском критике тридцатых годов, студенты пишут о нем славные отзывы, – переведите его на «твердые деньги», и все тут! Но в том-то и загвоздка, что, согласно позитивному действию, у него уйма дефектов: он не негр, не женщина, не беременный, не гомосек, передвигается не в коляске, а своим ходом и, к сожалению, не дебил. Поэтому авторитетная комиссия отобрала из сорока двух кандидатов не его, а симпатичную черную девушку, которая заявила, что она лесбиянка, и при этом немножечко в положении. Политически все было выдержано корректно.

Вот уже несколько лет все на кафедре отдуваются, читая за нее лекции, не только потому, что она перманентно или рождает, или беременна (это дело святое). То она получила грант

на изучение праснов лесбийской любви и отбыла в Грецию (хотел сказать – в Древнюю Грецию), то занята поддержкой очередной кампании феминисток. И при этом никто не может ее убедить не ставить на первом слоге ударение в фамилии Толстой.

Но и это еще не все. Недавно бывшая девушка, а ныне преподаватель, учтя ситуацию, публично заявила, что при найме на работу пять лет назад свинские мужчины-шовинисты ей дали ниже ставку, чем надо, потому, что она женщина. Она потребовала пересмотра всего ее досье, чтобы задним числом повысить саму себя в должности от начала и по всем последующим ступеням, и несколько комиссий по сейчас продолжают в смущении над этим работать. Поистине: сказали «а», придется промямлить «б», университет отстывает, неспособный защититься от бесстыдной потребительницы узаконенной программы позитивного действия.

Наконец, как все знают, большинством голосов Совета попечителей «позитивное действие» в Калифорнийском университете отменено и вроде на будущий год войдет в силу. Но сколько лет придется хлебать его последствия – от крупного до мелочей? Ведь chairman (председатель) нельзя говорить, потому что «man» – мужчина, и мы пишем просто «chair» – стул. Оскорбительно говорить в лекции или писать «он происходит от обезьяны», надо «он/она происходят от обезьяны» и т.д. Миллионы во всем мире носят фамилии, оканчивающиеся на «ман» – скажем Хекман, Голденман или Райхман. Если следовать логике феминисток, женщины с такими фамилиями должны их поменять на Хеквуман, Голденвумен или Райхвумен.

В университете ведутся отдельно просто «исследования» и – «женские исследования», причем последние в специально созданном центре финансируются более охотно, а значит привлекают все больше аспирантов. Углубляется феминизация всех наук. А из всех наук для нас важнейшим является теперь феминизм. Таков порочный круг. Читаются курсы по литературе и по женской литературе. По театру и по женской драматургии. Мемуары, написанные женщинами, изучаются отдельно в курсах истории и сравнительной литературы. Мужчины все больше становятся в исследованиях негативной силой. С публичными лекциям по университетским кампусам Калифор-

нии разъезжает немолодая студентка, которая делится с аудиторией деталями, как ее хотел соблазнить профессор. Не соблазнил, но замыслил. Ничего не доказано, но публика кричит: «Давай подробностей!» Не приходится удивляться, что в конкурсе, объявленном одной американской газетой на лучшее определение мужчины, побеждает феминистка, которая написала: «Это та сволочь, которую надо кормить мясом».

Давно замечено, что у человека две возможности существования: потреблять окружающий мир и выражать в нем себя. Программа позитивного действия, думается, преследовала вторую цель: помочь определенным категориям людей всплыть на поверхность. На практике эта акция превратилась в жертву первой цели: закон (и нас с вами) потребляют люди, нечистые на руку. Кажется, обитатели двадцатого века, мы переполнены свидетельствами того, как часто благородные политические замыслы оборачиваются взрывом низменных страстей, а путь к высоким идеалам устилается жертвами вчерашних идеалистов. Но жизнь подбрасывает все новые и новые иллюстрации, свидетельства, образцы.

Знаменитый подонок, растерзавший в Лос-Анжелесе бывшую жену и случайного человека, выпущен на свободу потому, что он черный. Виноваты и мы тоже – доведшие до абсурда программу позитивного действия. Раньше я сердился, когда студентки пропускали меня первым в лифт, теперь смирился и боюсь нарушить их равноправие. В компании я проглатываю комплимент хорошенькой женщине, ибо это может быть истолковано, как сексуальное домогательство, и для штрафа мне придется продать дом. Послушно пишу в анкетах вместо «белый» – «кавказского происхождения», ибо писать «белый» – значит унижать «черных», – уж не знаю, какому идиоту в США удалось протащить такой эвфемизм, ничего общего, правда, не имеющий с созвучным российским выражением. Я пишу эти строки на плохом, медленном компьютере, потому что университет обязан поддерживать малый бизнес, где хозяин черный, и покупать технику только у него, а тот – шустрит, продает старье.

Америка по каждому поводу должна дойти до бездны падения, исчерпать аргументы всех умных и обязательно всех глупцов, чтобы, изрядно набив синяков и шишек, вернуться к

трезвой разумности. Позитивное действие отменили, а политическая корректность в американском академическом мире иногда смахивает на сусловскую цензуру, хотя и в интеллигентной форме. Похоже, что идея этой программы была украдена левыми американскими политиками у советских идеологов. Там бездари и партийные детки из хлопковых республик защищали в Москве «процентные» диссертации, которые за них писали выкинутые из акции евреи. Впрочем, в Америке и своих умников для придумывания абсурдных программ хватает.

Отвоевав, наконец, демократию, получив свободу любых акций, российский образованный люд на наших глазах то и дело, по самым обычным поводам теряет здравый смысл в борьбе «за» и «против». Возьмите список политических партий, чтобы это понять. Поглядите, что обещают лидеры, какие вздорные темы выплывают подчас на первый план в московских газетах и книгоиздательской продукции. Какие страшные прогнозы смерти литературы, интеллигенции, распада семьи вешают нам в виде лапши на уши. То и дело ищут виновных, врагов, делят людей на своих и чужих, на внутренних и эмигрантов, и все это представляют как те же самые позитивные действия.

Недавно профашистская газета «Патриот» нашла нового врага и сосредоточила на нем гнев, посвятив вашему покорному слуге очередную целую полосу. Там говорится, что я по заданию ЦРУ хочу отнять у России Пушкина. Затем пятьдесят писателей и неписателей (Белов, Бондарев, Распутин, Шафаревич и прочие из той же колонны) опубликовали развернутую программу под названием «Защитим русскую национальную святыню. Открытое письмо к русскому народу».

Суть позитивного действия компатриотов – требование к президенту России «применить всю вашу власть», чтобы запретить «осмеяние и оскорбление нашей национальной гордости». В пример приводятся опять эмигрантские авторы. В частности, об известной книге Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным» (между прочим, только что вышедшей на английском в издательстве Yale University Press) говорится, что это «маразматический бред выжившей из ума старухи». Ну ладно, допустим, что «бред», но почему профессор Сорбонны Синявский – «старуха»?

Да и вообще опять перебор в программе позитивного действия: важнейшая политическая задача сейчас, стало быть, грудью встать на защиту Пушкина от мнимых врагов, наступающих с Запада, и все будут при деле. Более важных забот у бывших номенклатурных писателей и академиков нет. Чечня, преступность, инфляция, продолжительность жизни 58 лет – ерунда. Главное, «применить всю власть», чтобы не допустить прогулок Пушкина с изменниками родины. Так что прошу всех, кто эмигрировал и продолжает любить стихи Пушкина, запомнить: поэт этот не ваш, а их, российских патриотов, личная собственность. Читать дозволяется, а вот обсуждать – ни-ни. Впрочем, Пушкину не привыкать наблюдать, как его приспособливают к различным движениям, партиям, политическим акциям.

Читаю в одной нью-йоркской русской газете программное интервью московской писательницы. Из уважения к двум другим не назову и ее. Она скромно констатирует, что входит в тройку самых лучших пишущих женщин Российской Федерации. Пишу я сейчас не о литературе, но чтобы читателю был яснее уровень этой московской писательницы, приведу цитатку из только что опубликованного ее нового рассказа. «Валька вознамерился меня трахнуть, но у него не стояло. Мне было все равно. Меня тошнило – морально и физически. Я поняла, что в поисках своей судьбы выбрала какой-то неверный путь. Таким образом я ничего не добьюсь, кроме аборта или венерической болезни. Хорошо, что у Вальки не стояло. Но ведь есть и другие случаи». И далее с таким же вкусом.

И я спрашиваю себя: как же так? Эту писательницу много печатали, когда была советская цензура, и под контролем вкус ее был пристойным. А теперь, при отсутствии цензуры, оказалось, что у писательницы этой отсутствует и вкус, и культура, и талант, и даже собственное достоинство. В интервью этот прозаик (прозаичка?), сочинительница «новой прозы» заявляет, что они-де втроем (птица-тройка, стало быть) толкают вперед женскую литературу бывшей одной шестой части суши. На мой взгляд, израильский автор Дина Рубина, например, талантливее всей этой троицы, вместе взятой. А то, что провозглашает упомянутая выше мос-

ковская писательница, по сути, опять же позитивное действие, на этот раз в литературе.

А почему, собственно, женский белль-летр должен обособляться, как выделяется в особую статью литература детская, как «М» и «Ж», как гинекология? Литература бывает хорошая и плохая, ну, назовите ее еще профессиональной и графоманской, ну, разделите на жанры, как говорил мольеровский герой, все то, что не проза, то стихи. Но не вижу я ни в стихах, ни в прозе жанра «Ж». Обособление – это, в сущности, вымогательство права на заниженные критерии. Зачем женским литературным альманахам функционировать на особый манер, как журналам для слепых? Мужчина и женщина делят постель, и это прекрасно, но к чему делить словесность? А фильмы тоже надо выпускать для женщин отдельно и играть в них должны одни женщины? Почему, борясь за равноправие, мы должны сперва дойти до абсурда, чтобы вернуться к норме?

В интеллектуальной области Божий дар – единственная законная привилегия индивида над посредственностью и вообще одного человека над другим. Ни пол, ни национальность, ни цвет кожи тут ни при чем. Больше возможностей и прав в цивилизованном обществе тому, кто доказывает, что он способнее. Этому принципу, кстати, следовать легче, а в государственном масштабе и значительно дешевле, чем терять здравый смысл от позитивных действий, – и в Америке, и в России. А когда ума нет, очень хочется объединиться с себе подобными и добиваться привилегий за счет принадлежности к партии, цвета кожи, пола или даже своеобразных сексуальных наклонностей, которые, может, и дают преимущества, но в постели, а не в обществе.

Однажды почтенный профессор-славист, мой старинный друг, закрывая конференцию по, так сказать, «женским исследованиям в мужской литературе», вдруг в конце прошептал:

– А вообще-то послушайте старика, господа. Сколько можно терпеть, чтобы талант человека, мастерство писателей, даже классиков, оценивали, уперевав взгляд между ног?!

Потом он мне признался: чтобы решиться на эту политическую некорректность, он предварительно принял две дозы

bloody Mary – водки с томатным соком. Придя в себя после шока, собравшиеся сурово осудили проникшего на трибуну диссидента. Больше он так не выскажется, даже если надерется еще сильнее. А жаль.

1995.



«Светофор по-московски» глазами американского карикатуриста
(из газеты «Сакраменто Би»).

СВЕТОФОР ПО-МОСКОВСКИ

Первый контакт с Россией состоялся на этот раз в Хельсинки. Режиссер, который снимает фильм по моей книге, вечером потащил обедать. Две симпатичные девицы в шубках останавливают нашу машину.

– Ну, что, мальчики, повеселимся? – предлагают они на чистом русском. – Двести долларов с человека.

– Чего им? – интересуется режиссер.

Перевожу на английский. Он поворачивается к заднему сиденью, спрашивая свою жену по-фински. Она улыбается и отвечает нам по-немецки:

– Слишком дорого.

– Переведи им, – говорит режиссер. – Жена не разрешает.

Жену девочки в темноте не заметили и, мгновенно потеряв к нам интерес, сосредоточились на других клиентах.

– Их тут сотни, – равнодушно откомментировал режиссер. – Большевики Финляндию нам вернули, а проститутки оттуда опять оккупировали.

Утром я вылетел в Москву. Финская авиакомпания в связи с наплывом нового контингента объявляет теперь и по-русски. Но только по-русски звучит добавка, отсутствующая в английском: «Не забудьте вернуть наушники». Соседи мои – семья: родители и двое детей. Отец лет сорока с лишним, из тех, про которых говорят «наезжает» и «крутой» – из нового поколения самоуверенных, коим море по колено, и хорошень-

кая, хотя и простоватая мать, лет на пятнадцать моложе его. Муж и жена полупшепотом ссорятся, не могу понять, из-за чего. Она косит глаза на меня:

– Не знаете, который час?

На руке ее часы, стало быть, она просто проверяет, понимаю ли я, о чем толковища. Беру грех на душу, отвечаю по-английски, что не понимаю. Ссора разгорается, и ясен повод. Они вывезли горсть необработанных бриллиантов, и самый большой камень жена спрятала за комод в гостинице на острове Корсика, чтобы не украли. Бриллиант забыли, и муж справедливо гневался. Если будете отдыхать на Корсике, прихватите спрятанный камушек: как войдете в номер – слева комод, за ним.

Наушники мои соседи аккуратно вернули. Кстати, как и все деловые люди его категории, он был одет в темный костюм и темно-синее пальто до полу, так что вы его легко найдете, чтобы вернуть бриллиант. Московские банкиры напоминают лиц, организующих похороны. Килерам тоже удобно – не ошибутся. И ментам хорошо. Видел, как гаишник варежкой угодливо счищал снег с «Мерседеса», в котором сидел парень в темно-синем пальто. Простых смертных, особенно в темноте, патруль останавливает теперь, чтобы взять денег. Если отказываете, предупреждают, что будут обыскивать и найдут криминал, например, отсутствие аптечки, так что лучше сразу дать на лапу.

Нынешний год в Москве течет без особой радости из-за коммунык, рвущихся к власти, фашистов, хотя и тише, но все еще выкрикивающих лозунги, грязи на тротуарах и лестницах, особенно на окраинах, несмотря на команду мэра Лужкова чистить Москву два раза в день.

Мой приятель только что остался без машины. Угоны – привычное бедствие, находят мало, в основном брошенные. Новинка сезона – угоны правительственных машин, оборудованных сигнализацией и ночью находящихся в спецгаражах. Еще одна новинка – объявления в газетах, типа «Московского комсомольца»: «У любимицы состоятельной публики поп-певицы Маши Распутиной угнали белый «Мерседес». Через пару дней авто оказывается на месте перед Машиным домом. Газета опять выступает: «Благодарим за возврат авто Маше Распу-

тиной». Что это? Может, скрытая реклама, за которую платит сама пострадавшая?

Коммунисты угрожают взять власть, и мы опять, как в былые времена, спорим на кухне с друзьями, почему они не запрещены, как национал-социалисты в Германии. Почему насилие над женщиной – преступление, а над целой страной – оно безнаказанно? Разве не ясно, что диалога быть не может? Но встречается районный оптимист и терпеливо объясняет мне, иностранцу: товарищ Гитлеров вряд ли возможен. Если Ельцин при огромном личном аппарате и преданности ему министров всех силовых министерств годами не может навести порядок, то как это сделает выскочка-энтузиаст? Ему понадобятся деньги, а деньги, в отличие от ленинского времени, нынче не экспроприируешь, они за границей. В стране не одна мафия, и одной к власти прийти не дадут другие.

Неразбериха, похоже, устраивает всех, кроме пенсионеров. Главный плюс: происходит реальное, как на Западе, отделение государства от индивида, на которого правительству плевать, если прошли выборы. Власть и не должна вмешиваться в личную жизнь. Живи, как можешь, но это – то труднее всего. Куда себя вложить, не потеряв данное Богом? Как выжить?

Наиболее часто встречающееся на стенах объявление (если не считать услуг самой древней профессии): «Немедленная возможность заработка в свободные часы. Звоните». Названия фирмы нет, телефон да имя «Валя». Звоню «Вале». Мне велют явиться на «информационную встречу», при себе имея 50 тысяч рублей.

- Это возможность заработка или возможность заплатить?
- Зарботка, – отвечает «Валя».
- А за что платить?
- За регистрацию.

Продолжать исследование стало скучно.

Знакомый первоклассный хирург по воскресеньям торгует колготками на бывшей ВДНХ и имеет от этого больше, чем от больницы. Если срочно нужны деньги, то вот шанс: свой телефонный номер продать за три миллиона рублей. А жить без телефона москвичам не привыкать.

В Москве вращается все больше иностранцев и эмигрантской публики, не адаптировавшейся в Штатах, Германии, Авст-

ралии. У иных постоянные или временные подруги. Кое-кто завел здесь вторую семью, не порывая со старой в Нью-Йорке или в Кёльне, – это называется «отечественная отдушина». Некоторые бывшие эмигранты действительно делают серьезные дела, другие пользуются все еще недостаточной информированностью москвичей и выдают себя за видных западных экспертов. Один регулярно появляется на экране, с надутыми щеками сообщая банальности о политике, другой ухитрился прочесть цикл лекций в одном из университетов и, как мне поведал декан, рассказывал о своих папе, маме, дедушках, внуках и соседях – у кого сколько кошек.

По-прежнему модно жаловаться и сгущать краски. Приятель глядит вокруг:

– Смотри, как малокрасочно одеты люди – в черное, коричневое, серое!

Пожалуй, это так, но одеты отнюдь не бедно, а красоток, щеголяющих в модном, полно. Лужков осветил высотные здания. А комментарий слышал, что от этого только видней нищета. Один из ельцинских министров мне жаловался, что раньше следили за диссидентами, а теперь прослушивают его и вообще всю верхушку, чтобы иметь компромат на случай «икс».

Вместо слово «жаловаться» чаще говорят «анализировать». Площадка для анализа – как и раньше, кухня, но счастливицы это делают теперь по должности и за приличную зарплату. Бывшие цеховские кварталы на Старой площади забиты столами аналитиков. Аналитики жалуются больше других – им, наверное, виднее. Заглянешь в офисы – у всех компьютеры. А сами аналитики по три часа обедают в соседних ресторанах, анализируя левые дела и туры за границу.

За жалобами следует попрошайничество, поставленное на поток. В метро утром с небольшим интервалом прошли мимо меня две женщины с детьми и одинаковыми трафаретами: «Помогите! У ребенка порок сердца, нет денег на операцию». Высокие должностные лица отличаются от нищих в метро лишь тем, что просят больше. Привычка просить пропитала все уровни. Меня просили в разных местах: перевести и поставить пьесу на Бродвее, найти хорошего американца для дочери, богатую американку для сына, организовать турне по двадцати, а лучше по тридцати американским университетам, на-

конец, найти в Америке «бесплатный дом творчества писателей, где можно месяц-другой построчить стихи, а то у нас тут, сам понимаешь, покоя нет».

Знакомый издатель с периферии, угостив немецким пивом, спросил не могу ли я достать для него в Америке полиграфические машины, хотя знает ведь, что я могу «достать» только еще одну рукопись. Редактор модной петербургской газеты решил на шепот:

- Где там у вас можно получить инвестирование?
- В каком смысле?
- Нам срочно надо 250 тысяч долларов.
- Двести пятьдесят я бы редакции подарил, – сказал я. –

А такая сумма вряд ли найдется не вложенной в дело даже у миллионеров. Зачем тебе?

- Да на развитие демократии, – скромно пояснил он.

Демократия бьет ключом. Кое-что в изобилии, чего-то не хватает, полно прорех. Свобода культуры налицо. Проблема самая болезненная, как мне видится, – культура свободы, разумная организация этой свалившейся с неба вседозволенности. Фраза, выкинутая из статьи приятеля: «В июне успешно выбрали бандершу для нашего бардака». Это о президенте. Впечатления разношерстные.

Ощущение, что едва ли не все в Москве чем-нибудь да больны. То и дело говорят про болезни и при этом не лечатся. В этот приезд двое из моих знакомых сбиты машинами, одна сломала руку, скатившись по скользкой лестнице в метро.

Надпись на двери студенческой столовой в институте, куда пригласили выступить: «Еда есть – хода нет». Оказывается, ступени проломлены, и надо идти в пальто через дверь кухни, чтобы попасть в зал.

Возле метро «Аэропорт» новый супермаркет под эффектным названием «Американский магазин „Русь“». В нем никого: цены не по карману. Иду меж полок. За мной следят две кассирши и по пятам идет охранник, чтобы я не положил йогурт в карман.

Сел в автомобиль «Ока» – прямо из магазина: провода висят, гайки не довинчены, двери не запираются. Свобода разгильдяйства. Качество всех российских изделий бросовое: от ложки до правительственного указа. По сему, как говаривал

Булгаков, «не то меня удивляет, что трамваи не ходят, а то меня удивляет, что трамваи ходят».

Зато политизация всех и вся стала даже больше, чем была во времена тотальной идеологии. Дом Кино. Бомонд. Вечер памяти известного актера. А все выступающие, забыв об успошем, спорят о выборах президента.

Во многих театрах – грязь и сырость. Но актеры, особенно молодые, великолепны. Искусство держится на энтузиазме, интерес – на эротике. В неплохом в общем-то спектакле герои совокупаются на полу, в кресле и стоя, что к сюжету не имеет никакого отношения.

Телевидение разное, интересное, – ради одного этого стоило устраивать заваруху. И здесь то, что у нас в Америке называется quickie – секс на ходу, быстренько. Ежевечерне на экране трупы: с улиц, из моргов, с кладбищ, без такта и меры – холодят душу. А перейти улицу нельзя: потоки бешеные, и вы вынуждены бросаться под колеса.

Продолжается почкование журналов, ибо в редакциях люди разных взглядов не могут найти общий язык. От «Юности» отщепилась «Новая юность», от «Литературного обозрения» – «Новое литературное обозрение», от «Книжного обозрения» – «Новое книжное обозрение», и несчастный подписчик пытается уловить разницу, построенную на амбициях редакторов, а не на сути печатаемого. Слово «новое» вообще опасно, оно моментально стареет, в Москве же это дежурное слово, что вполне понятно.

Иная журнальная жизнь после цензуры, но подчас тот же обостренный контроль за твоей мыслью в старых редакциях: кастрируют мысль и меняют заголовок, подчас выплеснув ребенка. Писатель для старых редакторов – все еще полуфабрикат, который должен соответствовать ведомым теперь только им стандартам. В старой, когда-то престижной газете тираж падает так, что главный редактор скрывает от сотрудников истинную цифру. В газете работает 200 сотрудников, большей частью пожилых. Появляется покупатель и говорит, что он приватизирует газету, но оставит 50 человек. «У нас решает коллектив», – отвечает ему редактор. Голосуют – 150 против приватизации. Очередная газета обречена.

Ширпотребная фраза советских пропагандистов «Америка – страна контрастов» теперь идеально подходит для другой страны. Поистине, Россия сегодня – страна контрастов.

В субботу в Российской госбиблиотеке (бывшей Ленинке) стою в очереди в гардероб два часа. Ласковое объявление: «Польты с оборванными вешалками не берем». Теплая встреча с сотрудниками бывшего Спецхрана, переименованного в Отдел литературы русского зарубежья. На открытии этого отдела год назад была выставка моих книг, ранее запрещенных, и мы выступали вместе с теперь уже покойным редактором «Нового журнала» Юрием Кашкаровым. А в буфете бывшей Ленинки вам дают стакан с заваркой, и топайте в другое помещение к трубе отопления, свисающей со стены. Из нее льется непрерывная струя горячей воды. Окна выбиты, сквозит ветер.

На книжных развалах все то же преобладание околотекстурного хлама. Раньше было одно чтиво, ну, для меньшинства – два: разрешенное и запретное. А теперь спектр, в котором тонешь. Хорошие же книги по-прежнему труднодоступны. Но в квартирах и подвалах открываются небольшие книжные лавочки «Эйдос», «Отражение», «19 октября». В них по вечерам чаепития и чтения, другая жизнь.

На обратную дорогу прихватил свежий массовый учебник для начальной школы «Родной мир» (М., 1995, написан, точнее, составлен Л.Тикуновой, Ю.Новиковой, О.Богдановой). Обложка из оберточной бумаги, то, что называется библиотекарями «на одно прочтение». Содержание сперва показалось приятным, если не считать чересчур назойливого педалирования любви к Родине. Открывается учебник стихами Жуковского, за которым следуют Пушкин, Лермонтов, Бунин. Много о природе. Вдруг, ближе к концу, вылезает Сергей Михалков, разоблачающий в стихах злобных американских плантаторов, издавающихся над неграми. И ни слова, что это было, мягко говоря, давно. Забавно, что учебник лишен вообще современности: деревня, санки да лошадки. Слов «автомобиль», «телевизор», «свобода», «демократия», не говоря уж о «компьютере» или «бизнесе», нет.

Перед отъездом позвонил в справочную «Аэрофлота», пятнадцать минут слушал «ждите ответа», потом – короткие гудки.

А в Шереметьеве выяснилось, что «Дельта» по-нашенски рейс на Франкфурт отменила без объявления.

– Пускай он летит «Аэрофлотом», – сказала одна сонная женщина другой.

– «Аэрофлотом», – твердо заявил я, – не полечу!

Заявил только из-за анекдота. Летит самолет из Нью-Йорка в Одессу, объявляют: «Наш полет проходит успешно, однако левый двигатель отказал». Через некоторое время: «Наш полет проходит успешно, однако правый двигатель тоже отказал. Пассажиры, умеющие плавать: берег слева в двадцати километрах. Пассажиры, не умеющие плавать: thank you for flying Aeroflot!»

К счастью, оказалось место в «Люфтханзе».

На встрече с читателями мне подарили на память серп. Хотели подарить и молот, но я его не взял из-за веса. Таможенник требует открыть чемодан, трое стражей вертят серп в руках, спрашивают, зачем он мне. Мне он ни за чем, но им какое дело? Обсуждают вопрос так, будто я вывожу последний серп, и сельское хозяйство России рухнет. Убедившись, что он не из платины и не из титана, вернули, но зацепились за книги. У меня тома нового собрания сочинений Пушкина.

– Собрания нельзя, – весело говорит чиновник.

– Да это репринт, продается за границей!

При жизни Пушкин был невыездным, а теперь стал невывозным. Мы долго спорили, и очередь терпеливо молчала. У меня было несколько других вещей для просмотра, например пленки и рукописи. Дико, а ведь это по сей день записано в декларации. Но таможенники уперлись в Пушкина. Потеряв минут двадцать, я уже готов был выбросить его, когда шмонарь опять посмотрел в мою визу, где написано «культурный обмен», и сказал:

– Ладно, только прячьте быстрее.

Гуманность с воровской формулировкой.

В будках паспортного контроля солдат сменили девушки, одинаково крашенные перекисью водорода. Одна из них минут пять разглядывает мой паспорт и записывает, потом вполне по-солдатски произносит:

– Смотрите прямо на меня, я должна проверить ваше лицо.

Во всех странах мира «проверяют ваше лицо», но нигде не делают это с таким усердным хамством. Что уж говорить о визах, которые все еще нужны, хотя министр внутренних дел России с экрана заявил, что власти не знают, сколько иностранцев живет в России: то ли полмиллиона, то ли 750 тысяч. И неучтенные, конечно же, не те, у кого «проверяют лицо» в Шереметьеве, а те, кто запросто переходят границы в Сибири и на Кавказе.

Приемщица долго спорила со мной о весе чемодана, не зная, что на Западе это 32 килограмма. Выяснилось, что она не знает также, каким шифром записать багаж, следующий до Сакраменто. В результате зарегистрировала неправильно, чемодан ушел не туда, куда прилетел я.

«Люблю Россию я, но странную любовью!» Этой строчке нынче исполняется 155 лет, так что мои заметки юбилейные. Вот уж поистине написано на века.

– Поездка в Москву теперь, – сказал ирландский дипломат, с которым я разговорился в самолете, – как пребывание на вредном производстве эпохи Маркса и Энгельса: дышишь дымом, ешь жирную, сомнительного качества пищу, вывозишь в качестве сувенира грипп.

Кстати, сами Маркс и Энгельс накануне на экране ТВ с абсолютно серьезным видом элегантно отплясывали канкан, что скрашивало дебилские интервью зюганистов.

*Москва, ты кто?
Чаруешь или зачарована?
Куешь свободу
Иль закована?
Чело какою думой морщится?
Ты – мировая заговорщица.
Ты, может, светлое окошко
В другие времена,
А может, опытная кошка...*

Это вспомнился Хлебников, гениальное всегда несколько наивно. Москва действительно кует свободу, будучи закованной, но чарует безалаберностью. Мировой заговор остался только в подкорке вечных ленинцев, светлое окошко в другие вре-

мена ой как проблематично. А опытные кошки – не те ли, что предлагали мне свои услуги в Хельсинки и торчат у всех гостиц первопрестольной?

Накануне отъезда стою на углу Красноармейской и Черняховского. Светофор показывает зеленый, желтый и красный одновременно во все стороны. Машины гудят, наезают друг на друга, под колесами в каше жидкого снега пробираются, как муравьи, пешеходы. Из окна «Тойоты», пытающейся перехитрить всех, проскочив по тротуару, звучит мелодия радио «Эхо Москвы»:

*Прощай, цыганка Сара,
Были твои губы сладкими, как вино...*

Неисправный светофор, кажется мне, висит над Россией: куда ни стремишь, светит одновременно зеленый, желтый и красный.

1996, Москва – Сан-Франциско.

ИНТЕРВЬЮ, ДИАЛОГИ

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ В АМЕРИКЕ

Интервью М.Зараеву («Огонек»)

В Москве вышел роман живущего в Америке писателя Юрия Дружникова «Ангелы на кончике иглы». Это книга о журналистской Москве 1968–69 годов, о событиях, в которых тогдашний газетчик и молодой литератор Дружников принимал активное участие.

Хотя описанные события имели место четверть века назад, есть несомненная внутренняя связь между той жизнью и нашим нынешним существованием. Мы можем легко себе представить героев романа «Ангелы на кончике иглы» в сегодняшней действительности. Кто-то из них эмигрировал, как автор романа; другие работают в новых и обновленных изданиях, пытаются уладить в своей ментальности прошлое, как бы оно ни было тяжело, с нелегкой современностью.

Как сложилась судьба автора романа, в прошлом члена Союза писателей СССР? Каков был путь, приведший Дружникова из Москвы 1987 года в США, где широко публикуются его книги и где он преподает в Калифорнийском университете? В Америке побывал корреспондент журнала «Огонек» М.Зараев.

• • •

— Мы не виделись почти пять лет. Время было необычайно напряженное как для тебя, что вполне естественно (эмиграция, вхождение в новую страну), так и для нас, оставшихся в России.

– То есть и для вас в общем-то вхождение в новую страну...

— Со старыми дырками... Но речь не о нас, о тебе. Кажется, отъезд твой был так давно... Свыше десяти лет до отъезда ты жил между небом и землей: книги запретили, рукописи из издательств отправили на Лубянку, тайно исключили из Союза писателей, лишили возможности выступать и печататься, грозили посадить или отправить в психушку. И мстили — не давали выехать. Как ты попал в Новый свет?

– Если говорить коротко, я решил эмигрировать, когда мне было сорок. Жизнь, как говорил уже парализованный Островский, дается только один раз. Я говорю «парализованный» не в физическом смысле. Всех нас – одних больше, других меньше – парализовала идеология. Решение созревало медленно. В начале семидесятых я много печатался в периодике, выпустил пару книг прозы и пару книг публицистики. Все было искорежено, выхолощено, вписаны убогие сентенции и дурацкие цитаты. Это просто не мои книги, и я их не включаю в собрание сочинений, за исключением того, что сохранилось в оригиналах.

С середины шестидесятых я все больше писал то, что и показать в редакциях было нельзя, например, сатирические рассказы, а потом роман «Ангелы на кончике иглы», – о себе, о нас, об отечественной газетной кухне, о завинчивании гаек в Москве после подавления весны в Праге, о заварушке наверху, в аппаратах ЦК и КГБ. Таких книг тогда еще не было. В какой-то момент я понял, что состояться мне не дадут, а узнав о романе и других написанных рукописях, не дадут и жить. Уже ходили вокруг да около, на обысках у друзей забирали мои рукописи, а со мной «беседовали» и эти криминалы «предъявляли». После одной такой «беседы», когда меня выпустили, взбешенный, я спустился по Кузнецкому мосту с Лубянки, на центральном телеграфе позвонил в Америку и заказал вызов. Серые кардиналы пытались сделать серой страну, которой они владели. Кое-что им удалось. «Уезжайте отсюда, куда душашка жив», – говаривала, помнится, на какой-то пьянке внучка Брежнева.

Но уехать мне не дали, десять лет не давали печататься, а за публикации на Западе мелко мстили. Выехал я только после

скандала с публичной выставкой в Москве «Десять лет изъятия писателя из советской литературы» и когда Конгресс США обратился к Горбачеву с просьбой меня выпустить. В это время у меня уже было три приглашения от американских университетов. Одно я принял.

— К Америке вернемся, а сейчас о главном твоём романе, как ты мне как-то сказал. «Ангелы на кончике иглы» давно вышли за Западе, но все попытки переиздать его в Москве до августа 1991 наталкивались на глухую стену. Почему?

— Потому что это роман не просто о журналистах, а о «подручных партии», а значит, и КГБ. Там сказано больше, чем можно было сказать, пока та партия и ее щит и меч оставались хозяевами в стране. Роман-то документальный. Для меня как историка и литературоведа смуты в России – самое захватывающее время. После чешских событий власти заворачивали гайки, и я тщательно записывал, как и что происходит. Некоторые люди и департаменты меня особенно интересовали: Сулов (в романе он называется «худощавый товарищ»), Брежнев («человек с густыми бровями»), Андропов (в романе – Кегельбанов), пятое управление КГБ по слежке за инакомыслящими, то есть и за мной самим.

Я думаю, со мной многие согласятся, что в принципе, несмотря на маниакальную секретность, в любой стране профессиональный журналист известными ему многочисленными способами может достать любую информацию. Они следили за мной, а я за ними, и мне удавалось собрать о них бесценную информацию от людей, с ними соприкасавшихся. В печать тогда, разумеется, ничего не просачивалось, но устно удавалось узнать многое о том, что и как происходит наверху. Например, в моем романе, писавшемся в начале семидесятых, как может теперь убедиться и советский читатель, описаны семейные дела Брежнева и его сексуальные проблемы более подробно, чем о них пишет пресса времен гласности и откровенничает в 1992 году в своей книге «Здоровье и власть» личный врач генсека Евгений Чазов.

Хотя название газеты, где происходит действие, так сказать, синтезировано («Трудовая правда»), роман документальный. Факты, происшествия, детали записывались пунктуально по следам событий, которые только теперь становятся историей.

Но когда писался роман, в 1969–76 годах, чисто технически, для себя, я определял его жанр иначе. Я пытался раздвинуть традиционные рамки жанра, привязать жанр к времени. Я говорил себе, что пишу «бюрократический роман».

Дело в том, что каждый новый персонаж в романе – так было задумано для точности, для достоверности его – начинается с настоящей анкеты для отдела кадров. Пришлось потрудиться и собрать уникальную коллекцию анкет, включая секретные. За каждой такой анкетой идет глава о прошлом и реальной жизни данного героя, будь то член ЦК и главный редактор, цензор, редакционный стукач или общедоступная девочка из машбюро. Важно тут, что реальность сильно отличалась от показухи анкеты, – такова была наша жизнь. И только потом, когда читатель уже знает парадную сторону героя и его закулисную, предшествующую жизнь, человек входит в действие, в то, что происходит. В мифологизированной системе вроде Совдепии правду можно понять только на фоне липы. Но и дальше в бюрократическом жанре появляются подлинные документы: протоколы, справки, выдержки из газет, оптимистические марши, анекдоты той поры, звучащие странно на фоне жизненной трагедии.

— А почему такое странное название — «Ангелы на кончике иглы»? Человек, который вез мне эту книгу с Запада на заре гласности, рассказал, что роман у него конфисковала таможня в Шереметьеве как религиозную литературу...

— На самом деле это парадигма из средневекового учебника схоластики: «На кончике иглы может уместиться количество ангелов, равное квадратному корню из двух». Таким мне виделось число людей, способных противостоять тупому давлению сверху. Ну, и аналогии со средневековьем не были далеки от истины.

— Не случайно главный редактор «Трудовой правды» Маркцев так испугался, когда ему подсунили самиздатский перевод книги маркиза де Кюстина, и струхнул не зря. Кюстин писал о России Николая Первого, а это выглядело такой антисоветчиной, что КГБ искало человека, скрывшегося под этим именем, то есть переводчика. Несмотря на всю мрачность картины, в «Ангелах на кончике иглы» среди «подручных партии»

есть в редакции люди, которые стараются не участвовать или даже пытаются противостоять...

– Ведь мы с тобой таких знали – теперь об этом можно сказать. Не ты ли, г-н Зараев, тогдашний редактор отдела в газете «Московская правда» писал, а я переправлял вместе со своими материалами в западные русские издания твои статьи под псевдонимом Марран? Рискованная была игра после посадки Синявского и Даниеля! А ты играл. И, как можно видеть, обыграл их. Дорого бы дали органы за открытие псевдонима, получили бы ордена.

В той жизни – и это видно по сегодняшней прессе – внутреннего единомыслия уже не было и в помине. Были газетёры, которые искали щели, чтобы сказать хоть полправды, четверть правды, протащить какую-нибудь крамолу. Писали стопроцентно партийные материалы, которые больше напоминали пародии. Словом, советская журналистика не только поддерживала режим, но и участвовала в его разрушении. Писавшие «чего изволите» циники устно растлевали своим неверием и антисоветскими анекдотами редакционную молодежь. Как это делалось – в романе показано достаточно подробно.

Больше всего автора интересовало сращение идеологического аппарата, прессы и тайной полиции, секреты цензуры, повседневная жизнь журналистов и редакторов, то, что Оруэлл называет doublespeak – практика двоемыслия. В начале семидесятых у меня уже были друзья среди американских корреспондентов в Москве – Хенрик Смит, который недавно приезжал к нам в Дейвис, Кевин Клоуз из «Вашингтон пост», Дан Фишер из «Лос-Анжелес таймс». Дружить было трудно, «хвосты» мешали, но западная журналистика помогала лучше понять кухню застойной советской.

Естественно, что журналистский роман написан на моем опыте и опыте моих друзей, коллег и знакомых. Но не надо видеть конкретных персонажей, хотя они угадываются, – характеры в романе по-мичурински скрещены. Ведь роман писался для Самиздата. И это было опасно – обсуждать, кто есть кто. А вышла книга из печати в Нью-Йорке, где читателю бояться было нечего, так что совет оказался ненужным. Теперь роман издан большим тиражом в Москве, где, хочу надеяться, ни автору, ни читателю бояться больше не придется.

— Сейчас можно об этом написать: как ты переправил в то мрачное время свои рукописи и архив?

— Переброс архива через железный занавес был сложной процедурой, связанной с микрофильмированием. Тогда надо было спасти архивы. Я сам в семидесятых-восьмидесятых сделал аппаратуру и переснимал на микропленку в тайном месте за городом диссидентские рукописи, например, архивы Александра Галича, чтобы переправить с надежными людьми к нему в Норвегию, нескольких лояльных советских писателей, которые собирались рискнуть и печататься на Западе, но потом раздумали (без их разрешения не могу назвать имена). Помню, за окнами дежурила «скорая помощь», в которой сидели топтуны с инфракрасным биноклем. А мы вдвоем с Георгием Владимовым, тщательно завесив окна, наклеивали пластырем на живот полуголого итальянского друга эти пленки, предварительно отрезав перфорацию, чтобы рулончики были поуже. Покойный отец Александр Мень, которому понравился роман «Ангелы», охотно помогал мне: важных иностранных священников, его гостей, обычно в таможне не обыскивали.

— Как приняла тебя Америка?

— Я был готов к худшему, но с худшим не соприкоснулся. В два ночи прилетел в Техас, в восемь утра уже начал читать первую лекцию в Техасском университете. Курс назывался «Современная советская цивилизация». Образцом для меня был Набоков во всех своих ипостасях вместе: прозаик, блестящий, еще не оцененный по-настоящему литературовед и университетский профессор. Я еще не был уверен, что эта шкура для меня, да и контракт с университетом был временный, поэтому летом, в каникулы, когда работал несколько месяцев на радио «Свобода» и «Голосе Америки», сдал там трехчасовой профессиональный журналистский экзамен. Но вскоре у меня в Лондоне вышло в свет историко-литературное исследование «Вознесение Павлика Морозова», и мне предложил позицию Калифорнийский университет в Дейвисе. Я взял напрокат грузовик и перевез семью через пол-Америки под Сан-Франциско. Мы ехали и хором пели: «И на Тихом океане свой закончили поход».

— Я первый раз в Штатах. Вчера ты водил меня в Дейвисе по кампусу. В жизни не видел столько счастливых лиц. В ауди-

ториях от восьмисот (модный курс «Биография Моцарта») до трех студентов («Стилистика романа «Капитанская дочка»). На поляне около тысячи молодых людей взялись за руки в круг, и индеец в национальном костюме обучает их танцам. Другая тысяча человек в кафе обедает: несколько национальных кухонь — выбирай любую, и все дешево и вкусно. В библиотеке, прямо на месте, через компьютерную систему можно получить книгу из любой университетской библиотеки США. Я все еще колочу на старой машинке, а у тебя два персональных компьютера дома, третий в офисе, и робот выполняет корректорские функции. Калифорния — это односезонье, лето практически круглый год. В университете двадцать четыре тысячи студентов, десять тысяч профессоров и технического персонала. Кроме университета в городе нет ничего. А что делают остальные жители Дейвиса?

— Кто-то должен кормить эти рты, поэтому остальные — готовят пиццу. А вообще одна из примечательностей такого академического города в том, что он напоминает большую гостиницу: обитатели меняются, а по воскресеньям и на каникулах — тишина. К тому же отсев из высшей школы в Америке чудовищно большой, ведь и умственно неполноценный легко может попасть. В Техасском университете отсев 40 процентов в первые два года, у нас в Калифорнийском 34. Получается, каждый третий уходит недоучкой. Хорошо это для страны или плохо? Мне кажется, хорошо. Что бы человек ни стал потом делать, хоть мусор убирать, он соприкоснулся с университетом. Не вынес знаний и культуры, так хоть услышал про их важность.

— Большинство едет на велосипедах, включая тебя самого. Как ты себя чувствуешь в этом муравейнике?

— Я здесь дома. Американский университет — феномен особый. Уже привык, что надо работать 14–16 часов в день. Так и в субботу с воскресеньем. Так работают все. Формально профессор в Дейвисе читает лекции 30 недель в год, два-три раза в неделю по одной-две лекции в день, а 22 недели свободен. Но преподавание — это 50 процентов того, за что ему платят зарплату. Другие 50 процентов — это его исследовательская работа или творчество, которое оценивается по книгам, статьям, пьесам или симфониям. Плюс обязательное участие в

конференциях по всему миру. Считается, что профессор, который сам не пишет книг, не может научить других, как их писать. Понимаешь, университет поощряет твою активность. И студенты вовлечены в твой творческий процесс, они твои читатели, критики, твоя Школа.

Американская академическая наука хаотична от избытка свободы. Но в целом слависты хотят знать все, в том числе понять, как жила 70 лет та чудовищная страна, откуда мы родом. Тут в университетах находило приют все, запрещенное там. Критика того, что я в целом называю советизмом, любые «измы», психоанализ в русской литературе. Давно изучался язык однопартийной журналистики. Два года я читал курс «Российский писатель и цензура». По русской вульгарной лексике в наше время издано больше литературы, чем в России за всю историю. Большой интерес к современной литературе, философии. Например, изучается русская поэзия минимального выражения.

— А что это?

— Это стихи, в которых на странице, допустим, одно слово «Вот!» Или просто точки. Или рисунки из букв. Кстати, в Москве обсуждают вопрос: существовала ли литература социалистического реализма, а она давно, гораздо глубже и объективнее изучена и поставлена на место в Америке. Есть, конечно, и перекосы. Например, Достоевский значительно более популярный писатель в США, чем Пушкин, которого американский читатель не знает. Множество курсов по Достоевскому читается на всех гуманитарных факультетах, чего не скажешь про Пушкина. Но американский университет легок для перемен. Недавно я начал новый курс для аспирантов, отсутствующий даже на филологических факультетах России. Называется он «Pushkin studies», что в переводе на русский означает «Пушкинистика» или «История изучения Пушкина». В курс входят биографии крупных пушкинистов, их работы и, конечно, анализ мифов о Пушкине, как, кем и почему они создавались, каков реальный облик великого поэта России, которого за 150 лет отхрестоматизировали до неузнаваемости и сделали казенным символом империи.

Я ощущаю себя малой частицей русской культуры, ведь я единственный русский гуманитарий в университете на 24 ты-

сячи студентов. И это культуртрегерство мне по душе. Мои студенты будут журналистами, дипломатами, переводчиками, учителями. Если из моих лекций и книг они лучше поймут Россию, от этого будет польза обеим странам.

— В Москве спорят, правы ли те, кто говорит, что американские студенты — невежды и вообще в Америке духовная жизнь убогая. Что ты об этом думаешь?

— Я не раз говорил об этом с приезжающими литераторами. Только что «Голос Америки» запустил в эфир беседу с Василием Аксеновым и со мной, задав нам обоим этот же вопрос. Думаю, что в этом прежде всего желание гостей наших эпатировать московскую публику. Что касается убогости духовной, которую некоторые визитеры видят здесь невооруженным взглядом, то у одних это предубеждение от недостаточного знания, а у других самозащита. В Америке сегодня 2222 университета и колледжа — цифра такая, что запомнить легко, но вряд ли также легко понять духовную культуру, сосредоточенную в таком количестве школ. И вообще Америка, так сказать, многокультурная страна. Есть в ней и русское культурное поле — одно из многих.

— А положение русского писателя в Америке? Я слышал, что только один Солженицын может позволить себе роскошь жить на гонорар, а в Америке, говорят, чуть ли не триста русских писателей.

— Русская литература на Западе, за небольшим исключением, не кормит, а значит является делом чистого призвания. Профессиональных писателей, авторов книг, меньше, а если взглянуть исторически, — больше. Сейчас обсуждается замысел издать однотомный энциклопедический словарь «Русские писатели Америки». В нем будет примерно 550 имен. В университетах читаются курсы по литературе русской эмиграции, но русских писателей (а именно этот уровень считают достаточно солидным американские издатели) в университетах раздва и обчелся. Несколько прозаиков и критиков служат на радио «Свобода» и «Голосе Америки» — в Вашингтонских и Нью-Йоркских студиях. Несколько авторов держат свои русские издательства, газеты и журналы. У многих писателей и журналистов работают и содержат их жены — преуспевающие программисты, врачи или инженеры. Думаю, что такая же судь-

ба – уж не знаю, хорошая или плохая – уготована избалованным прикормом государства писателям России.

— Читательская аудитория большая?

– Покойный мой друг Сергей Довлатов любил повторять: «Свобода здесь – читатель там». Впрочем, теперь это несколько устарело: свобода и там, и там, а читатель... Издаются американские русские писатели небольшими тиражами – от 700 до 2000 экз. Но сказать по чести, не верю я в массового читателя вообще. Массовый читатель, самая читающая страна в мире – это была большая развесистая клюква.

У меня свой читатель, для которого я пишу. Этот читатель – человек интеллигентный, чувствующий юмор, думающий. Мы с моим читателем из одного союза скептиков. И читатель мой живет в разных странах, в том числе и на родине. С 1983 года до выхода в 1988 году мою книжку «Вознесение Павлика Морозова» прочитали в Самиздате сотни людей и – что любопытно – никто не донес, ибо на допросах фигурировали другие публикации, а книга о Морозове, которая их так рассердила после выхода в Лондоне, что власти создали специальную комиссию, проскочила мимо них.

В Америке русских писателей читает так называемый средний класс, точнее – русская часть среднего класса – эмигранты. Но они живут и в Австралии, и в Европе, и в Канаде. Читают мало. Но есть более заинтересованная категория читателей: тысячи славистов: профессора университетов, студенты, аспиранты, учителя русского языка средних школ. Оказалось, что они читают «Микророманы», – может, потому, что длинные романы им читать трудно? Конечно, людям с искусственным русским языком читать современную прозу по-русски тяжело.

В русской прессе Америки идет сейчас такая же дискуссия об умирании литературы в России. Но если мы обратимся к началу прошлого века, то увидим, что тиражи были небольшие – 500–1000 экземпляров. Вяземский и Жуковский скупали тираж Пушкина целиком, чтобы просто дарить знакомым, а сам Пушкин жаловался, что круг редеет и скоро мы будем вынуждены из-за отсутствия читателей читать друг другу. При этом литература становилась той, которую мы теперь называем классикой. Разговоры о смерти литературы – от неста-

бильности общей ситуации в России, от ощущения безвременья. От того, наконец, что умирают мифы, уступая место чувству реальности. А литературные похороны мифов – это именно то, чему я посвящаю часть моей жизни. Эксперимент в России был уникальный. Очень интересно человечеству его понять. Я привез много материала, у меня было много времени для его сбора там и есть, что сказать. Я приехал на шестом десятке, вся жизнь, опыт – там, а писать мне лучше здесь.

— **Имеется в виду Пушкин, то есть «Узник России», как ты назвал книгу? Почему — Пушкин?**

– Дело в том, что утопическая идеология изуродовала не только историю 20 века, но и восприятие предшествующей русской истории. Великий русский поэт, как я доказываю в книге, сразу после лица стал стремиться за границу. А в ссылке, как известно, решил туда бежать. Но если бежать – значит, он отрезал для себя возможность вернуться, ибо его ждала бы каторга. Стало быть, речь шла об эмиграции. Вот какой вывод я делаю в книге «Узник России» на основе собранных в течение почти десяти лет материалов. Это первое в пушкинистике большое исследование стремления великого русского поэта вырваться из России. Надеюсь, книга скоро выйдет и в Москве.

— **Как ты понимаешь назначение писателя?**

– Я попытался сделать несколько социальных срезов российской действительности в своих книгах. Достоинство любого писателя для меня определяется прежде всего его умением удивлять обыкновенной правдой. То есть умение раскапывать правду, ускользающую от глаз читателя, и умение подать ее в интересной форме. Это могут быть мелкие детали, а могут быть философские концепции, но лучше, когда и то, и другое. Модная литературная эквилибристика у некоторых из нас начинается от того, что правдой удивить не можем.

— **Стал ли ты писать иначе здесь, в Америке?**

– Наверняка увеличился процент терпимости. Читаю сейчас в независимых советских изданиях следующую изумительную фразу: «Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей». Эта фраза вызывает улыбку у моих американских коллег. А как же иначе? В том и смысл прессы, чтобы в ней мнения не совпадали. Это пережиток тотального единомыслия. Тут другое отношение к книге и статье. Нет давления.

Крайности не желательны. Писатель пишет правду, как он лично ее видит. В Америке категоричность не понимают. Мне нравится, что в Америке, даже если несешь чушь, не принято говорить «Вы не правы». Скажут: «Ваша мысль очень интересна, но у меня другое мнение». И это не только вежливость. Это уважение к собеседнику и свидетельство, что другой не глупее тебя.

— **Каковы твои писательские планы сегодня, когда уже нет органичной связи с тем миром. Ведь писатель отрывается от среды...**

— Ни от какой среды серьезный писатель за границей не отрывается. Это все таможенное мышление. Иначе половину русской классики можно считать оторванной: Гоголь, Тютчев, Тургенев, Достоевский, даже Горький годами жили за границей, именно там написали лучшие вещи. Жуковский, Чехов, Бунин умерли за границей. Нынешние русские Нобелевские лауреаты есть только за границей. Пушкина всю жизнь не пускали на Запад и сделали злым по отношению к родине. «Евгений Онегин» и «Дубровский», не говоря уж об исторических трудах, остались недописанными. Склонив накатать позорные стихи «Клеветникам России», то есть замарав идеологическим патриотизмом и затравив, насильно превратили его в патриота. За границей Пушкин бы прожил, может, не 37, а 73 и написал бы не десять томов, а двадцать.

Заграничная жизнь, по моему убеждению, только помогает писать о России, отмечая второстепенное, цедеэльскую сутолоку, коллективное пьянство (понимаемое как духовная жизнь) и унижительную заботу, где достать ленту для пишущей машинки. А телевидение московское у меня дома в Калифорнии. Да и мы с тобой беседуем, сидя в саду в Дейвисе, а не на кухне в Москве. Русская литература в эмиграции и на родине — сообщающиеся сосуды. Эмиграция спасла русскую литературу от вымирания в предыдущие десятилетия. Сейчас туда пересаживают спасенные саженцы.

— **Собираешься к нам в Москву?**

— Хотел поехать в середине августа 1991 года, ничего не подозревая о заварушке, но — не дали визы в советском консульстве в Сан-Франциско, доказав этим, что до самой последней черты я все еще был в черных списках. Надеюсь, с этим

покончено. Сейчас выходит в России несколько моих книг, приглашают выступать, хочу попасть в открытые недавно архивы. Что касается ностальгической аллергии, то мы живем в конце двадцатого века, черт подери! А еще Пушкин любил латинскую поговорку: «Ubi bene ibe patria» (Где хорошо, там и родина). У одного из моих коллег квартиры в одиннадцати странах, он живет то в одной то в другой, любит их все, много пишет и везде печатается. От нас с тобой он отличается только тем, что богат. Но это, кажется, единственная опасность, которая ни здесь, ни в России русскому писателю не грозит.

1992, Дейвис.

ОТ «БЕСОВ» ДО «АНГЕЛОВ»

Диалог с критиком В.Свирским

На фоне бумажного голода и свертывания книжного дела, о котором так много пишут, московское издательство «Культура» выпустило роман Юрия Дружникова «Ангелы на кончике иглы» 150-тысячным тиражом и собирается этот роман переиздавать. «Ангелы на кончике иглы», хорошо известные западному читателю, в течение последних лет неоднократно пытались издать в Москве, Риге, Петербурге, Новосибирске, даже отдельные главы печатались. А смог роман появиться в Москве лишь после провала государственного переворота в 1991 году. О судьбе этого необычного романа и некоторых тайных пружинах российских перемен критик В.Свирский беседует с Юрием Дружниковым.

• • •

— Итак, «Ангелы», тринадцать лет назад вывезенные отважным американцем из Москвы в Штаты в виде микропленки, засунутой в пачку «Мальборо», опубликованные позже в Нью-Йорке и еще недавно конфисковывавшиеся на московской таможне, возвратились на родину. Я, можно сказать, присутствовал при зачатии романа и наблюдал процесс его создания — первого серьезного художественного анализа эпохи так называемого застоя. Вы мне рассказывали тогда про конструкцию будущей хроники. Это было в 1969-м. Сегодня об этом странно говорить, но тогда это держалось в тайне. Ведь лучшее, что писалось...

– Всё лучшее, что писалось, зарывалось в металлический контейнер в гараже. Чтобы его не могли найти, контейнер лежал не под гаражом, а в стороне, так сказать, в тоннеле. Такое время было. Позже роман стал частью зарытого.

— **Слушал я тайное чтение первых глав из «Ангелов», потом прочитал рукопись целиком, кажется, в 1976 году, в Москве. А когда это началось? И откуда взялась идея?**

– В шестидесятые служил я в московской газете, и знакомых у меня было пол-Москвы. Это было время, как Герцен говорил, внешнего рабства и внутреннего освобождения. Одни в то время уже выходили на Лобное место, другие только еще рвались в партию, хотя вступившим в нее ранее, уже хотелось из нее бежать. Я хотел быть сам по себе, не мараться, – почему-то, возможно, благодаря друзьям, свое отсидевшим, я это рано стал понимать. Да меня и не печатали: сочинялась проза не в струю. Сейчас многие тогдашние лояльные писатели вынули фиги из карманов, где десятилетиями их держали, и размахивают ими в подтверждение своего исконного диссидентства. Процветавшие тогда опять хотят быть впереди.

Всех перецеголял один советский писатель, которого раз тогда покритиковали. Теперь он в журнале опубликовал к старой книге построчные добавки с комментариями: дескать он еще тогда тут и там намекал на большее, нежели написал. Это звучит нынче печально, поскольку тогда он публично каялся и клялся в преданности. Но именно это он сейчас забыл. Такая ирония судьбы: все попытки соединить честность с лояльностью, умолченную правду с намеками, обойти острые углы, а это был опыт многих писателей, теперь стало видно – остаются на обочине литературы. Обе написанных тогда литературы – опубликованная в советских изданиях и запретная – сошлись нынче на столе российского читателя, и видно, кто есть кто. Много из того, что можно было печатать тогда, просто не интересно современному читателю, а будет ли нужно будущему, это весьма сомнительно.

— **Простите, а ваши собственные книги, изданные тогда?**

– Горько, но надо от них просто отказаться. Отказаться – это как сжечь. Это святое авторское право, к которому потомки должны относиться с уважением. Подлинное печататься не могло. Удавалось что-то протащить в тумане подделок. Слава

Богу, мы живы и можем решить, что оставить. Предстоит тексты пересмотреть, восстановить купюры и редакторскую чистку. Грустно не то, что писатели тогда подлаживались, а то, что иные из них и сейчас там играют двойные игры.

Идеологическая машина была основой строя, а печать – ее самым мощным оружием. Эффективным ли? И да, и нет. Почему? Какие тайные пружины ее двигали? Служа в газете, ежедневно видя воздействие этого страшного оружия, я хотел понять его иезуитскую сущность, описать тайны двора, нити, кухню, то, что американцы называют ноу-хау. Вот так рождались «Ангелы на кончике иглы». Играть я не хотел и писал, не рассчитывая на публикацию – максимум правды.

— **Заглавие... Связывалось ли оно как-то с «Бесами»?**

– В подтексте – да. Ведь я начинал роман, когда исполнилось столетие «Бесов», тщательно замалчивавшееся. Но тема была, можно сказать, самая больная: кто покалечил Россию? Достоевский оказался (да и остается) умнее тех, кто последующее столетие творил бесовщину и построил в соответствии с мифом рай, который скорее напоминал ад. В шестидесятые годы прошлого века интеллигенция, протест у которой – стимул жизни, шла в нигилизм, к революции, рвалась осуществить утопию путем насилия, террора. Но вот бесы пришли к власти. Сотворив это все, получив за это сполна, через сто лет, уже в наше время, интеллигенция отказалась от насилия. Пришла к обратному.

Диссидентство, даже самое активное, было мягким и терпеливым призывом к реформаторству. Вот откуда идея ангелов. Сколько их было? Власти уничтожали инакомыслящих почище, чем в свое время бесов. Тем не менее факт налицо: русская история вывернулась наизнанку. Революция стала злом. При этом мне казалось, что одного описания содеянного и демонизма мало. Хотелось понять историю шире, взглянуть на все глазами Щедрина, даже, если говорить о расплате и наказании, глазами Данте. И еще мне казалось, что именно журналистика – главное колесо идеологии. Не случайно называют ее второй древнейшей профессией после проституции. Понять ее сущность в стране Советов и точно описать, как это делалось, кухню, процессы, истинные причины, – вот к чему я стремился.

— **Никогда не читал романа, в котором оживают бюрократические бумажки...**

— Для достоверности я шел от документов времени. Автор как начальник отдела кадров, прежде чем ввести нового героя, дает его личное дело, анкету, справки, характеристики, а уж потом рассказывает о нем, часто противоположное анкетам. Анкеты, справки, в том числе секретные, все подлинные. На фоне потока вымысла и просто лжи, заполнившей литературу, мне хотелось быть как можно более скрупулезным в деталях, свойственных времени, реалиям советской жизни. Ведь все быстро забывается. Теперь даже КГБ спешит уничтожить дела. А без всех этих документов как достоверно объяснить унижительность и ханжество времени?

— **С годами эти страницы романа станут только интереснее. Но и сейчас передо мной стопа периодических изданий, печатающих роман с продолжением, в отрывках и с местными комментариями. И — с этими анкетами, справками, характеристиками... Наконец, московское издание романа. Автору, видимо, приятно держать в руках тамошнее издание, еще пахнущее типографской краской.**

— Автору предъявил претензии читатель.

— **Недоволен?**

— Напротив, доволен, но хотел, чтобы я поделился с ним гонораром.

— ??

— Я работал в своем университетском кабинете, когда вошла секретарша и сказала, что меня хочет видеть человек, не говорящий по-английски, но показывающий ей мой роман. Следом появился не совсем молодой человек с московским изданием «Ангелов на кончике иглы» в руке и сообщил, что он сын крупного номенклатурного работника из Москвы. Он бросил институт, пьянствовал, влюбился в дочку генерала КГБ, пьяным за рулем сбил насмерть двух работяг, тоже пьяных. Отсидел, но недолго: папа нашел каналы и через Брежнева и Андропова сыночка выпустили. Гость мой сказал, что слышал, будто я получил за роман четверть миллиона, и, поскольку я использовал историю его жизни, ему причитается. Тем более, что он в Америку приехал по липовому приглашению, и никто не подарит ему «видюшник». Биография действительно сходная

с романной, только у меня его отец – главный редактор центральной газеты, а у него – министр. Но... роман писался, когда сынок еще пешком под стол ходил. Ушел читатель обиженным.

— А говорят, писатель в эмиграции теряет контакт с читателем на родине... Он, наверное, думал, что гонорар в долларах... Что касается претензий прототипа, то могу вас утешить: в истории литературы они — не новость. Из-за подобных узнаваний писателей даже на дуэль вызывали. Так что, считайте, что вам повезло. Но — оставим курьезы. А кто все-таки были прототипы героев? Главный прототип, конечно, всегда автор — очень многих и разных персонажей. Про других, я понимаю, не все пока можно сказать: люди живы, узнают себя. Не дай Бог упростить, но вероятно, есть и такие, о которых можно сказать конкретно.

— За исключением некоторых людей, что живы и их можно обидеть, говорить возможно о многих, прежде всего о тех, кого уже нет в живых. Меня учили жить старые газетные волки. Один из них, Борис Волк (настоящая фамилия), который работал в «Вечерней Москве», был гениальным учителем предмета, который я бы назвал так: «Теория и практика цинизма». Другой – Роман Карпель, добрейший человек, работал в «Московском комсомольце». Больше всего на свете он любил кошек. Но при этом написал либретто оперы «Павлик Морозов». Третий – Борис Иоффе, он же Евсеев, – мог один написать целую газету. Партийная исполнительность уживалась в нем с талантом открывателя подлинных талантов, которым он, однако, не мог помочь. Утоляя свои печали, он специализировался по женской части. Черты этих людей собрались в Раппопорте. Я сам учил молодых. Среди них есть известные сейчас журналисты и писатели-перестройщики. Марцев – главный редактор газеты – сплав многих редакторов и партийных чиновников, которых я знал. Но узнаваемы в нем Юрий Баланенко, редактор «Московской правды», ныне покойный, и, конечно, редакторы газет, в которых я сотрудничал в Москве.

— А сочинение на Лубянке письма чехов с просьбой ввести войска?

— Если бы я эту историю придумывал, мне было бы легче сделать ее более правдоподобной. Я действительно встретил

человека, которому поручили состряпать такое письмо. Делали это впопыхах, и Андропов вспомнил про своего человека. Свой в двух смыслах: чекистский, связанный с органами, и свой – вместе работали, проверен, не подведет. А когда свой, то не думают, умеет или не умеет. А редактор Ягубов какой? Кто вообще командовал всеми делами в стране – умные люди? Да ведь они подбирали подходящих себе еще глупее себя, потому что так удобнее руководить. Горбачев, например, умный человек, но сколько лет прикидывался придурком среди них, чтобы забраться наверх. В романе действует закон литературной достоверности, которая оказывается иногда важнее исторической точности.

— Когда вы писали посвящение: «Моим друзьям по обе стороны барьера — с надеждой», то имели в виду и надежду дожить до издания в России?

— Это посвящение было предпослано американскому изданию. А сперва в Самиздате было другое, более важное для читателя: «Просьба не искать под вымышленными именами знакомых, ибо это ни к чему хорошему не приведет». Что касается надежды, я вкладывал в это слово более широкий смысл: упование на крушение зла, на уничтожение ржавого занавеса и как результат публикацию романа, который писался, когда автор еще и не думал отделяться от отечества. Тогда перспектива перемен, если и виделась, то не при жизни нашего поколения.

— Надежда на публикацию романа как следствие развала системы? Может, наоборот: надежда возлагалась на то, что система рухнет в результате появления таких книг? Помнится, вы сами утверждали тогда, что появившись в России «Архипелаг ГУЛАГ», система и полгода не продержится.

— Мы тогда наивно переоценивали силу слова. Нас к этому приучили. Но и сегодня я не стал бы недооценивать произведений Александра Исаевича.

— В запоздалом выходе «Ангелов на кончике иглы» в России есть и свои положительные стороны. Я прочитал почти все рецензии на «Ангелов»; критики усматривают в романе сатиру. А мне видится в «Ангелах» лишь один элемент сатиры — резко выраженное критическое отношение к действительности, скепсис по поводу существующего в стране режима. Ни на-

рочито выраженных условностей, ни доведения реальности до абсурда, ни гиперболизации — никакой специфической сатирической атрибутики в книге нет. Во всяком случае не больше, чем, скажем, ну что ли, у Бальзака. Впрочем, и критиков можно понять: совсем недавно многое, изображенное в романе, представлялось фантасмагорией, гротеском. А роман оказался первым реалистическим описанием брежневской эпохи, первым серьезным, без уверток и эзоповщины, художественным ее осмыслением. Ведь она пока в прозе остается в каком-то смысле вакуумом, если не считать того, что разрешили напечатать в те годы. Трезвое, даже, я бы сказал, циничное изображение в «Ангелах на кончике иглы» сегодня показалось невероятным, было поначалу воспринято как сатира. Натура настолько абсурдна, что и ее отражение в романе выглядело гротескным.

Сегодняшний российский читатель, после открытия архивов, после того, как стали известны сотни фактов, характеризующих как всю систему, так и частную жизнь кремлевской камарильи, поймет, что сатиричен не роман, сатирична сама действительность. Время — порядочный человек, как говорят итальянцы: оно все расставило на свои места.

— Перебираю в уме сцены романа, ищу хоть одну, которая бы в нынешних условиях вызывала ощущение гротескности, и не могу найти. Включая и эпизоды из личной жизни «товарища с густыми бровями» или угрозу маршала бронетанковых войск ввести в редакцию танки, если его статья не будет напечатана. Это были услышанные истории, но о многом писал интуитивно... Вот когда начинаешь понимать значение слов Пришвина, сказавшего, что без выдумки не может быть художественной правды, что только выдумка спасает правду.

— В 68-м ввели войска в Чехословакию. Мы кипели внутри и — молчали. Мне кажется, роман начат был под влиянием финала чешского ренессанса, задавленного танками. Тогда у многих было ощущение, что нас измазали в дерьме. Кто-то отважился выйти на Красную площадь. Кто-то поднял свою планку протеста в литературе. Сегодняшнему российскому читателю важно примерить себя к тогдашнему состоянию писателя, если читатель одного возраста с ним. Или, если он молод, попытаться понять своих отцов.

– Думаю, истоки были прозаичней. Семь лет я проработал в московской газете. Одни журналисты делали стремительную карьеру, другие пьянствовали прямо в редакции. Я стремился описать технологию сотворения великой лжи, дьявольскую кухню, тайны кремлевского двора, куда мне довелось заглядывать. После Чехословакии 68-го в Москве стали давить интеллигенцию, литературу, печать, искусство, театр, – испугались, что возможен рецидив. Мы тогда много говорили, что предстоят тяжелые годы не только для чехов, но и для всего «лагеря».

Сейчас это забылось, но признаем очевидный факт: власть тогда победила, рецидив отодвинулся на двадцать лет – на целое поколение! Россия, все мы потеряли двадцать лет свободы, культуры, цивилизации, жили в норах, как крысы, по выражению генерала Григоренко. Как это получилось, почему? Думалось, если не напишу, забудется, уйдет. Играть я не хотел, на компромиссы ради публикации не рассчитывал. Собираение правды по крупицам вдруг стало важнее всего в жизни. Писал максимум увиденного, услышанного, добытого, схваченного по следам событий, совершенно расковавшись.

— **Эта раскованность пугала некоторых первых читателей рукописи.**

– В России пугает редакторов и сейчас. Советовали смягчить, убрать сексуальные сцены. Но задача жизни моей была точно отразить время завинчивания последних гаек. Отсюда и точное определение временных рамок романа: 23 февраля – 30 апреля 1969 года: 67 дней московской духовной, журналистской, цеховской, кагебешной, обывательской жизни, политической и интимной, внешней и подводной, даже с элементами психоанализа, словом, все, что удалось запечатлеть летописцу. Эти 67 дней чрезвычайно важны для русской и всемирной истории: с них началась двадцатилетняя агония многоголового змея. Период этот до сих пор недооценивается ни западными, ни, тем более, российскими историками и политологами.

— Чешские события пронизывают весь роман, даже если не упоминаются. Они — лакмусовая бумажка порядочности, человечности, сопротивляемости обволакивающему злу. В «Ангелах на кончике иглы» ощущается не только конец на-

дежд на либерализацию сверху, но и конец целого периода в жизни общества, начало новой эры — эры маразма. Именно тогда верхи почти открыто стали проповедовать принцип «После нас — хоть потоп». На их век, считали, хватит и казны государственной, и диссидентов для обмена, и нефти, и народного безмолвия. Ложь стала откровенной, циничной. Нас ничем не удивишь, но в «Ангелах» раскрываются такие детали изготовления печатной лжи, что...

— Не сказал бы, что в брежневское время ложь стала откровеннее и циничней. Не знаю, удалось ли, но я хотел показать, что ложь была в основе того, что родилось в октябре 1917-го. Ложью были пропитаны первые слова новой структуры. Обещали мир — дали четыре года кровавой гражданской войны. Обещали хлеб и землю — отобрали последнее. Кто был ничем и кто был всем — стали одинаковыми рабами.

— До Октября лгали, чтобы захватить власть, после — чтобы ее удержать. Вспоминаются слова Шалапина о «сквозной лживости во всем». «Ангелы» — это роман о великой лжи. Все врут всем: родители детям, дети родителям, мужья и жены — друг другу, также начальники и подчиненные. Врут учителя и учебники. Целые академические институты, кафедры общественных наук в тысячах вузов созданы специально, чтобы обосновывать и распространять вранье. Государство обманывает граждан, те отвечают ему тем же. Врут философы и таксисты, врут чекисты и экономисты, и, конечно, это делают журналисты. Ложь не могла не проникнуть в души, стала естественным состоянием общества.

— Нынче утверждают, что большевистский агитпроп действовал по методу фашистского: врать надо глобально, тогда поверят. Мне кажется, надо еще изучить, за кем тут приоритет, кто у кого учился. Но дело не только в дозах лжи. У советского человека не было возможности сравнивать. Как утверждают индийские мудрецы: человек, который не понимает, что он видит синее, его не видит.

— В романе эту мудрость произносит старый партийный журналист Яков Раппопорт.

— Важно было проследить процесс создания лжи. Главный редактор газеты «Трудовая правда» Макарецев понимает: «То, что происходило в жизни, могло стихийно меняться. То, о чем

писала газета, менялось только по указаниям». Регламентировалось все: о ком не писать, кого и как облить грязью, какую статью должен подписать русский, а какую грузин или еврей, что необходимо вспомнить в мемуарах, а что забыть, кого называть «т.», кого «тов.», а кого «товарищ», каков очередной почин и кто будет инициатором. Отсюда лучшими подручными партии были такие журналисты, как Раппопорт, который выражал мысли передовых рабочих и партработников, доярок и свиначок, лауреатов и депутатов, военачальников и директоров заводов, писателей и композиторов. «По указанию сверху я выдумываю прошлое, высасываю из прошлого псевдогероев и псевдозадачи современности, вроде субботника, а потом сам же изображаю всенародное ликование. На этом липовом фундаменте я обещаю прочное будущее...»

Еще на один фундамент указывает Ягубов, заместитель главного редактора, назначенный на эту должность органами: «Что бы ни произошло во Вселенной, подписчик должен прочитать, что у нас в стране все в порядке».

— Как не вспомнить фразу Наполеона из старого анекдота, что будь у него газета «Правда», мир никогда не узнал бы о его поражении при Ватерлоо. Современному думающему россиянину важно понять, что одним из методов, при помощи которых его держали за болвана, была предельная упрощенность проповедовавшихся прессой мыслей. Никакого многоцветья мнений: красное — черное, мы — они, друзья — враги, никаких сомнений: все, что делает и предлагает партия — хорошо, все — против чего она выступает — плохо.

— Раппопорт так и говорит: «Газетная философия должна быть доступна дуракам».

— Он, между прочим, не является в этом вопросе первооткрывателем. Тут пальма первенства принадлежит Ульянову-Ленину, который в беседе с Горьким объяснил (очерк «В.И. Ленин»): «Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто».

— Куда уж проще! И это презрение к народу подносилось в школьных и университетских курсах как пример гениальности вождя и его пламенной любви к русскому народу.

— Думаю, формула товарищей из агитпропа и д-ра Гебельса «врите больше, тогда поверят» имела существенный изъ-

ян. Ложь, как раствор, может быть перенасыщенной, и тогда она начинает работать против самого лжеца. Раппопорт и некоторые другие персонажи романа с серьезными лицами доводят до абсурда официальную идеологию, делая таким образом доброе дело. «Твердя изо дня в день всю эту чушь о светлых идеалах, — бросает Раппопорт, — я изо всех сил тяну их в омут. Честность только тормозит».

— Но такой «сознательный конформизм» создает удобную лазейку для тех, кто верой и правдой служил системе. Любой из них сегодня может сказать: «А я вовсе не подсвистывал режиму, я его освистывал таким вот своеобразным манером». Тогда самыми мудрыми диссидентами становятся журналисты «Правды», бабаевские, кочетовы и даже писатель №1 со своей «Малой землей», включенной в школьные программы по изящной словесности.

— В «Ангелах» доказывается, что государственная ложь была особенно важна, когда прикрывала насилие: ужасы военного коммунизма, ГУЛАГа, Венгрию 56-го и Чехословакию 68-го. При всех диссидентских замыслах отдельных сотрудников газета «Трудовая правда» была фабрикой лжи. Главный ее редактор Макарцев старается быть чистоплотным, но в конечном-то счете он и люди с Лубянки делали одно дело. «Братскую интернациональную помощь» Афганистану оказывали уже после написания романа, а методика вполне укладывалась в логику предыдущих кампаний. Роман создавался до того, как стала достоянием гласности коррупция кланов — партийных, гебистских, милицейских, до разоблачения их уголовных махинаций. Что это — интуиция художника или вам были известны какие-то факты?

— Кое-что просачивалось... Интуиция имела под собой информационную основу. Один из еще не разоблаченных мифов — будто перерождение большевиков, сращение их с уголовным миром началось при Брежневе. А ведь известны отдельные этапы: ограбление банков большевиками, террор как основной инструмент политики партии, лозунг «Грабь награбленное!» Помните, Горький писал в первые месяцы революции о представителях советской власти: «Грабят и продают церкви, военные музеи, — продают пушки, винтовки..., грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно

расхитить, продается все, что можно продать...» Вот в чем ленинизм оказался поистине всемогущим учением. Сегодняшние остатки той же партии занимаются тем же.

— Наступила «беда завтрашнего дня».

— То есть?

— Цитирую вождя партии. Когда Ленин мечтал о революции, он вслед за Бакуниным и Нечаевым призывал «сознательный пролетариат» брать в союзники криминальный элемент, рассчитывая, что пролетариат в конце концов «просветит и облагородит» уголовников. Однако просветительская деятельность воров и бандитов оказалась куда более действенной. А поскольку компании Ленина было важнее всего захватить власть, образовался симбиоз идеалистов–уголовников. Ленин легко переложил проблему облагораживания уголовников на плечи будущих поколений, сказав: «Это беда завтрашнего дня». Бациллы нечаевщины в конце концов поразили все клетки системы. Роман — отражение этой картины. Сегодня полуживые геронтократы уступили место более образованным и энергичным. Но разве не такая же политика сегодняшнего правительства России: будущего как бы не существует, лишь бы продержаться еще день, месяц, одну зиму... Как и раньше, продают за бесценок танки и самолеты тем, кому они нужны для расширения гегемонии на север, то есть вооружают своих врагов.

— Конечно, процесс вырождения власти меня интересовал в деталях, но я писал роман, чтобы показать, кто и как дергает кукол за ниточки, даже высокопоставленных кукол. Так появилась фигура, еще более власть имущая, чем Генеральный секретарь, и лицо невыдуманное, хотя имя в романе изменено. Это Генеральный импотентолог (а попросту личный уролог), который влияет на Генсека, так сказать, на физиологическом уровне и имеет кого под него в нужный момент подстелить — не даром, конечно, но, конечно, и не за деньги, а — за власть. Должность анекдотична, а тем более идея вставить эту должность в устав партии. На самом же деле уролог Сизиф Сагайдак — художественный тип той эпохи. В нем нашла свое воплощение дряхлая, не способная на созидание система.

— Появись «Ангелы на кончике иглы» в конце семидесятых, когда были созданы, автора наверняка обвинили бы в

оглулении «человека с густыми бровями», в гротескности, нереальности образа. Но сегодня, когда стало больше известно об интеллектуальном, нравственном, да и просто умственном уровне тех, чью мудрость воспевали поэты, стало ясно, как близка оказалась художественная правда к реальности, даже в тех, кажущихся пародийными сценах, где Брежнев подсчитывает количество орденов у себя и на портрете у Сталина, наслаждаясь своим преимуществом, или, упиваясь своей вседозволенностью, ночью пьет с охранниками марочный портвейн «из горла» и мочится с моста в Москву-реку.

— Когда роман читался в Самиздате, меня упрекали в том, что я не назвал Генсека настоящим именем. Мол, состорожничал, случись что, с меня взятки гладки, мало ли людей с густыми бровями.

— «Случись что», не спасли бы никакие фиговые листочки. Литературоведы с Лубянки не стали бы даже разбираться. Статей УК достаточно — клей любую или все оптом. В отсутствии прямых имен в романе мне видится художественный прием, полный глубокого социального смысла, указывающий на ту самую анонимность власти, о которой мы говорили. Именно поэтому нет имени и у «худощавого товарища, предпочитающего быть в тени», хотя всем ясно, что это Сулов. Когда писателю по тем или иным причинам нежелательно упоминать конкретное историческое лицо под настоящим именем, он использует всем известную черту внешности, профессию, национальность. Например, «человек с лицом татарина» в «Климе Самгине» — Савва Морозов. Вы же, не знаю, сознательно или нет, использовали, пожалуй, впервые прием анонимности персонажа для показа анонимности власти. Этим я объясняю и отсутствие у них анкет и биографий в отличие от других героев (тоже, между прочим, новый прием), значит, на месте Брежнева мог быть любой другой, он марионетка системы, твердо усвоившая правила игры и именно поэтому так долго сидящая. Власть эта импотентна, вот почему необходим уже упоминавшийся Генеральный импотентолог. Парадоксально другое: рядом с этими героями ввязан в канву повествования вполне исторический персонаж — маркиз де Кюстин, и следопыты из КГБ начинают разыскивать его, считая, что под этим именем скрывается диссидентствующий автор.

— Слышал от читателей и от критиков, что глава о Кюстине не вписывается в архитектуру романа и понадобилась мне только для внесения детективного элемента. Читатель, мол, знает Кюстина... К сожалению, роман был издан в Нью-Йорке с текста микропленки, вывезенной на Запад, глав с живым Кюстином, появляющимся в Москве 1969 года, там не оказалось.

— Но ведь полностью книга маркиза «Россия в 1839» до сих пор не издана в России!¹ Сшитые куски с сокращениями... Я как раз считаю, что Кюстин не только укрепляет архитектуру, совмещая две действительности и рождая третью — какого-то ирреального мира, в преддверии которого все другие персонажи пытаются создать видимость жизни. Благодаря маркизу у читателя создается ощущение грядущего апокалипсиса «в одной, отдельно взятой стране». Кюстин — участник всех событий, действующее лицо всех сцен — иногда как комментатор, иногда — прорицатель, зачастую — свидетель обвинения и всегда — мудрый и чуткий диагност.

Почему вы не упомянули о том, что путешествие в Россию Кюстин, аристократ и монархист, совершил с целью доказать преимущества абсолютистской формы правления?

— Всем и так понятен глубокий смысл его обращения к жителям Запада: «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, какой бы ни был принят там образ правления. Если ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию!»

— Об исторических корнях большевизма можно бы сказать подробнее: ведь считал же Достоевский, что бесы, нечаевщина, всё, что вылилось потом в то, во что вылилось, — расплата за отказ от чисто русского, самобытного пути развития, что их питательная среда — западный либерализм, западные идеи. Автор мог, используя книгу Кюстина, помочь читателю убедиться в обратном: российский (в том числе большевистский)

¹ Полное издание появилось в 1996 году.

деспотизм — явление отечественное, порожденное всей российской историей, отказом от общеевропейского пути развития.

— Нельзя объять необъятное. И потом это все-таки роман, не публицистика.

— Комментировать подsunутую самиздатчиками книгу «Россия в 1839» мог бы не только главный редактор газеты Марцев, человек с высшим, но без элементарного образования, но и кто-то другой, хотя бы тот же Раппопорт, который, кстати сказать, уже читал книгу Кюстина. Уж он бы и о корнях советских психушек нашел возможность сказать,— ведь Кюстин целую главу «сумасшедшему» Чаадаеву посвятил.

— А он ее и комментирует, если глубже всмотритесь, только без цитат! Присутствие живого маркиза де Кюстина в романе потому так важно, что рассматривает сиюминутные процессы, которые он видел как исторические, можно сказать, вечные для России. На мой взгляд, самую уничтожающую оценку писательского труда дал не кто иной как Ленин, назвав «Мать» Горького «очень своевременной книгой», то есть книгой на определенное время. Можете представить подобную оценку «Гамлета», «Фауста» или «Братьев Карамазовых»?

— Выскажусь определенно насчет вашего сетования по поводу опоздания романа на родину. Что касается «Ангелов на кончике иглы», то в сегодняшних условиях, когда вроде бы всё перевернулось, но укладываться никак не хочет, роман стал даже более важен, чем пятнадцать лет назад. Имею в виду изображение человеческого материала, который не изменяется ни по президентским указам, ни в зависимости от того, чьи войска ночью вошли в город. Старая идеология рухнула, а массовая психология, хоть тресни, меняется медленно.

— Конечно, новой власти приходится иметь дело со старым человеческим материалом, по выражению Ленина. Да и сама власть сделана из того же варева. Диссидентствующий журналист Ивлев, герой романа, сегодня, между прочим, сидит в министерском кресле (не хочу называть его фамилию). Как и реальный журналист-конформист Бовин стал необычным и полномочным посланцем.

— Именно это я и хотел сказать: серьезному читателю в России важно знать, что за люди пришли ими управлять, каково их прошлое.

– Еще более важно, на мой взгляд, то, что часть героев «Ангелов», занимающих посты и преуспевающих при дряхлеющем режиме, внутренне готовы к переменам. Они все – больше или меньше – критически настроены, недовольны существующим положением. На героические поступки они не способны, но разреши им – хотели бы многое поменять. Меня упрекнул один читатель за то, что, как он выразился, напуганный на всю жизнь Раппопорт отваживается в редакции перед студентами-практикантами, в общем-то ему почти не знакомыми, нести явную антисоветчину. Но вспомним, кто тогда не нес ее?! А антисоветские анекдоты: одна половина общества рассказывала, другая с удовольствием слушала.

– Тут есть о чем спорить. Затронут важнейший для страны вопрос: было ли общество готово к переменам?

– Важно, какое это общество, каков уровень планки его нравственности, насколько глубок и натурален демократизм, каковы меры маниловщины и обломовщины, насколько граждане, готовые к переменам, способны противостоять более сплоченным, более организованным, более мимикричным силам старой системы. В «Ангелах» не случайно почти нет «деятелей» – традиционных фигур русской литературы полутора веков. Их почти не отыщешь в жизни, они закончились в лагерях. Критиковать, высмеивать, освистывать – куда легче, чем созидать. Суждены нам благие порывы... Нет, России нужны люди иного психологического склада, иной нравственной конституции. И ведь мы пока говорим только о так называемом культурном слое, который составляет десятую часть по отношению к населению страны.

– А остальные девять десятых? Я имею в виду очень важного персонажа вашей книги, персонажа-невидимку, собирательный образ Читателя газеты «Трудовая правда».

– Не забывайте, что со времени окончания романа прошло полтора десятилетия. Да каких! Персонаж этот не мог не измениться!

– Читатель «по роману» — это новая порода людей, которую (тут перед агитпропом шапки долой) все-таки удалось вывести. Читатель этот верит в обволакивающую его со всех сторон ложь. Верит, что его страна — самая миролюбивая, самая передовая в области науки и искусства, самая гуманная и, ко-

нечно же, самая сильная. Верит, что русский народ — самый великий, что КПСС — ум, честь и т.д., что ему, читателю «Трудовой правды», выпало величайшее счастье родиться и жить именно в этой стране. Ложь возвышает. Правда не только неприятна, она — страшит. Читатель этот желает, чтобы ему сотый раз крутили «Свинарку и пастуха» или «Кубанских казаков» и отвергает Тарковского. Юлиана Семенова или Чаковского ему спокойнее перечитать, чем взять Солженицына или ваше «Вознесение Павлика Морозова», — я сам был свидетелем, с каким негодованием была встречена эта книга. Такой читатель хочет, чтобы его обманывали. Он не только не унижен своим положением, наоборот: он счастлив в своем рабстве. И если уж мы говорим о значении издания «Ангелов» в России сегодня, то оно видится мне и в том, что такой читатель может оглянуться на себя вчерашнего и что-то почувствовать: недоумение, возмущение, гнев.

— Многое изменилось, но не забудем, что перемены шли сверху. Стал ли народ другим? На защиту новоиспеченного Белого дома во время августовского путча вышли десятки тысяч человек...

— А окажись путчисты на свободе, их вышли бы приветствовать сотни тысяч. Согласен: изменений в народе не могло не произойти. Вопрос только — каким он стал теперь? Я не отрицаю, что тому массовому сознанию, в основе которого со времен татаро-монгольского ига оставалось убеждение в законности произвола, нанесен удар. Но сомневаюсь, произошла ли демократизация общественного сознания. На мой взгляд, на место догмата слепой веры пришел догмат слепого неверия — ни во что и никому. Прибавьте к этому усталость, апатию, зависть, озлобленность, шараханье из стороны в сторону, — все те качества, которые мы в зачатке видим в героях «Ангелов на кончике иглы». А ведь они в большинстве — интеллигенция. Она устала от бремени радетельницы нужд народа, сеятеля разумного, доброго, вечного, и уходит — кто в бизнес, кто в религию, кто в эмиграцию, постоянную или полупостоянную.

— В этом нет ничего плохого. Может, интеллигенция займется, наконец, своим делом: будет учить грамоте и культуре, а не бомбометанию, лечить от физических, а не от политических

недугов, создавать научные, а не партийные школы, и самоутверждение на кухне за бутылкой перестанет быть ее главным способом самовыражения. Государство перестанет содержать бездарных, но идейно выдержанных. То есть интеллигенция будет заниматься тем, чем она давно уже занимается во всем цивилизованном мире.

— Но свято место пусто не бывает. Этим могут легко воспользоваться новоявленные демагоги, снова пообещав тишину и порядок. Тишина будет кладбищенской, а порядок тот самый, который Гитлер назвал «новым», а Сталин «самым демократическим». Один из главных героев — старый журналистский волк Яков Раппопорт рассчитывал только на чудо. «А что, если бы произошло невероятное?» — спрашивает Ивлев. (То есть произошло бы чудо, и режим пал.) — «Интересно! Через сколько лет — через пятьдесят или пятьсот?» — парирует собеседник. Видит ли автор «Ангелов» свет в конце тоннеля?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Чем больше мы узнаем о той эпохе, тем более очевидно, что называть ее застойной неверно. В новейших американских исследованиях природы романа говорится, что в основе романа лежит скандал. Вспомним такие несходные вещи как «Лолита» и «Бесь», и будет ясно, о чем речь. В «Ангелах» скандалов сразу несколько: политический, семейный, даже физиологический. В романе сцеплены полярные точки зрения, и, разумеется, автор за героев не ответчик, он наблюдатель, хотя и не холодный.

Может показаться странным, но надежды в романе связаны и с образами лютых чекистов, например, заместителя главного редактора Ягубова. Меня упрекали в том, что сцена, в которой Андропов (в романе он Кегельбанов) в августе 1968 года поручает Ягубову написать текст «обращения группы чехов с просьбой о помощи, неправдоподобна, что для таких заданий бывший сталинский официант никак не подходит. Но в том-то и дело, что на других, преданных системе не за страх, а за совесть, уже тогда был дефицит. Приходилось во всем опираться на лубянковские кадры, — какие ни есть, но свои. Вместо аргументов — танки, вместо убежденных защитников — ягубовы. Вот в чем виделся проблеск надежды на перемены. А то, что дети правителей спивались, становились уголовниками, пытались покончить с собой (и в жизни, и у

меня в романе) – разве в этом не видится надежда на развал системы?

— Критики называют «Ангелов на кончике иглы» романом историческим. Для меня же он не только роман-хроника, но и роман-спор: Дружников-художник все время спорит с Дружниковым-диссидентом. Да, есть две свободы: внешняя и свобода в душе. Очень актуально упомянутое вами предупреждение Герцена: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Дай Бог, чтобы я оказался посрамленным в своем пессимизме, и «Ангелы» скорей стали историческим романом о той российской жизни, которая не повторится.

1992, Нью-Йорк.

МИФ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ

Диалог с критиком В.Свирским

Только что в Московском университетском издательстве вышла книга живущего в Калифорнии русского писателя Юрия Дружникова «Узник России». Почему вдруг биография Пушкина оказалась для пресыщенных печатным словом россиян не менее интересной, чем детективы и эротика? На эту тему литературный критик В.Свирский беседует с Юрием Дружниковым.

• • •

— В Большом театре муж трогает за локоть жену:

«Пока ты спала, Ленский Онегину послал вызов».

«Ну и что, он едет?..»

Это анекдот. А серьезно: ведь ваш узник России — это Пушкин-отказник?

— Но Онегин действительно собирался отправиться за границу, и не один! Автор думал взять своего героя с собой. Вот, пожалуйста:

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны.

Вполне возможно, Пушкин хотел вывезти рукопись «Евгения Онегина», чтобы опубликовать на Западе. И даже вызова Пушкин ждал (что как бы невзначай опускалось пушкинисти-

кой). Приятель поэта Яковлев писал из Парижа, конечно же, для конспирации на третьего человека: «Он (Пушкин) чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него?» Отбросив официальный камуфляж о поэте-патриоте, сочинявшийся полтора столетия, я пытаюсь взглянуть на реального Пушкина, близкого и понятного нам, эмигрантам из России.

— Ага, значит субъективный момент! Пятнадцать лет вы были там в черных списках. Теперь выходит книга за книгой. Читатель знал вас как историка и прозаика — летописца советской системы. И вот — обращение к прошлому веку...

— ...в поисках ответа на вопросы, которые волнуют нас сегодня. Пушкин интересовал меня давно, материал к «Узнику России» собирался три десятилетия в Москве, Питере, Одессе, Кишиневе. Но осуществиться книга смогла только на Западе. Ведь и в «Вознесении Павлика Морозова», и в моих романах, и в «Узнике России», и в продолжении его — «Досье беглеца», которое только что передал в издательство «Эрмитаж», сердцевина замысла — раскапывание корней официальных государственных мифов. Причем не только советских, а вообще российских. Казалось бы, разных, но, как ни странно, имеющих одни истоки и схожие цели. Уход от современности дает возможность историку литературы нагляднее высветить век нынешний, понять явления, коим мы свидетели.

— Где же сыщется сегодня в России читатель на книгу о Пушкине? Книжный рынок заполнили детективы, женские прелести на обложках заслонили портреты классиков. И самого-то поэта не читают, не говоря уж о литературоведческих работах. Вы недавно вернулись из России, были встречи с читателям, лекция в университете. В каком там состоянии «народная тропа» к Пушкину, не зарастает ли?

— Вот и коснулись мифа, а может, сразу нескольких. О «самой читающей стране». Под это понятие удобней всего подвести Китай недавнего времени, когда миллиард граждан зубрил цитатник Мао. Что касается Пушкина, убежден: после каши с гвоздями, которой с малолетства кормила школа, после пройденного по программе Пушкина мало у кого появлялось желание раскрыть его томик. Тропа не заросла, ее даже расширили. Помню экскурсионный поток в Михайловское —

через заповедник по восемь человек в ряд, по бокам дружинники с красными повязками, чтобы пушкинолюбцы не топтали лес. Если делаешь шаг в сторону, окрик, – разве что не стреляли. А в результате отвели тропу от настоящего Пушкина, сделали его полезным для агитпропа. Финалом экспозиции в Михайловском был бюст Сталина, который после сменили на Ленина. Сейчас, между прочим, там пусто, цена за билет неподъемная. И все разрушается.

— Но была и обратная реакция у читателя: узнать настоящего поэта.

— Официальное литературоведение переименовало «Донжуанский список Пушкина» в «Адресаты лирики поэта», а читатель искал правды, – запретный плод сладок. Мифологизация началась задолго до семнадцатого года, пожалуй, еще при жизни поэта. Было два пика: 1880-й – когда поставили памятник в Москве, и 1937-й, во время которого заявили, что Пушкин «наш, советский». Кто только не использовал имя его в своих целях (чаще не литературных): христиане, атеисты, монархисты, демократы, идеалисты. Большевики сделали его историческим материалистом. И все поучали его, чего он «недопонял», чтобы быть полностью преданным их тусклым идеям.

— Я не особенно ценю мнение о Пушкине его одноклассника барона Корфа. В нем сквозит высокомерие государственного мужа к литераторам, да и зависть, но Корф прав, замечая, что «тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы». Отважился пушкинист Петр Губер — его не издавали с 1923-го. Надолго забыли про Тынянова. Рискнул Вересаев — ему заткнули рот на десятилетия, а книгу «Пушкин в жизни» кто только ни резал. Решился Андрей Синявский — какую волну негодования в России вызвали «Прогулки с Пушкиным»! Как посмел зек шутить над святым поэтом! Вы тоже стремитесь исследовать жизнь поэта. Не страшно?

— Не хотелось, чтобы кто-то посчитал мою работу попыткой поставить под сомнение значение Пушкина для русской цивилизации, особенно сейчас, в преддверии двухсотлетия со дня его рождения, когда, кажется, только он и остался на культурном кладбище России неразгромленным, он один под-

держка и опора, национальное достояние. Он был невыездным, а Академическое собрание сочинений его – невывозное: таможня не пропускает. Но ведь это был живой, противоречивый, как все мы, человек.

Кто занимался фотографией знает, какой уродливый портрет получается, если снять, встав на колени. Пушкиноведение давно снимает Бога Пушкина из этой позиции. Очищение от лжи не может унижить поэта, наоборот, укрепляет его ценность. Отсюда и интерес массового читателя сегодня – к сокрытой от него правде. Стыдно ли России, что великий Пушкин был картежник, человек злопамятный и мстительный, дуэлянт, неугомонный бабник и завсегдатай борделей? Следует ли из этого, что читатель этих подробностей знать не имеет права? Стыдно ли, что поэт бранил последними словами Россию и говорил, что не даст за нее ломаного гроша?

— Тем более такая пикантная тема: Пушкин хочет эмигрировать. Нынче огромные массы людей в России готовы бежать куда угодно, хоть на остров Огненная Земля, лишь бы пустили. И проблема, как вы доказываете, важная для Пушкина, из литературоведческой становится полезной практически. Ведь «Узник России» — книга о вечном бегстве интеллигенции из России, о сутевых причинах утечки мозгов. Имеется столько доступных, издававшихся документов, подтверждающих стремление великого поэта покинуть родину. Почему же этой теме почти не касались исследователи?

– Существовало табу. Полтора века разные власти приносивали Пушкина к себе, но всем им нужен был поэт-государственник, а значит, патриот. А что остается от такого образа, если выясняется, что Пушкин всю сознательную жизнь стремился любым путем во что бы то ни стало вырваться на Запад? С позиции традиционного «ленивого» патриотизма это предательство. Не вина, но беда Пушкина, его трагедия, что он превращен в идола, в идеологический миф.

— Литературоведов обвинять грешно: они вынуждены были подыгрывать, бросать куски в пасть мифа.

– Пушкинистов сажали не менее исправно, чем прочих. В десятках работ освещены политические, исторические, философские, даже экономические воззрения Пушкина. Есть работа, в которой доказывается, что «Евгений Онегин» помог Марксу

изучить экономику России (правда, неизвестно, читал ли Маркс Пушкина). Мы знаем, сколько раз поэт стрелялся, какой длины отращивал ногти, а одна из важнейших сторон его жизни, а значит, и творчества: стремление «взять тихонько трость и шляпу» и «никогда в проклятую Русь» не возвращаться (его слова), – эта тема осталась за бортом пушкинистики. Я ее подобрал. Понятно, что я проводил независимое и тайное исследование, как и в случае с Павликом Морозовым, только вместо живых свидетелей показания давали документы.

— **Тайное?**

– Потому что изгоя, отказника, исключенного из Союза писателей, в архив Пушкинского дома в Ленинграде – Институт русской литературы – на порог не пустили. Пришлось работать под чужим именем, пользоваться услугами друзей. Материалов о Пушкине – потенциальном эмигранте собралось много. Тут и письма, и воспоминания современников – друзей и врагов, и официальная и частная переписка чиновников всех рангов, включая самые высокие, и документы Третьего отделения тайной Его Величества канцелярии, и полезные крохи в трудах предшествующих поколений пушкинистов. Моя задача состояла в постройке новой концепции того, что в Америке называется *psychobiography* – психологической биографии поэта. Надо было преодолеть стереотип, попытаться подняться с колен, события, мотивы поведения, творческие замыслы поэта истолковать с другой позиции. Не мне судить, как это удалось.

— **Вернусь к начатой мысли. У меня представление, что к теме «невъездного Пушкина» подошел «невъездной Дружников».** Отказником Пушкиным вы занимались, будучи отказником более десяти лет. Во всяком случае, личный момент наложил отпечаток на тональность книги. Отказник XX века отдает герою из XIX века частицу своих чувств, мыслей, переживаний. В компании с невъездным Пушкиным легче переносить тяготы жизни в России брежневско–андроповской. Не кажется ли вам, что личный момент может наложить нежелательный отпечаток на тональность книги? Я имею в виду безапелляционность некоторых суждений и особенно аллюзии, в том числе лексические, некоторое смещение акцентов. Ведь на самом деле никто Пушкина отказником не называл, не было такого слова!

– Жуковский сразу после смерти Пушкина обвинил Бенкендорфа в том, что тот не дал Пушкину увидеть за границу. А сколько раз ему официально отказывали! Отказы существовали, именно так и назывались. Писатель всегда субъективен; желает он или нет, он присутствует в персонажах своих произведений, наделяет их своей любовью, своей ненавистью, своей болью. Всё это, как утверждал Уитмен, не может не сказаться даже в его умолчаниях, даже в том, чего он не напишет.

Конечно, есть опасность перебора, которой мне, возможно, не удалось избежать. Но я скептик сам и пишу для скептического читателя. А скептик, по выражения Бердяева, есть западный в России тип, то есть всегда немножко внутренний эмигрант. Что касается русских читателей за пределами метрополии, то среди них едва ли не каждый второй – сам был отказником и боролся с системой за выезд. Такой читатель поймет мое состояние и состояние Пушкина – единомышленника людей, сидевших на цепи еще недавно. «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». Сколько было таких ученых котов...

— Меня смущает некоторое смещение акцентов. Какое значение вы вкладываете в понятие «покинуть Россию»? Что и когда входило в намерения Пушкина? Съездить за границу, как обычно ездили русские дворяне? Поехать по своей дипломатической службе? Уехать совсем, остаться в Париже или Риме, а то и «под небом Африки своей»? Или — бежать, исчерпав все легальные возможности? Так вот, мне кажется, смещение происходит именно в сторону последнего. Вы рассматриваете все варианты планов побега поэта за границу из Кишинева и Одессы, называете десятки людей, втянутых в осуществление этих планов, объясняете причины, по которым они сорвались. Фактически впервые в пушкинистике рассматривается вариант побега с цыганским табором или через Грецию.

– Но именно это «смещение», как вы выражаетесь, и было моей целью. Так написана и выходящая вот-вот вторая книга «Досье беглеца» – именно беглеца, обратите внимание. В ней Пушкин пытается бежать за границу из Михайловского, из Москвы и Петербурга, наконец, через Кавказ, из Арзрума в Турцию. Пушкин сам то и дело называет себя то изгнанником, то беглецом, а нет ни одной книги, исследующей этот таинс-

твенный порыв на Запад великого поэта, стремление проходящее через всю его жизнь. Написанное им, представляется мне, нельзя понять без этой его сверхзадачи. Вот я и сконцентрировал усилия именно на попытках бегства на Запад. Остальное, общеизвестное использовано лишь в той мере, в какой это помогало главной задаче.

— Интересно, что вы обращаете внимание читателя на возможность иного взгляда на уже известное, то и дело спорите с источниками, даже лично с Пушкиным, если кажется, что он не хотел или не мог сказать правду. Он-то ведь тоже по ясным причинам многое скрывал. Мы все это делали, когда собирались «в чуждые страны».

— Многие и сейчас остаются неясным. Уже упомянутый Яковлев, приятель Пушкина, писал из Парижа, посылая «анонимное» приглашение: «Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут». Разве это не напоминает наши шифровальные игры совсем недавнего времени? «Небольшое приглашение» – вызов. «Анонимное»? А многие ли из нас знали, кто нас приглашал на постоянное жительство? «Пожаловать, куда зовут» – тоже для Пушкина ясней ясного: договорились они обо всем еще до отъезда Яковлева. «Дойдет ли?» – тоже понятная забота, почта перлюстрировалась, нежелательные письма исчезали. Но далее в письме текст расшифровать пока не удастся: «Кто занял два опустевшие места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто держит известные его предложения и внемлет погребальному звуку, производимому его засученною рукою по ломберному столу?» Конец текста, предназначенного для одного Пушкина, связан с карточной игрой. А сам текст, конечно же, о помощи поэту в бегстве из России. С такими загадками я сталкивался то и дело.

— Столько раз Пушкин хотел бежать, такие ловкие планы строил, так старательно готовился, а когда дело доходило до осуществления, каждый раз что-то мешало. Почему ни один из планов не было осуществлен? Сочетание случайностей? Рок — не знаю, злой или добрый?

— Я старался тщательно проанализировать причины, которые мешали его побегам, или, если хотите, эмиграции (ибо возврат из-за границы после побега означал не ссылку к родителям в Михайловское, а отправку в кандалах в Сибирь). Это

ошибки или измена помощников, изменение ситуации или политики, а также *cherchez la femme* – ищите женщину.

— Книга породила у меня такую мысль: а были ли вообще серьезными попытки Пушкина бежать из России? Вот поэт собирается бежать из Михайловского в качестве слуги своего приятеля Вульфа. «Дошло бы у нас до исполнения этого юношеского проекта, не знаю, — вспоминал после Вульф. — я думаю, что все кончилось бы на словах...» Причину несостоявшихся побегов, мне кажется, надо искать в самом Пушкине — человеке чувства, сиюминутного настроения, в непростых свойствах его души, постоянных противоречиях между смелыми декларациями и осторожными поступками. Вы точно подметили в книге легковесный либерализм молодого поэта. Такими же легковесными были, мне кажется, и все (или почти все) его намерения бежать. Кроме того, в Пушкине уже на юге начинает проявляться то, что он назовет голосом «строгой необходимости земной». Когда он поехал было в декабре 25-го года из Михайловского в Петербург и угодил бы в самое пекло восстания, этот голос шепнул ему: «Вернись!»

— Теперь я упрекну вас в излишней категоричности суждений. Хорошо, что мы затронули этот вопрос, он важный. В «Досье беглеца» довольно подробно останавливаюсь на «голосе осторожности» у поэта. Но это не всё. Сколько раз в своих произведениях поэт прощался со своей страной! Казалось бы, простился, так уезжай. Ан нет. Так чего ж, спрашивается, было прощаться? Но в том-то и дело, что творческое воображение любого поэта, а Пушкина особенно – опережает, а иногда и заменяет непосредственные поступки. Возможно, Пушкин, с его потрясающей способностью предчувствовать, предвидел ситуацию на ход или на два дальше своего окружения и поэтому мог раньше остановиться. Он как бы уже эмигрировал в душе, и лишь брэнное тело еще не перенеслось через границу.

— Расскажите о только что законченной книге «Досье беглеца». Если, конечно, вы не столь суеверны, как ваш герой, и не страшитесь говорить о книге, которая еще не вышла.

— В ее основе еще десяток попыток Пушкина покинуть Россию в период ссылки в Михайловском. Некоторые попытки – сюжеты для детективных романов, правда, без убийств, но со шпионами и до того запутанные, что сам беглец не мог

контролировать ситуацию. Затем попытки выбраться из Москвы и Петербурга, новые отказы и тайное планирование поездки на Кавказ, о которой знали, однако, многие и прежде всех доносчики. Наконец, поездка в Арзрум – странное, до сих пор не объясненное путешествие Пушкина. Есть доказательства, что поэт хотел бежать в Турцию, добраться до одного из турецких черноморских портов и оттуда – в Италию и Францию.

— В письме из Михайловского Пушкин писал Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если Царь даст мне свободу, то я и месяца не останусь...» Интересно будет прочитать книгу и узнать, уехал все-таки Пушкин за границу или нет.

1993, Дейвис.

ЛИТЕРАТУРА В ЭМИГРАЦИИ: ИЗ ВЧЕРА В ЗАВТРА

Ответы на вопросы Вольфганга Казака

Билет в одну сторону Александра Солженицына, проведенного в Швейцарии и США два десятилетия, оживил и изменил тон дискуссий о судьбе русского писателя в эмиграции, ведущихся по обе стороны океана. Профессор Вольфганг Казак, директор Славянского института Кёльнского университета – в прошлом дипломат, работавший в Германском посольстве в Москве. Он один из крупнейших в Западной Европе экспертов по современной русской литературе, автор известного фундаментального «Словаря русской литературы с 1917 года», изданного в нескольких странах, в том числе теперь и в России. Перу Казака принадлежит несколько книг и более трехсот статей о русской литературе.

Как живут и работают на Западе русские писатели? Достаточно ли литературная свобода в нынешней несоветской России? Что представляют собой теперь взаимоотношения писателя-эмигранта с редакциями и издательствами в метрополии? Есть будущее у эмигрантской литературы или она теперь умирает, и правы российские критики? Вот круг вопросов, занимающих немецкого слависта. Об этом Юрий Дружников отвечает на вопросы профессора Казака.

• • •

— Как получилось, что к слову «писатель» у вас прибавилось слово «эмигрант»? Ведь ваш случай особый...

– За одни диссидентские дела группу чересчур шумных литераторов одним списком в 78-м выкинули из Союза писателей, но коллег моих сразу выпустили за границу, а со мной изменили тактику. Не дали визы, не издавали, мстили за публикации за границей (били стекла, обворовывали квартиру, беря только рукописи, на допросах грозили лагерем и психушкой). Коллеги-эмигранты основательно осваивались на Западе, а я значительно тише действовал в Москве: открыл творческую мастерскую для писателей, потом Литературный театр вдвоем с Савелием Крамаровым, потом маленькое независимое издательство «Золотой петушок», – всё разгонялось известным учреждением. Лишь в 87-м, после скандала с выставкой «10 лет изъятия писателя из советской литературы» и письмом Горбачеву от 64-х конгрессменов, меня выпустили. В начале перестройки, когда эмигранты, соскучившиеся по России, ждали момента, чтобы поехать на родину, я только вырвался на Запад. В общем, встреча Счастливецова с несчастливцевыми (или наоборот).

Когда отменялась цензура и уже начинали печатать эмигрантов, «Вознесение Павлика Морозова», книга, изданная до этого в Лондоне, в Восточно-Европейских странах и в Прибалтике, трижды была запрещена. При гласности была создана идеологическая комиссия, объявившая книгу вредной, после чего опубликовали по всей стране десятки статей о том, что я оклеветал советского героя номер 001. Роман «Ангелы на кончике иглы», изданный в Нью-Йорке, в Москве вышел лишь после августовского переворота 1991 года. Словом, я выехал на десять лет позже и продолжал оставаться там в черных списках, несмотря на либерализацию.

— Фактор очень важный в психологическом, в эмоциональном и в творческом аспектах. Бываете в России? Как часто? Как долго гостите там?

– Важный с точки зрения ностальгии, прощения, то есть моих – хоть это слегка комично звучит – личных взаимоотношений с Россией. Езжу на родину регулярно, раз-два в год, но не больше чем на три недели. Дольше – невыносимо.

— Останавливаетесь у родственников? у друзей?

– В семье дочери. Она хореограф, узкий специалист по движению на сцене в драмтеатре, преподает в Театральном

училище имени Щукина, ставит спектакли в разных театрах, сейчас во Франции и Бельгии. Для семилетней внучки у меня недавно вышел в Москве детский юмористический роман «Каникулы по-человечески» с великолепными рисунками Спартак Калачева. Они приезжают регулярно, но эмигрировать не хотят. Теперь, пожалуй, и не надо.

— **В России выступаете?**

— Приглашают то с лекциями, то для беседы. Но иногда ждут, что вы скажете то, что они хотят услышать, — старая песня.

— **Какие заметны перемены в литературной жизни: ослабевает интерес или наоборот?**

— Перемены резкие и трудно прогнозируемые, в том числе и с выходом книг. Думаю, что период взятия из эмиграционного багажа чего попало прошел. А в моем случае, скоро там начнется и критика.

— **Почему?**

— Ведь опять противоречу принятому мнению: там переиздан «Узник России» и сейчас выходит вторым изданием вместе с «Досье беглеца» — новая концепция биографии Пушкина. Доказываю, что великий патриот был потенциальным эмигрантом, отказником, как мы грешные, хотел бежать из России и, главное, никогда в нее не возвращаться. Пушкин — национальная святыня, последняя патриотическая опора. Монархическая газета «Наша страна» в Аргентине назвала недавно статью обо мне «Ненавистник России». А если серьезно — ведь это не я грешный, а великий поэт называл Русь проклятой, писал, что ненавидит свое отечество с головы до ног. Духовно Пушкин ближе нам, эмигрантам, чем оставшимся. Впрочем, сейчас все смешалось. Уважаемый мною критик Лев Аннинский заявил в журнале «Литературная учёба»: «Да ведь мы ВСЕ — несколько эмигранты». Это он сам так выделил слово «все». Не вся интеллигенция уезжает, но вся живет в скептическом состоянии духа. Один старый писатель в Москве на мой вопрос, не собирается ли он на Запад, ответил: «А зачем мне уезжать, мне и здесь плохо».

— **Какое влияние оказала долгая разлука на взаимоотношения с родными, друзьями, знакомыми или с незнакомыми людьми в России? Что вы отмечаете в беседах: неизменную**

близость? отчуждение? зависть? непонимание собеседниками жизненных проблем на Западе? упрек в том, что вы не понимаете теперь проблемы на родине, что вы больше не свой человек? Понимаю, что можно часами беседовать об этом, но все же...

– Разлука не была долгой, и первый раз встречало так же много людей, как когда-то провожало. Контакты с друзьями остаются, поскольку налажена связь не по почте. Конечно, есть и непонимание, и зависть, и потребление: дай, купи, пришли. Один главный редактор попросил:

– Достань нам двести пятьдесят тысяч долларов.

– Зачем? – испуганно спросил я.

– А на развитие демократии...

Мы даем по силам, покупаем, шлем, помогаем, в том числе незнакомым людям. В основе хорошие отношения не иссякают, даже завязываются новые. «Своим человеком» быть, конечно, трудно: Россия «своих» любит только после смерти, а эмиграция – это Зазеркалье, и веками оно рассматривалась как чужбина, почти как смерть. Булгаков, говоря о своем демоническом Воланде, все время подчеркивает, что он иностранец.

— Что происходит, на ваш взгляд, в газетах, журналах?

– Перепечатывается с Запада уйма. Говорю о том, что попало в руки, в основном случайно. Но по-прежнему варварскими методами: режут, меняют названия и, что постыдно, смысл. Издательская культура упала до отметки 1920 года. Имею в виду не плохую бумагу, а плохой подход.

Редакторам там доверять пока нельзя. Большинство из них старые пираты. В толстых журналах сидят пожилые эксперты, работающие по принципу Карела Чапека. У него критик говорит писателю: «Вы должны писать так, как писал бы я, если бы умел». Цензуры и идеологии старой нет, но традиции «самого острого оружия» живы. Авторы делят на своих и врагов, печатают только мнения, которые разделяют в данный момент сами. Начальство их по-прежнему гипнотизирует. К сожалению, проблема авторских прав стала еще хуже, чем до распада. Продают в собственность заводы и землю, а продукцию чужого ума считают своей, будто это грибы из леса.

— Значит, и теперь предпочитаете публиковаться на Западе?

– За небольшими исключениями все, что там печатается, стараюсь опубликовать на Западе. В издательство туда идет компьютерный набор, что создает уверенность: не будет самовольных изменений в тексте. Как вы понимаете, для бывшего советского писателя это вопрос болезненный.

— Понимаю, что возвращение писателя — все еще больная тема, но спрошу: почему у вас нет намерения вернуться? Причины политические? экономические? семейные?

– Действительно, намерения такого нет и вряд ли будет. Ни семейные, ни экономические, ни даже политические причины основной роли не играют. Не важен и фактор ностальгии. «Люблю Россию я, но странно любовью», как сформулировал Лермонтов. По взглядам я, скорей всего, космополит, а, главное, уверен: писать лучше, находясь вдалеке – как исторически, так и географически. Лучшие произведения Карамзина, Гоголя, Тютчева, Тургенева, Достоевского, Куприна, Бунина, Зайцева и многих других написаны за границей. Пушкин не стал всемирной величиной (мировое значение Пушкина – в общем-то советский миф), потому что его не выпустили в Европу. Это, кстати, не моя мысль, я слегка модернизирую Жуковского. Что русский писатель отрывается от среды – это стереотип пропаганды, то, что я называю овировским мышлением. Никогда мне так плодотворно не работалось, как в Америке, хотя в России много лет не преподавал, а только писал. Лев Толстой говорил, что он узнает новости от извозчиков на улице, но теперь для этого есть радио и телевидение, а поговорить с московскими таксистами, впрочем, как и с нью-йоркскими, достаточно, когда наезжаешь. В России свобода все еще групповая, зависит от обстоятельств и мнений, свобода функциональная, кастовая.

— Еще один болезненный вопрос: в какой культуре живут ваши дети?

– У дочери в Москве сносный английский, к которому я ее приобщил с малолетства, немного французского. Сын – студент Станфорда, говорит на пяти языках.

— Сколько ему было, когда вы эмигрировали?

– Четырнадцать, так что по-русски он пишет так же грамотно, как по-английски. Он мой второй читатель после жены. Правда, он теперь читает больше на английском и французском.

— Другой чувствительный момент. Не раз слышу от русских деятелей культуры в Германии, что духовно они чувствуют себя в русском гетто. Какие у вас связи с культурой страны пребывания? С американской аудиторией? Скажем, выступаете перед публикой?

— Если речь об университете, то шесть лет я читаю лекции по истории русской литературы и цивилизации, в душе надеюсь обогнать Набокова в глубине и оригинальности. Помимо общих курсов по прозе и поэзии прошлого века, это «История русской цензуры», «Русская детская литература», «Историография пушкинистики» (не биография, не творчество, а история изучения Пушкина, – курс, который не читается, кажется, больше нигде в мире, включая российские университеты). Но, может быть, вы спрашиваете про общую аудиторию? В США это, например, обед с писательницами, для которых вы, их гость, вылезаете на трибуну между вторым блюдом и десертом. Бывает такое частенько. Или, если русскоязычный читатель, то небольшие аудитории в центрах русской культуры. Неправда, что эмиграция вообще русских книг не читает. Есть читатели, есть русские библиотеки. А в массового читателя мне что-то не верится: мой читатель – человек интеллигентный, эдакий добрый скептик, а таких вообще не очень много в мире, но тем они дороже. В этом смысле у нас с издателями и тут, и в России не совсем совпадают задачи: издатели хотят, чтобы было больше покупателей, а я хочу, чтобы меня прочитал мой читатель. От таких и письма получаю, как было до эмиграции.

— Стала ли актуальная жизнь на Западе одной из ваших тем?

— Только в определенном контексте: если это связано с русскими проблемами. Но ведь еще в России американская тема меня интересовала точно в таком же ракурсе. В американской славистике литература русской эмиграции изучается и обсуждается, как и вы это делаете в Европе.

— А чувство родины, столько раз описанное русскими классиками? Между прочим, у вас есть советский паспорт?

— Тогда всех лишали советского гражданства, и паспорт отбирали. Сейчас там жива демагогия, как раньше: мол, земля, родина, Россия не виноваты, а виноваты система, партия,

чиновники. Но система, партия и прочее – это и была та земля, та родина, где мы родились и жили, другой мы не видели. Формула «А сало русское едят» (из басни Михалкова), символизирующая патриотизм, глупа. Кстати, эта формула была введена в оборот вскоре после того, как Россию спасла от смерти американская тушенка. Продукты давно перемещаются по всему миру. К тому же сало вредно для здоровья – вот пилюля пропаганде!

Многие люди, творившие гадости, сидят там если не на тех же, так на аналогичных местах. Писатели-палачи и жертвы сегодня оказываются плечом к плечу на телевстречах и за редакционными столами. На допросе на Лубянке в 84-м мне «предъявляли рецензии» на публикации моей прозы за границей. Рецензии доказывали, что я антисоветчик и пора меня сажать. Подписи были: «Член Союза писателей» (без имени). Кто именно писал на всех нас эти клеветоны? Ведь исключали, сажали и высыпали на основе этих сочинений. Разве можно было такое представить себе у вас в Германии после войны?

Печально, но факт: вернувшегося домой Солженицына, как и двадцать лет назад, окружают те же топтуны, только они полысели да отрастили животы. Раньше от него защищали народ, а теперь его от народа, – вот и вся разница. Они – наша любимая родина? Зла не держу, но и температура моей любви все еще не выше, чем у человека после мучительного развода. Об эмиграции все еще не сказано достойное покаянное слово, слово извинения за многолетний обман, массовые публичные оскорбления. А благодарность за сохранение духовных ценностей, которые там уничтожили бы? Родина этого не делает, – тем хуже для ее нравственного сознания. Иное дело культура, язык, умственные сокровища, – с ними эмиграция никогда не разводилась, и это свято.

— **Какое у вас гражданство?**

– Я гражданин США, то есть американец. Обычно пишу в документах: русский американец, а для читателей и студентов просто русский. Но в глубинной сути мое родство, и близость, и общие интересы – с интеллигентными американцами, немцами, австралийцами, русскими, а не с русскими или американскими простаками, у которых духовная жизнь определяется размером телеэкрана. Не сочтите это за снобизм.

— **Существовать за счет литературной работы на Западе, а теперь и в России, только немногим возможно. А как вы?**

– По статусу Калифорнийского университета профессор читает лекции 30 недель в год, а 22 недели должен заниматься либо исследованиями (скажем, археологией или литературоведением), либо творчеством (ставить спектакли, сочинять симфонии или, как наш университетский коллега Нобелевский лауреат Чеслав Милаш, писать стихи). Предполагается, что тот, кто творчески сам не работает, не может и хорошо учить других. Нагрузка тяжелая, но профессиональное творчество, как видите, поощряется, хотя и не напрямую.

— **Считаете вы себя частью единой русской литературы или еще ее эмигрантской ветви?**

– Не «или», по-моему, а «и». Не «еще», а в принципе. Вне всяких сомнений, эмигрантские произведения – это крупица русской культуры. Хорошие они или плохие, они в ней останутся как свидетельства нашего времени и нашего миропонимания. Но в подтексте вашего вопроса спор: «Одна или две русских литературы», – помнится, была такая конференция в Женеве в 78-м, вы делали доклад. А спор продолжается... Эмигрантская ветвь, по-моему, необходима для России, ибо вот уже пятьсот лет со времен Курбского, когда на родине плохо, рукописи и даже самих писателей можно спасти лишь на Западе. XX век только подтвердил эту традицию. Сегодня сажены, спасенные эмигрантами, возвращаются на родину, но что будет завтра? Если мы ответственны за судьбы русской культуры, надо быть готовыми к худшему. Здесь надо хранить то, что написано там. Если опять диктатура, пускай не идеологическая, а циничная военная, пусть не надолго, – все равно с ней придут обыски, аресты, чистки, сжигание бумаг, архивов, книг. За день можно уничтожить то, что пишется десятилетиями, – опыт есть. Если диктатура, то следом Самиздат, а здесь опять расцветет Тамиздат. Кто из нас поручится за надежность происходящих там перемен?

— **А читатели и критики в России относят ваши книги к единой русской литературе или все-таки к зарубежной?**

– По-разному. Это зависит от того, к новому или старому поколению относится читатель или критик. Старые особо подчеркивают, что автор живет в Америке, эмигрант, разрешен-

ный, но чужак. Для молодых это не имеет значения, они смотрят проще. Для них барьеры преодолены, хотя, возможно, они чересчур оптимистичны. Вообще, это вопрос сложный. Тема эмиграции сейчас стала более популярна у авторов, живущих в России, чем на Западе. Она была запретна, а теперь в Москве каждый, проведя пару дней на Брайтон Бич, чего-нибудь сочиняет про Америку. Одна за другой выходят кинокартины и пьесы безмерной наивности о жизни за кордоном. А писатели в эмиграции изучают разные аспекты старой и новой России. Может, и хорошо? В ботанике это называется перекрестное опыление.

1994, Кёльн.

ДВА ПОЛЮСА НАШЕЙ ИСТОРИИ

Интервью «Голосу Америки» (Передача для полуночников)

— Вы написали книги о Павлике Морозове и о Пушкине — что между ними общего?

— Вы, что называется, взяли быка за рога. На первый взгляд, ничего. Но если задуматься, сближает их то, что оба – первые по официальной классификации: Павлик Морозов – доносчик 001, а Пушкин – поэт 001, или «генсек» русской литературы, как называл его незадолго до смерти в «Литгазете» Юрий Нагибин, перед этим прочитавший две мои опубликованные в Нью-Йорке книги о Пушкине «Узник России» и «Досье беглеца».

Самый известный поэт и самый известный доносчик – крайности российской культуры, если хотите, ее полюса: Пушкин – национальная гордость России, вершина, Павлик Морозов – наш национальный позор, бездна нравственного падения, наш стыд перед Европой и Америкой, который из истории не выскоблить. Вот почему интересно рассмотреть и сравнить крайности.

И еще: оба они – и Павлик Морозов, и Пушкин – полстолетия усиленно фальсифицировались официальной пропагандой. Герой-пионер Павлик Морозов пионером никогда не был, советскую власть он тоже не защищал, а мать подучила его донести на отца за то, что он с ней разошелся, и не кулаки убили мальчика, а ОГПУ. Героя, которому следовало подражать, сочинили после смерти мальчика. Реального героя-поэта Пушкина – мятущегося, раздвоенного, противоречивого и

невероятно талантливому – превратили чуть ли не в декабриста. «Правда» в 1937 году писала, что «Пушкин наш советский». Под Пушкина-икону переписали всю историю русской литературы.

Итак, реальные исторические фигуры: Павлик Морозов и Пушкин – оба превращены в государственные мифы. При этом ни тот, ни другой не виноваты, их таковыми сделала советская идеология.

Между прочим, сблизила Павлика Морозова и Пушкина также и российская тайная полиция, которую во все времена – и при Николае Первом и при Сталине – занимала вербовка доносчиков. Полиция и к Пушкину, и к Павлику отнеслась одинаково. Пушкина вербовали, обещали отпустить в Париж, если согласится помогать Третьему отделению. И был момент, замятый в официальной пушкинистике, когда он согласился. На следующий день одумался, и к Бенкендорфу для окончательного назначения на почетную должность тайного агента, слава Богу, не пошел, хотя написал в тайную полицию 58 подобострастных писем – больше, чем матери, отцу, сестре и брату, вместе взятым. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» – это был крик его души незадолго до смерти; для школьников же он все еще революционер и патриот помпезной империи.

А невинатого мальчика Морозова превратили в сексота. Ревнивая мать, которую оставил муж, подучила Павлика донести, чтобы отомстить, а власти превратили мальчика в героя после убийства, которое организовало, а, скорей всего, и исполнило ОГПУ, чтобы запугать крестьян. Мальчик-то ничего не понимал про советскую власть, а сделали из него образец для подражания после.

1994, Вашингтон.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ: КУРИЦА, КОТОРАЯ НЕСЕТ ЯЙЦА

Интервью Жанне Васильевой («Иностранец», Москва)

Юрий Ильич Дружников – русский писатель и американский профессор. Преподает в Калифорнийском университете. Книги его выходят в Лондоне и Нью-Йорке, с недавних пор появляются и в России: в 1991 вышел роман «Ангелы на кончике иглы», в 1993 – исследование «Узник России: по следам неизвестного Пушкина», в 1995 – знаменитая документальная книга «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», чуть раньше – детская книжка «Каникулы по-человечески». Последняя, впрочем, издавалась в 1975-м, но тогда весь тираж пошел под нож. Какая была обнаружена крамола во вполне комической истории о том, как маленькая школьница пыталась перевоспитать подаренную ей обезьянку в человека, Бог весть. Вполне вероятно, что так наказывали строптивого писателя, осмеливавшегося подписать диссидентские письма протеста.

• • •

— Юрий Ильич, эмиграция была вашей изначальной целью?

– Нет. Пока была работа и возможность публиковать какие-то книги, об эмиграции я не думал. Конечно, система казалась вечной, и задача была просто найти в ней свою нишу. Это только в 1976 году, когда нас всех скопом исключили из Союза писателей – Владимова, Войновича, Аксенова, меня, встал вопрос об отъезде. Поскольку работы не было, книжки

не выходили, жить было практически не на что. Собственно, вначале меня, как и других, обещали выпустить. Но когда я с семьей подал докумнты на отъезд, мне отказали. И таким образом я превратился в отказника. Я был жив, но во всех официальных бумагах перестал существовать. Стал кем-то вроде подпоручика Кижэ наоборот. О той ситуации, кстати, я написал в эссе «Ликвидация писателя №8552», оно тогда же было опубликовано в «Вашингтон пост». После чего на сиденьях своих стареньких «Жигулей», стоявших во дворе, я обнаружил четыре булыжника.

— **Своеобразный способ предупреждения...**

— И довольно недвусмысленный. К счастью, меня приняли тогда в члены американского ПЕН-клуба. Тогдашний его президент Бернард Маламуд прислал мне об этом письмо, поздравление в связи с приемом. Я только позже понял, что это мне жизнь спасло. Иначе исчезновение из официальных бумаг могло бы стать прологом к исчезновению вообще.

— **Как вам удалось уехать?**

— Вся эта история продолжалась десять лет, до 1987 года. Время от времени меня вызывали в соответствующие органы; и там вежливые люди мне интеллигентно так говорили: «Юрий Ильич, еще раз опубликуете что-нибудь на Западе – и будете выбирать между лагерем и психушкой. У вас будет свободный выбор». К тому времени в рамках борьбы за права человека мое дело дважды рассматривалось конгрессом США. Было письмо, подписанное 65 американскими сенаторами и отправленное Горбачеву. А в 1987 году приехал в Москву такой конгрессмен Джерри Сикорский. В разговоре с Горбачевым он упомянул обо мне, и Горбачев обещал меня выпустить. Я понимаю, что сейчас все это звучит, как анекдот, но так все тогда решалось. И когда в мае 1987 года я собирался устроить дома пресс-конференцию иностранным журналистам, мне позвонил начальник ОВИРа и удивленно сказал: «Юрий Ильич, что вы волнуетесь? Ваша виза давно готова». И мы уехали, точнее улетели – в Соединенные Штаты.

— **Почему именно туда?**

— У меня было три приглашения работать из американских университетов. И было еще предложение работать на радио «Свобода» в Мюнхене. Но, во-первых, немецкий мой го-

раздо слабее английского, а без языка жить в стране трудно. А кроме того, Германия более консервативна, иммигрант там – всегда иммигрант. Иммигрант же в Америке – свой человек. Когда, слыша мой акцент, меня спрашивают, откуда я, за этим ничего не стоит, кроме любопытства. Потому что сразу же вслед за тем следует восклицание о том, что бабушка или дедушка собеседника приехали из Ирландии, или Франции, или даже из России...

— Процесс адаптации был тяжелым?

– Очень. Несмотря на то, что я много общался с американцами в России, я очень многого не знал. Вообще-то времени на адаптацию у меня не было. Я прилетел в два часа ночи. В восемь часов я читал первую лекцию. Это был Техасский университет, который предложил мне вести курс по современной русской культуре. Передо мной в классе сидели 75 человек. Когда я их увидел... Понимаете, сидят девочки: вся одежда – две полоски купальника. У мальчиков, соответственно, одна полоска. Я не знал, куда деть глаза. Хорошо помню, что я эту свою первую лекцию читал, глядя в основном в левый верхний угол потолка.

Второй шок был, когда я после лекции вышел на улицу. Оказалось, в Техасе говорят не по-английски, а по-техасски. Меня они понимали, а я их нет, особенно если я разговаривал не с коллегой-профессором, а с продавцом на улице. Такой вот местный колорит. Третье: должность, на которую меня пригласили, называлась Visiting Professor. И я не понимал, что это позиция временная, что это работа лишь на полгода. Вы в гостях. Вы высказались, рассказали студентам о себе, научили тому, чему можете научить. Все. До свиданья. Осознавал я это довольно долго, может быть, потому, что первые полгода я не видел ничего, кроме работы. Я вставал в полседьмого утра и ложился в два часа ночи. Без суббот и воскресений. Дело в том, что второй курс, который я им читал, назывался «Писательское мастерство», то есть, я должен был научить их писать по-английски. Но какой бы ни был у меня хороший английский, это был выученный английский, и материалы к занятиям, проверка письменных работ, консультация студентов требовали совершенно адской подготовительной работы. А нужно было еще вести научную работу, участвовать в конферен-

циях и т.д. В Техасе мне продлили контракт еще на полгода. Но дальше нужно было искать работу, переезжать в другой город – при всей естественности этой ситуации в Америке для иммигрантов ситуация стрессовая.

– И как долго длился стресс?

– Первые несколько лет. При том, что у меня все складывалось довольно благополучно. К тому времени, как у меня кончилась работа в Техасском университете, в Лондоне вышла написанная еще в России книжка «Вознесение Павлика Морозова». Оказалось, что историческое исследование о советском периоде 30-х годов, рассмотрение процесса мифологизации действительности интересно для американских ученых. Поэтому меня пригласили преподавать в Калифорнийский университет. Ну вот. Это был 1988 год. Мы с женой взяли грузовик и поехали через пол-Америки в Дейвис. Честно говоря, я впервые был за рулем грузовика. На полдороге он (грузовик) сломался. Как потом выяснилось, это было везение: фирма, у которой мы арендовали машину, починив грузовик, вернула деньги – в качестве компенсации за наши тревожения.

– В Калифорнийском университете у вас уже была постоянная работа?

– Вопрос о постоянной работе стал решаться год спустя, когда на место, на котором я работал, был объявлен конкурс. Было шестьдесят претендентов. Из шестидесяти они отобрали четырех, из четырех оставили меня.

– Что, на ваш взгляд, сыграло решающую роль?

– Трудно сказать. У американских университетов есть одна специфика, отличающая их от советских вузов. Как курицу в доме держат не за то, что она кудахчет, а за то, что несет яйца, так и писателя в американском университете держат не только за то, что он читает лекции, а за то, что он еще пишет. Бернард Шоу, по-моему, сказал: «Кто способен творить, творит. Кто не способен, тот учит». Американцы считают по-другому: тот, кто не может творить, не способен и учить. Поэтому университеты в США выбирают творчески активных людей, особенно известных. Если вы лауреат Нобелевской премии, вам цены нет.

– Да, но при нагрузке, о которой вы говорите, какое может быть творчество?

– Сейчас я читаю пять курсов в год. И занят в университете 30 недель. А 22 недели я свободен от преподавания. Естественно, важно не творчество само по себе, а его результат: книги, статьи, очерки... И конечно, ваша деятельность определяется тем, насколько велик к вам интерес; появляются ли рецензии на ваши книги, приглашают ли вас выступать в другие университеты и проч.

— Приходилось слышать, что в американском стратифицированном обществе связи и знакомства важны не менее, чем сие принято у нас. Это так? Или новый человек приходит, показывает, что он умеет, и все о'кей?

– Это и так, и не так. Блата в российском понимании этого слова не существует. Когда поначалу я просил своих знакомых американцев, довольно влиятельных, помочь мне найти работу, они говорили: «Да-да, я вам позвоню». И – не звонили. Это сказало мне ясно о том, что не надо просить. Протекции такого рода не существует. Но если у вас есть имя и вас знают, то люди, которые ищут человека на вакансию, сами будут искать вас, – те, кто непосредственно может предложить работу. А чтобы кто-то позвонил приятелю и сказал, что у него есть хороший парень, который ищет работу, и попросил бы для этого хорошего парня работу – такое крайне редко. Такое бывает только у русских эмигрантов. Я вам приведу такой пример. Мне позвонил один дипломат, у которого дочка учится в Калифорнийском университете, с очень скромной просьбой: нельзя ли помочь ей записаться в класс испанского языка? Класс перегружен, и ее поэтому не берут. С точки зрения российской, все нормально. И я, как русский человек, звоню администратору в университет и начинаю объяснять, что вот, хорошая девочка, ее папа может пригодиться, может у нас выступить, помочь организовать обмен студентов и проч. Что отвечает мне администратор? «Профессор Дружников, даже если бы ваша знакомая была дочкой президента Соединенных Штатов, мы бы ей не могли посоветовать ничего, кроме как записаться в очередь в этот класс. Если кто-нибудь откажется, ее возьмут». Все. Я понял, что сделал ошибку, позвонив. Это неэтично. Это не работает.

— А что работает? На что смотрят при приеме на работу?

– Смотрят, какой у вас уровень английского, какой уровень отрасли в стране, откуда вы приехали... Понятно, что если на родине у вас до сих пор изобретают велосипед, вас вряд ли возьмут, даже если вы лично – гений. Естественно, у ученых смотрят публикации, книги. Конкуренция очень большая. В частности, Калифорния все в меньшей степени принимает русских эмигрантов, и все в большей – специалистов из Китая, Вьетнама, Филиппин, Японии...

— Из Японии-то почему уезжают?

– Американские стандарты жизни выше, лучше академические условия, перспективы работы. Я знаю людей, которые в Америку приехали из Германии, Англии. У меня коллега – специалист по средневековой немецкой литературе – приехал из Англии. Там потерял работу. Теперь у него – временный контракт, поскольку специалистов такого рода в США тоже много.

— Вы упомянули об академических условиях. Может быть, расскажете немного о кампусе и городе, где вы живете?

– Дейвис – университетский город. 50 тысяч населения. Из них 25 тысяч – студенты. Если они разъезжаются на каникулы, полгорода нет. 10 тысяч – профессура, исследователи, персонал университета. Оставшиеся 15 тысяч жителей готовят пиццу для студентов и преподавателей. Я утрирую, но смысл понятен? В этом городе запрещено ходить с открытой бутылкой пива. Запрещено курить около зданий на расстоянии ближе 5 метров. В помещениях курить, естественно, запрещено. В этом городе на 50 тысяч жителей 70 тысяч велосипедов. Весной, когда кончаются занятия, полицейские грузовики едут по городу и подбирают брошенные велосипеды. Осенью, когда студенты съезжаются, полиция устраивает аукцион велосипедов. Там можно купить велосипед за 5-7 долларов. Можно купить что-нибудь экзотическое: одноколесный, лежачий, трехколесный...

— И на трехколесных ездят?

– А почему нет? Они устойчивые. Старики ездят иногда на трехколесных велосипедах. Или старушки с голубыми волосами. Почему-то среди старушек там моден голубой цвет волос. Старушки такие тоненькие, в изящных брючках в обтяжку. Очень приветливые. Катаются на велосипедах, потому что заботятся о здоровье.

Вообще здоровая жизнь приветствуется и пропагандируется. Очень много зон, куда автомобилям проезд запрещен. Полиция штрафует за превышение скорости: на велосипедах быстрее 25 миль в час нельзя, это около 40 км/час. Но велосипедисты гоняют быстро. И несколько раз в год на кампус приезжает «скорая помощь», чтобы подобрать очередную жертву быстрой велосипедной езды. Вообще-то, когда смотришь после окончания лекции в окно, удивляешься не тому, что они сталкиваются иногда, а тому, что, как правило, они все же умудряются разъезжаться. Представьте себе 25 тысяч студентов, которые вываливают на улицу, садятся на велосипеды и едут на очередное занятие, – у каждого по расписанию свое. Огромный муравейник, где на велосипедах едят, целуются, может, и детей зачинают. Город устроен так, что велосипедные дорожки ведут прямо из жилых районов на кампус. Их стараются прокладывать так, чтобы они не пересекались с улицами. Они идут через парки, мостики, так называемые green belts, которые тянутся через весь город зигзагами.

— А машин мало?

– Нет. Но университет всячески старается призвать людей ездить на велосипедах. Президент университета ездит на работу на велосипеде. Его секретарша – на «мерседесе», поскольку она живет дальше.

— Кроме университета и велосипедов, чем еще славен город Дейвис?

– Школой виноделия. Это ведь Калифорния. Виноградная долина. Здесь производят лучшие вина Америки, поэтому нужны специалисты по виноделию.

— Вина пользуются спросом?

– Может, в ресторанах только. Вообще американцы перестают пить. У меня в баре стоят три или четыре бутылки водки. Они стоят уже лет шесть. Никто из гостей не хочет, когда предлагаю. Бокал вина – да. Приходят гости. Вы наливаете 5–6 бокалов. Двое-трое допьют до конца. Двое-трое пригубят вежливо и отставят. Это не значит, что нет алкоголиков. У меня коллега, профессор русского языка, спился и умер. Американец. Пить он, по-моему, научился в России. Он приходил в гости, приносил с собой 24 банки пива, выпивал – уходил.

Это исключение, подтверждающее правило. Пьяных молодых людей на улице видеть немислимо.

— Но если посмотреть фильмы, то молодой американец без банки пива непредставим...

— В кино. Или в тех районах, где меня нет. Конечно, в Сан-Франциско, что в полутора часах езды от меня, есть и бездомные, и пьяные, и наркоманы, и проститутки... Но это большой город. А я рассказываю об академгородке, говоря по-нашему. Здесь низкий уровень преступности. Здесь газеты неделю обсуждают криминальное происшествие – мальчик ударил девочку в школе. Конечно, бывает и хулиганство, и велосипеды непристегнутые воруют. Но когда дети выходят на улицу, родители не боятся. Даже если ребенок разложит игрушки на дороге, машина остановится, подождет, пока малыш с игрушками отойдет. Это норма.

— Несколько райская картина получается.

— На самом деле проблем, конечно, много. Самая серьезная – найти работу после окончания университета. Очень трудно сейчас гуманитариям – в Америке их переизбыток. Сокращается количество медицинских институтов – переизбыток врачей. Это при том, что стать врачом в Америке очень трудно. Я это знаю потому, что моя жена – врач. В России она писала диссертацию, которую ей не дали закончить из-за меня. В Америке иностранный диплом врача – это ноль. Ей нужно было сдавать экзамен. Я пошел на этот экзамен с ней. Он продолжался 8 часов. Тест состоял из 6000 вопросов. Из 800 человек сдал один, он был йогом из Индии.

— Экзамен на право врачебной практики в США?

— Да. Она два раза пробовала его сдать. Провалилась. И пошла снова учиться в медицинский институт. Окончила его. Сейчас работает в клинике в качестве семейного доктора. Это family practice. В отличие от России, в Америке врачи не ходят по домам. Даже с температурой 39–40 вы вполне можете сесть за руль и доехать до врача. Если не можете, то набираете 911, и за вами приезжают и отвозят вас в госпиталь. Так вот, к вопросу о легкости жизни в США. Жена принимает до 35 больных в день. Работает как специалист сразу в нескольких областях, делает все – вплоть до не очень сложных операций. Только если заболевание у пациента очень серьезное, она отпра-

ляет его на консультацию к специалисту. Тяжесть работы – вообще одна из основных черт Америки. Я знаю много людей, которые, приходя с работы, обедают и ложатся спать. В 8 вечера. Утром встают и едут на работу. Досуг как таковой существует только на уик-эндах. Знаете, американцы любят наклеивать на заднее стекло автомобиля разные ярлычки. Один из самых популярных – «Живу для уик-энда».

— Речь идет о людях интеллектуального труда?

– Ну, конечно. Я не знаю, как живут пролетарии. Человек выматывается полностью. При этом атмосфера в лабораториях, на кафедрах очень здоровая, неконфликтная. В принципе люди доброжелательны, не назойливы. Даже если вас лично не любят, на вас не будут кричать, оскорблять... «Не могли бы вы сделать то-то и то-то?» – типичная формула обращения начальника к подчиненному.

— Работу найти трудно, даже после университета, но деньги в образование детей, тем не менее, вкладывают охотно?

– Хорошее образование до сих пор считается в Америке самой большой ценностью. Не деньги, а образование. Поэтому деньги в него вкладывать выгодно. У американцев считается нормой, когда бабушки и дедушки платят за обучение внуков, делая таким образом им подарок. Но у моего сына не было бабушек и дедушек, которые бы могли заплатить за него.

— Поэтому его оплачивали вы?

– Нет, я не мог оплачивать, это очень дорого. Сейчас он учится в Станфордском университете. Обучение там стоит 28 тысяч долларов в год. Плата за обучение складывается из трех частей. Первая часть – то, что могут дать родители. Вторая – то, что он сам заработает. Всем студентам университет помогает найти работу. Любая работа почетна. Студенты работают официантами в ресторане, стригут траву, подрабатывают в библиотеках, моют посуду, дежурят в больницах... Они зарабатывают себе на жизнь, так как родители не содержат детей после совершеннолетия. Даже состоятельные родители. Вырос – обеспечивай себя сам. Это принцип. В случае русских эмигрантов он не очень работает. Я, во всяком случае, не могу не помогать сыну. Поэтому я даю ему деньги на бензин, я купил ему машину – в Америке без машины нельзя. Наконец, третий источник оплаты – банковская ссуда.

— Берут родители?

— Родители дают гарантии. Но выплачивать будет ребенок. Этот долг будет висеть на нем. Когда сын начнет работать, он должен будет банку за университет примерно 120 тысяч долларов. Плюс немаленькие проценты. Эти деньги он будет отдавать практически всю жизнь – в течение 30 лет. При большой зарплате сумма будет не очень существенна – примерно 300 долларов в месяц. Чем больше человек выплачивает, тем меньше проценты. У меня сейчас жена за свое образование выплачивает: она, когда в медицинском институте училась, тоже брала заем.

— Получение стипендии невозможно?

— Гениальный ребенок может получить от какого-нибудь фонда деньги даже без отдачи. Теоретически это возможно.

— Как живут в Америке русские эмигранты без образования?

— Ну, как вам сказать... В долине реки Сакраменто живет русская община пятидесятников. Около 30 тысяч человек. Раньше их преследовали за религиозные убеждения. Теперь никто не преследует, но они все равно едут. У них большие семьи – 5-10 человек детей. Им платят пособие как многодетным, а они ходят ловить рыбу, стригут траву – за наличные, чтобы не платить налоги. Английского языка они не знают. И не учат, хотя обязаны ходить в школу, чтобы выучить язык. Вроде бы рай. Но некоторые уезжают обратно. Они привыкли в России, в Украине смотреть телевизор, здесь по телевизору 60 программ, но все на английском. И они смотрят его час в день – новости из Москвы. Они не могут адаптироваться. Они сами себя заключают в гетто. Сладкое гетто, конечно, но это все равно изоляция.

— Юрий Ильич, вы снялись в американском фильме о русской эмиграции «У времени в плену» вместе с Еленой Кореновой и Олегом Видовым. Как вы попали в актеры?

— Режиссер Марк Левинсон вначале просто просил прочитать сценарий. Расспрашивал о жизни эмигрантов. А потом предложил и роль сыграть – писателя из Москвы.

— То есть вы играли самого себя?

— Нет. Драматург, герой фильма, разочарован жизнью в Америке. Его русские пьесы там не нужны, он очень страдает,

не может найти себя. Это не мой случай. Режиссер просил меня уговорить и Крамарова сняться в его фильме. Но тот уже, к сожалению, был болен.

— **Вы хорошо знали Савелия Крамарова?**

— Да. В Москве в 1980-м мы с ним открыли подпольный театр – ДК.

— **Дом культуры?**

— Нет. ДК – это Дружников и Крамаров. Я написал для этого театра пьесу под названием «Кто последний, я за вами». Действие ее разворачивалось в московском ОВИРе, куда приходят отказники. Перед ними – огромные часы. Помню, в ремарке говорилось, что каждые полгода в часах открывается дверца, появляется миловидная девушка в милицейской форме и говорит «Ку-ку». Наш ДК обосновался в квартире Крамарова на Мосфильмовской. На спектакль приходило до 200 зрителей. Квартира была забита, и репродуктор выносили даже на лестничную клетку. Спектакль прошел несколько раз. Потом у входа в подъезд поставили милиционеров и людей в штатском, которые стали у зрителей проверять паспорта и записывать фамилии. На этом наш театр и закончился.

— **Как Крамаров чувствовал себя в Америке?**

— Крамаров в Советском Союзе был известным актером. Он снялся в 42-х фильмах, и его знали все. Он демонстрировал мне это однажды, когда мы шли по улице. Он подошел к мальчику, игравшему в песочнице, и спросил его: «Кто я?» На что ребенок ответил: «Ты – Крамаров». И вот ему пришла в голову идея, что если он поедет в Америку, то войдет в число 44-х лучших американских комиков. Откуда он взял цифру «44», я не знаю. Его не выпускали, а имя вырезали из титров фильмов. Через год или два, когда о том, что его не выпускают, стали писать американские газеты, ему разрешили отъезд. К тому времени он учил уже английский язык. И выучил – семь слов. Тем не менее поначалу в США все было прекрасно. Его приглашали на роли... Но тут выяснилось, что есть проблемы. Дело в том, что у Крамарова была плохая память. Для советского кино, которое озвучивалось в студии после съемок, это было непринципиально. Он мог прочесть текст роли по бумажке. На съемках американских фильмов звук записывается сразу. Актер должен уметь все. И кроме того, даже если бы

у него был очень хороший английский, этот английский все равно был бы с акцентом. Это резко сужало диапазон ролей. Получалось, что он мог играть только русских эмигрантов. Сколько русских эмигрантов в американских фильмах? Он сыграл чекиста, сыграл советского космонавта, сыграл какого-то беглого моряка и еще иностранца, которого нанимает для своих целей сенатор... Почти все. Он очень страдал, хотел сниматься в России, но это требовало мучительного компромисса с самолюбием. Потом пошли болезни, одна за другой. Пример Крамарова как раз показывает, что человеку творческому нужно сто раз подумать, прежде чем решаться на отъезд.

— Ваша дочь осталась в Москве. Почему?

— У нее в России очень интересная работа. Она специалист в узкой области: занимается ритмом на драматической сцене. Пишет диссертацию, преподает. Ее любят студенты. Плюс к этому она работает и как режиссер. Ее приглашали на постановки во Францию, в Бельгию. Так что она ездит. Но ее дом — здесь, в России. Здесь у нее своя семья — муж, дочка, здесь у нее друзья... А к нам можно приезжать в гости.

Я когда-то очень хотел, чтобы она уехала с нами. Теперь понимаю, что найти ей работу по специальности в Америке очень трудно. Она любит свою профессию, любит свой театр, институт.

— Вы считаете, что у интеллигенции, остающейся в России, есть перспективы?

— Я уверен в этом. Нужно время и терпение. Я даже думаю, что если здесь ситуация стабилизируется, многие, может быть, захотели бы вернуться. Например, тысячи ученых из России сейчас работают в Мексике. Для Мексики это очень выгодно: российским ученым платят меньше, чем мексиканским, но все равно они получают больше, чем здесь. Но это не так просто, да и не нужно там столько специалистов. Думаю, что если бы труд ученых оплачивался в России хотя бы так же, как в Мексике, некоторые бы вернулись.

— Юрий Ильич, ваши книги выходят на русском в Нью-Йорке, Лондоне, только недавно стали появляться в России. Имеет ли перспективы русская литература в эмиграции?

— Сергей Довлатов любил говорить по этому поводу: «Свобода здесь, читатель там». Сейчас вроде и «там», то есть, здесь, в

России, свобода. И поэтому появились статьи, что русская литература в эмиграции не нужна, мол, она исчерпала себя. Дескать, среда здесь, а писатель от нее отрывается. Но это совершенно агитпроповский тезис, имеющий отношение к ОВИРу, но не к творчеству. Гоголь писал «Мертвые души» в Риме. Тургенев полжизни провел во Франции. Жуковский умер в Германии. Классический пример – Герцен, создавший за границей вольную русскую прессу.

— С Герцена все и началось...

– Если уж быть точным, началось все с князя Курбского, сбежавшего от Ивана Грозного и написавшего свои письма о государстве московском. Литература в эмиграции и в России – это сообщающиеся сосуды, ветви одного дерева. Я получаю письма из российских библиотек с просьбой прислать свои книги. Значит, они нужны здесь? Я пишу для интеллигентных образованных людей. А они есть повсюду: в Москве, в Ленинграде, Новосибирске, Нью-Йорке и Сан-Франциско... Русские читатели в Америке тоже довольно многочисленны. В одном только Сан-Франциско выходит семь русских газет. В Нью-Йорке их десятки. Я пишу для своих единомышленников. Думаю, что они есть и в России, и в Америке, и в Европе. А где я живу, это сегодня вопрос второй...

1996, Москва.

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПУШКИНЫМ И ПАВЛИКОМ МОРОЗОВЫМ?

**С писателем и историком литературы из США беседует
обозреватель «Литературной газеты» Павел Басинский**

— Юрий Ильич, современный русский читатель знает вашу скандально известную книгу «Вознесение Павлика Морозова, вызвавшую в свое время шквал как положительных, так и негодующих откликов со стороны защитников этого, одного из самых ранних официальных советских мифов. Тем не менее — несколько слов о себе. Как вы оказались вне России?

— То была давнишняя и весьма скромная попытка докопаться до дна в болоте всем известной лжи. Трехсотстраничная рукопись «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» с восьмьюдесятью моими фотографиями гуляла в Самиздате, а вышла в советское время в Лондоне. Глава за главой пошли по радио «Свобода». Поток писем обрушился на Москву, большей частью от учителей: петь дальше песни о героепионере или не петь? Власти отреагировали: сотни две статей, меня гвоздящих, пробарабанили по стране. Рекорд побил «Вечерний Киев», где на первой полосе сообщалось, что Дружников сам доносчик, ибо донес читателям на Павлика Морозова. Один московский журнал вызвал меня в суд за оскорбление чести героя, но тут идеология рухнула.

А вообще-то неприятности мои начались, когда на совещании детских драматургов в Ростове-на-Дону, я задал вопрос:

почему памятники Сталину снесены, а Морозову стоят, и прилично ли нам воспитывать преданность на примере предательства? Вскоре меня в очередной раз пригласили в известное учреждение и предложили не лезть не в свое дело. Ну, когда запрещают, очень хочется узнать, почему. Между тем появилась статья в «Известиях», что в рассказах я искажаю образы советских людей, запретили комедию «Учитель влюбился» (сейчас она опять пошла), передачу «Взрослым о детях» на радио. Меня вытолкнули печататься на Западе, а потом на допросе объяснили, что я живу в свободной стране и мне предоставят свободный выбор, куда хочу: в лагерь или в психушку. Спустился я по Кузнецкому мосту к Центральному телеграфу и позвонил в Нью-Йорк. Бернард Маламуд, Курт Воннегут, Элия Визель в Американском ПЕН-клубе включились в мою защиту (сейчас я так же спасаю писателей в других странах). Остался выезд, но власти мне отомстили: десять лет не выпускали. Они ошиблись, не посадив или не убив меня бутылкой в подъезде: я много написал за десять лет немоты в Москве. Но они победили, на пятнадцать лет полностью изъяв мое имя из литературного употребления на родине.

В августе 91-го, уже с американским паспортом, я попытался проскочить в Москву к известным событиям, но в консульстве мне не дали визы. А в прошлом году, когда финская кинокомпания снимала в Москве и Сибири фильм по книге «Донощик 001», на фото в «Московском комсомольце» я увидел себя, стоящим на постаменте Павлику Морозову, и писалось, что я свалил монумент. Это преувеличение.

Реальность такова, что книга живых свидетельств по делу пионера-героя №1, опубликованная на разных языках, в России впервые напечатана только в 1995 году, а полное научное издание (с источниками, включая личные архивы, добытые мной секретные документы ОГПУ и пр.) по сей день существует на английском, хотя я отказался продать американскому издательству «русский копирайт». Документальный фильм идет в Германии, Финляндии, Англии, Голландии, но не в Москве.

— **Ваша книга «Русские мифы» издана в Нью-Йорке на русском языке с пугающей черной обложкой и портретом Пушкина, боязливо озирающегося... на Сталина, который не торопясь, «классически» прикуривает трубку (коллаж Вагрича Бахчаня-**

на). На сей раз жертвами вашего мифоборчества стали русские писатели: Пушкин, Гоголь, Куприн, Хлебников, Юрий Трифонов... В России книга еще не издана, но частично опубликована газетами и журналами. Есть и отклики — Лев Аннинский в «Дружбе народов», №1 с.г. Откуда такая страсть к разоблачению мифов? Что это — ампула, призвание или, простите за нескромный вопрос, эмигрантское хобби? Грубо говоря: вы писали это для Америки или для России? Спрашиваю это оттого, что в процессе чтения не раз ловил себя на ощущении, что книга писана как бы не для меня, сейчас живущего в России, а... Для кого?

– «Жертвами» – перебор. Это чтимые мной писатели. Но по пути от школьной парты до профессорской кафедры слышал о них, к сожалению, немало конъюнктурного вранья. Сегодня традиционный русский подход к литературе как средству познания вечных вопросов бытия сохраняется, но писатель – глашатай всеобщей истины, духовный лидер, которого надо слушать, разинув рот, гуру, подпитывающий энергией дух читателей, – воспринимается с трудом. Западный подход: любой писатель пишет правду, как он (он лично!) ее понимает – не меньше, но и не больше.

То, что критики называют моим разоблачением мифов, в действительности лишь попытка разгрести наслоения, будь то о Павлике Морозове, Сталине-пушкинисте и поэте, Пушкине-любовнике, Гоголе как друге и соратнике Пушкина или Трифонове-инакомыслящем. Да и название книги – «Русские мифы» – условно, не то, что, скажем, древние мифы. Уточню: понять субъективно, сделать шагок к истине, ибо истина непостижима для целых народов, что уж говорить о литераторе-единоличнике.

Пишу я не для России, Америки или Австралии, а сначала – для себя. Ампула, страсть – в любопытстве, а не в разоблачении; призвание – в поиске, как у старателя, ищущего крупницу золота в породе. Кстати, я и золотишко мою изредка, ибо живу в часе езды от района золотой лихорадки, мою без удач, но процесс захватывает. Добавлю еще афоризм Хуана Рамона Хименеса, такого же эмигранта, как я, которого приютили США: «Если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек». Без сего правила, на мой взгляд, лучше не быть писателем. Я

медленно копаю до исходного документа, а нет его – до свидетельств очевидцев. Даже чистая моя проза, скажем, роман о московских журналистах «Ангелы на кончике иглы», есть исследование или расследование (двенадцать томов черновых записей – показания прототипов героев). Копаю слоями: сперва просто как любознательный читатель, потом как историк, литературовед, наконец как писатель, то есть с эмоциями. Помогает, конечно, и многолетний журналистский опыт взятия материала.

Настоящее писательство всегда, от древних авторов, – хобби, ибо хобби есть цель, а зарабатывание денег – лишь средство осуществления хобби. Потом находятся читатели – единомышленники, противники или просто любопытные (а редакторы и издатели, в сущности, те же читатели, только с грузом ответственности перед другими читателями), и коль интересно, это издается.

— Честно говоря, сама по себе идея мифоборчества мне не кажется плодотворной. Миф — только вершина айсберга, под которой скрывается нечто более грандиозное. Сейчас это называют, на мой слух, неприличным словом «менталитет», но мне это представляется неким знаком, «тавро» каждой эпохи, по которым мы только и способны их различать. Например, я знаю не только из книг, но и со слов очевидцев, с каким неподдельным энтузиазмом студенты Литературного института конца 30-х годов шли добровольцами на Финский фронт (среди них поэт Отрад, Луконин, Наровчатов, Копштейн — первый и последней, кстати там и погибли). С точки зрения нынешнего «менталитета», они были просто наивными заложниками сталинского мифа о каких-то «белофиннах» (на самом-то деле — жителях своей страны, сражавшихся против советской интервенции). И можно представить писателя, похожего на Юрия Дружникова, который бы от этого мифа не оставил камня на камне. Но вот беда... те ребята этой «правды» никогда не узнают. Они навеки так и останутся коллективным и глубоко мифологическим образом «отступающих в вечность солдат», говоря словами эмигрантского поэта Георгия Иванова. И мне, по правде сказать, почти безразлично, кто эти «солдаты»: белые или красные и даже, как это ни страшно звучит, — красные или коричневые. На недавней выставке «Москва — Берлин» в Пушкинском музее я полчаса простоял

перед картиной какого-то немецкого художника времен Второй мировой войны. На ней изображен фашистский солдатик на побывке среди деревенской ребятни. Он что-то такое показывает им ладонью в воздухе — наверное, боевой немецкий самолет, который один сбивает десять русских. Лица детишек светятся от восторга...

Мой дед погиб на той войне. И перед картиной Ларионова «Письмо с фронта» я простоял несколько более и — с иным чувством. И все-таки не могу не признать, что немецкая картина меня тоже захватила! Вот все про себя понимаю, а стою и переживаю за этих немчиков, как идиот! Вы считаете, что я тоже — жертва мифа?

— Откуда вам известно, что ушедшие в вечность правду не узнают? Но если это и так, мы-то обязаны ее знать, ну, хотя бы для того, чтобы не начать войну с белофиннами снова. Иллюзии, как листья осенью, падают; я собираю листья. Мне близко ваше состояние терпимости, сострадания, понимания того, что по обе стороны границы — люди; философия, даже временная, вроде «сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», опасна, и сейчас еще расплачиваемся. Но тем важней холодным рассудком отделять в прошлом факты от чувств, ибо личная ответственность, сегодня столь важная в мире, включает понимание того, кто был кто. Для меня разница между белыми, красными и коричневыми остается. Мертвые сраму не имут, но пока я жив, я хочу понимать, с кем я и ради чего. Ошибки прошлого помогают разбираться в себе, в окружении, даже в литературе. Читатель вправе строго спросить: какая связь между книгами этого автора, меж Павликом Морозовым и Пушкиным? А это крайности русского духа: бездна падения и бездна величия. Одна деталь, для примера. Как известно, есть несколько толкований пушкинского стихотворения «Анчар», но суть стиха проста: владыка послал раба за ядом, и тот его принес. Работая над книгой о Пушкине «Узник России. По следам неизвестного Пушкина» (книга только что переиздана в Москве, в издательстве «Изограф»), я обратил внимание, что по датам написания «Анчар» совпадает с попыткой завербовать самого Пушкина в тайные сотрудники Третьего отделения. Так родилось еще одно толкование этого стихотворения, а это маленькое открытие охватило и поэму «Полтава», — ведь

и ее тема – «донос на Гетмана-злодея царю Петру от Кочубея». Посмотрите даты: написано Пушкиным в те же дни!

Мой дед тоже погиб. Он был инженером на ртутном руднике в Никитовке, и в семнадцатом был сброшен рабочими в шахту; бабу с двумя маленькими дочерьми выгнали из дома, а дом сожгли. Бабушка боялась это рассказывать, в анкетах писала, что ее муж погиб в Октябрьскую революцию, защищая советскую власть. Вот водораздел между иллюзией и неприятной правдой. Какая история предпочтительней? Я никого не осуждаю за наивную веру в несостоятельные идеи, тем более людей погибших. Наверное, вы правы, это менталитет, такие тавро можно найти в любую эпоху. Мы все жертвы мифов, но так же, как одни хотят заблуждаться, другие хотят понять суть заблуждений.

— Вернемся к нашим писателям. Ваша книга, бесспорно, написана талантливо и местами захватывает, несмотря на, повторяю, не близкий мне разоблачительный тон. В ваших способностях энергичного и дотошного исследователя не приходится сомневаться. Особенно запоминаются «Куприн», «Хлебников» и «Трифонов». Очерк о могиле Хлебникова оставляет впечатление шока. Скажите, вы действительно можете доказать, что на Новодевичьем кладбище лежит не Велимир, а некто, не имеющий к нему отношения?

– Доказать, что на Новодевичьем кладбище лежит не Велимир Хлебников, можно, как и в случае с Николаем Вторым. Хлебников бежал в деревню Санталово, под Новгород, из Москвы от голода и бездомности в 1922-м. Вскоре его схоронили на погосте Ручьи. Провожавших было шестеро, среди них художник Петр Митурич, – в архиве есть его записи о могиле и рисунки. Я опросил всех свидетелей. Они утверждают, что в августе 60-го, когда сын сестры Хлебникова, добившись места на вельможном кладбище, приехал за прахом, он ошибся и раскопал соседнюю могилу, а настоящая цела. На камне Новодевичьего должна быть надпись: «Здесь не покоится Велимир Хлебников». В могиле лежит неизвестный, которому подвалила такая честь.

Академия наук в свое время тайно вскрывала могилу Пушкина: остатки камер-юнкерского мундира сохранились, даже волосы на черепе, – сомнений нет. Но у меня есть сильное подо-

зрение, что в могиле Грибоедова с Ниной Чавчавадзе в Тбилиси покоится не автор «Горя от ума», а другой человек, исламский фанатик, возможно даже, убийца поэта, и это пока не удалось проверить. В задачу писателя не входит эксгумация, я собираю вербальные доказательства, доступные кустарю-одиночке.

Еще пример моих исканий, опять о Морозове. Доказываю в книге, что мальчик донес на отца потому, что тот бросил мать, а верность идеям Ленина ни при чем. Слаборазвитый Павлик о коммунизме не ведал. Он был убит не дедом и двоюродным братом, а сотрудниками ОГПУ, чтобы обвинить кулаков (которых в деревне не было) в терроре против представителя советской власти. Для этого Павлика сделали после смерти пионером, каковым он точно не был. У меня записаны также свидетельства очевидцев, что позднее, заметая следы сталинских (и своих) преступлений, кагебешники ночью, при свете фар, раскопали могилу, останки двух братьев Морозовых перемешали в одном ящике, перевезли на другое место и залили двухметровым слоем жидкого бетона. Один череп в спешке потеряли, им школьники играли в футбол. Эксгумация невозможна, а все равно у меня в «Доносчике 001» десяток свидетелей доказывают: расстрелянные за убийство не убивали. Впрочем, я, по всей вероятности, нашел убийц.

— Что касается очерка о возвращении в Россию Куприна в 1937 году («Куприн в дегте и патоке»), то замечательна эта сцена, когда старый писатель в Голицыно кричит командиру роты встречавших его, как на параде, солдат: «Здравия желаю, господин унтер-офицер!» — «Он не господин, а товарищ командир», — подсказали Куприну компетентные сопровождающие.» Такого «нарочно не придумаешь!» Вы считаете, что Куприн был до такой степени невменяем, что ничего не понимал из того, что происходит вокруг? Или все-таки играл, с некоторой даже издевкой? Сами же пишете, что на вопрос представителя «Комсомольской правды»: «Как вам нравится новая советская родина?» — Куприн ответил: «Ммм... Здесь пышечки к чаю дают». Да-да, пышечки и стакан винишка... Для жизнелюбца Куприна, который знал, конечно, что смертельно болен, это вино и пышечки были куда значительней политической борьбы и проч. Вы-то пишете об этом в саркастическом тоне: вот, мол, до чего оболванили русского писателя! А мне-

то кажется, что Куприн в самом высшем смысле был прав... как прав всякий человек, одной ногой стоящий в могиле. Вот плевать ему было уже на все эти «белые» и «красные» правды и кривды! Просто помирать не хотелось в Париже... Не согласны?

– Не могу согласиться из-за обилия собранных мною свидетельств. Много мне рассказали старые парижские эмигранты, в том числе Андрей Седых, литсекретарь Бунина. Когда человек любит кошечку больше дочери, отбирает у школьников тетрадки по геометрии, чтобы перерисовывать треугольники, и хвалит партию и Сталина за то, что пышечки к чаю дают, – это деменция, или, проще, приобретенное слабоумие.

Куприна не оболванили, хотя подпаивали. Симонов с Валентиной Серовой привезли ящик бутылок – Союз писателей добавил на это командировочных. Классик нужен был системе больше, чем Горький и, тем более, Алексей Толстой, и НКВД ловко использовал болезнь. Жене обещали спасти Куприна от рака в советском санатории, а уже были метастазы. Завещания, составленного адвокатом до выезда из Парижа, нет, но можно ли доверять советским публикациям тридцатых годов, где журналисты провозглашают настойчивое желание старика умереть на родине? Его, потерявшего рассудок, донимали боли, и он даже читать толком не мог. Оставшись одна, Куприна повесилась.

— Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление оставляет ваш рассказ о Юрии Трифонове. По некоторым сведениям, его отказались печатать все российские издания, в которые он посылался. Это правда?

– Правда, хотя на Западе очерк «Судьба Трифонова, или Хороший писатель в плохое время» перепечатывался несколько раз, и я делал доклад на американской конференции славистов в Техасе.

— По вашей версии, Трифонов — писатель исключительно советский. Это миф, созданный либеральной интеллигенцией и — отчасти — зарубежной славистикой. Миф о писателе, борвшемся с режимом, говорившем правду вопреки обстоятельствам. По вашей версии, Трифонов всю жизнь трусил, приспособливался... Особенно шокирует ваша версия о том, будто Трифонова, как и многих сиятельных графоманов, создали квалифицированные редакторы «Нового мира» и советских издательств. Буд-

то сегодня сложно определить, что в его вещах «от Трифонова» и что от мастеров работать красными чернилами и ножницами. Гм–м–м... Не знаю, насколько основательны эти подозрения...

– Полемика идет. В Бельгии вышла книга на английском, утверждающая, что Трифонов есть Лев Толстой. Писем много: от «я сам так же о Трифонове думаю» до «если бы Трифонов был Пушкиным, он бы вызвал вас на дуэль». Умный критик Михаил Золотоносков написал две статьи: в первой меня хвалит, отмечая, что о Трифонове написана только пара статей, «которые не стыдно читать» («Час пик», Петербург, №13, 1991), а во второй, цитируя те же мои высказывания, поносит: «Эмигрант писал о Трифонове довольно злобно» («Московские новости», №3, 1997). При этом Золотоносков, судя по сноскам, читал только отрывок в журнале «Время и мы».

Водораздел проходит по возрасту: старому поколению Трифонов – единомышленник, помощник в выживании; среднее считает его коллаборационистом с фигой в кармане и скучным, младшее – не читает вообще. Трифонов сам рассказывает, как месяцами, от первого слова до последнего, шла коллективная работа над его рукописями – полистайте его «Записки соседа» в полной версии. Вариантов рукописей было много, он сам переписывал под диктовку, без красных чернил. Раз в жизни я подобную операцию выдержал в Москве в начале семидесятых: вместо романа вышла половина, оригинал пропал во время эмиграции, и я этот роман даже не включаю в выходящее сейчас в США собрание сочинений.

— На меня эта часть вашей книги оказала странное воздействие. Быть может, прямо противоположное тому, которое замышлялось. Я... бросился перечитывать «Время и место», «Дом на набережной», даже «Студентов»... Для меня Трифонов — не пустой звук, вне зависимости от временной конъюнктуры, которая, кстати, к нему сегодня не слишком благосклонна: его практически не переиздают, о нем ничего не пишут... А тут еще ваша, признаю, весьма убедительная версия о писателе, который, сам того не желая, оказался чуть ли не в диссидентах, тяготился этим, нервничал, потому что хотел только одного: благополучной жизни. И знаете, вы меня почти убедили! Мне тоже всегда казалось, что Трифонов–диссидент (пусть даже внутренний) — это миф, который был необходим либеральной интеллигенции, жившей

здесь, но постоянно державшей кукиш в кармане. Этот миф был ей удобен, он как бы оправдывал ее собственное непоследовательное существование, весь тот раздрай с совестью, принципами и т.д. В этом смысле прямолинейный Солженицын меньше ее устраивал; большинство интеллигенции, хваля на словах, втайне его не любило — за жесткость, за диктат правды, за учительство. Трифонов оказался более «своим».

Но видите ли в чем дело... За разоблачением мифа о Трифонове вы, мне кажется, проскочили мимо писателя Трифонова. То есть вы постоянно оговариваетесь: Трифонов, мол, писатель большой... Но — советский... Художник значительный... Но — конформист... И выходит, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. Это напоминает мне давнюю и так же блистательно написанную статью вашего оппонента в «Дружбе народов» Льва Аннинского о Фете. Он ее тоже построил методом парадоксальной оппозиции: Фет — великий лирик и Фет — кондовый консерватор, самодур-крепостник, искатель щедрот и милостей при дворе его императорского величества. И, как и вы, артистично разводил руками: бывает же, мол, такое! Вы: «По всей логике тогдашней советской жизни Юрий Трифонов как писатель никак не мог, не должен был состояться...» Отчего же не мог и не должен? Это так же неочевидно, как и то, что «по всей логике» идеологических взглядов Фета он не мог и не должен был состояться как великий, тончайший лирик. Фетовская поэтическая глубина была естественным следствием его, в том числе и политических взглядов, которые предполагали максимальное сохранение в России состояния органического покоя, не нарушаемого ничем, никакими революционными сдвигами. «Учись у них, у дуба, у березы...» — то есть терпению, стойкости, неколебимости...

Конечно, Трифонов — писатель другого сознания и другой эпохи; прямые аналогии тут опасны. Но не кажется ли вам, что психологическая глубина трифоновских вещей в какой-то степени была следствием той тщательно оберегаемой им «автономии», в том числе и от радикально диссидентских кругов, которую вы объясняете его трусостью, конформизмом. Ну, не хотел он в Америке кричать о страданиях русской интеллигенции под коммунистами! Не хотел вместе с американцами рыдать о правах человека! Конечно, это крайне щепетильный вопрос — о том, обязан писатель или нет поднимать голос в защиту унижен-

ных и оскорбленных. Трифонов от этого сознательно уклонялся. Ему важно было другое — художественное оправдание своего времени. Именно оправдание, а не осуждение. Почему-то такая простая мысль не приходит тем, кто жаждет видеть в Трифонове союзника по борьбе со сталинским наследием и проч. Для него все это было частностью, быть может. А главной была, например, тема безотцовщины, которая проходит и в «Студентах», и в «Доме на набережной». Или тема Москвы... Что ни говорите, а московские пейзажи в «Студентах» — замечательные! Снег, фонари, бульвары. Они что — тоже «под коммунистами»?

— И для меня Трифонов — не пустой звук! Сложность загадки и привлекала: реальный, в противоречиях, он мне ближе. Вы за меня ответили о Трифонове-диссиденте, Трифонове — альтернативе Солженицына, удобной и власти, и читателю. Только вот насчет **парадоксальной оппозиции** возражу. Я-то пишу об обратном: о **парадоксальной гармонии** у Юрия Трифонова, о единстве или, вашим языком, о том, что мухи попали в фарш, то есть в котлеты. Статья Льва Аннинского мне понравилась своей остроумной игрой с цитатами из Дружникова. Я вижу в Фете Аннинского ту же парадоксальную гармонию, а не оппозицию. Удивляюсь только, почему в Фете он ее утвердил, а в моем портрете Трифонова осуждает.

Конечно, Трифонов — писатель советский, а какой же еще? Он родился и умер при советской власти, был членом ССП, ни строки не опубликовал без советской цензуры, публично ругал Запад и остерегался Самиздата. Как ни парадоксально, чем известней в мире он становился, тем больше осторожничал, хотя уже мог поднять голос без особого риска для себя. Он хороший советский писатель. Когда было нельзя, не был либерален (студенты травят космополита), когда можно, стал таковым в дозированной мере. Снег, фонари, бульвары мне тоже нравятся, но не в силах я рассматривать котлеты вне мух.

«По всей логике не мог состояться...» Ибо чудо, что сын репрессированного отца и матери попал в Литинститут. Вдвойне чудо, когда Федин, не читая, рекомендовал его дипломную повесть для «Нового мира», втройне чудо, что получил Сталинскую премию. Подсознательная тема безотцовщины... Я ее оставил для психоаналитиков, им бы поинтересоваться феноменом Трифонова. А вне психоанализа сын умело использовал

отца – героя гражданской войны в качестве подпорки. Я только начал копать историю Валентина Трифонова. Если б был Божий процесс, а la Нюрнбергский, его посчитали бы одним из главных преступников – столько людей загубил этот кровавый прокурор. Автономия Трифонова? Какая автономия, когда он по заданию ЦК едет к западногерманским коммунистам успокаивать их возмущение по поводу борьбы с инакомыслящими в СССР? Он сам мне говорил: мол, попросили, надо. Художественное оправдание времени? Вот это-то и страшно, потому-то он и советский, что не осуждал, а оправдывал время, которое нельзя оправдывать.

Если я должен что-то прибавить к давно опубликованному мною и изрядно обруганному, но по-прежнему недоступному для широкого российского читателя очерку «Судьба Трифонова», скажу: я аккумулирую все точки зрения. Включая, разумеется, собственную, – иначе для чего же писать? Рассматриваю я его со всех доступных мне сторон – и то, что он талантливый прозаик, утверждаю, а не оговариваюсь. При этом открыт любым новым углам зрения, буде таковые возникнут.

— И последний вопрос, Юрий Ильич. Читая вашу книгу, я неожиданно подумал: чем, собственно, болеет этот человек? Вам не кажется, что ваша духовная родина осталась (может, и вопреки вашим желаниям) в области тех мифов, с которыми вы сражаетесь. Не борьба ли это с самим собой?

– Для меня писательство – не борьба, не сражение и не разоблачение. Я этих слов вообще стараюсь избегать, даже устно. Мое дело – тихая сосредоточенная работа дома и в архивах разных стран. Я подсчитал, что провел в архивах и библиотеках треть сознательной жизни. Так получилось, что части русских писателей от Гоголя, Тургенева, Достоевского до Бунина и Замятина, да тому же Куприну, Набокову, Солженицыну, Синявскому, Копелеву пришлось подолгу работать вдали от духовной родины. Сегодня у нас есть телефон, факс, e-mail. Впрочем, если половину моих книг и сегодня остерегаются печатать в Москве и Петербурге, то кто же остается в области тех мифов? Я пишу о прошлом, думая о нынешнем, а снится мне здоровая Россия.

1997, Дейвис.

**ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА,
АНКЕТЫ**

ПИСЬМО НА СЛУЧАЙ АРЕСТА

Давно собирался написать это послание для моих друзей во многих странах, но сдвинуть дело с мертвой точки помогла добрая московская знакомая. Неожиданно заглянув без звонка, она сказала, что ситуация внутри страны стала настолько мрачной, что таких, как, я вполне скоро начнут сажать. Список уже готов.

Недобрые предчувствия моей приятельницы диктовались добрым намерением. Она исходила из того, что ряд защитников хлипких прав на свободу литературного творчества уже в основном выслан из страны и посажен. В руках у них были перья – криминальное оружие писателя со времен Радищева. За это на них нацелили винтовки.

– Теперь волею обстоятельств, – сказала она, – когда здесь нет Солженицына, Копелева, Синявского и Владимова очередь за нами. Но теперь другое время: иллюзий меньше, перспективы короче, цинизм представителей власти потерял все границы. Сие – тоже страница истории этой страны, и ваш долг ее написать. И за написанное пострадать. Больше никому.

Судьба писателя в России – барометр общественной жизни, показатель свободы или рабства, прав или неограниченного насилия, жестокости или терпимости власти в каждый данный момент.

Говорят, теперь моей судьбой распоряжается КГБ. Возможно, так это и есть. Говорят также, что это организация мстительная, из мести держит и не выпустит, в лучшем случае, для

примера, для запугивания других писателей, которые мечтают эмигрировать, а в худшем – для того, чтобы расчитаться со мной.

Не знаю, кто решил сделать из меня заложника, но исторический опыт показывает, что издевательства над писателем, буде они начаты, границ в нашем отчестве не имеют, и надо быть готовым к худшему. Я жил будущим, но в теперешних условиях понимаю, что оно может не наступить. Ждать нельзя, необходимо лишь, как говорил Вольтер, возделывать свой сад, то есть делать то, что обязан делать, и пусть будет, что будет. За прошедшие десять лет я услышал столько официальной лжи, что понял: на общественную справедливость в этой стране рассчитывать не приходится. Но поддерживать ложь молчанием я не буду. Философ Петр Лавров говорил, что прогресс делают одинокие личности, и верил только в отдельных людей. К людям, которым я доверяю, я и обращаюсь.

Я понимаю, что основной закон деятельности властей – законное беззаконие, и деться от него некуда. Теперь, когда все печальнее становится ситуация внешняя и, как ее задворки, внутренняя, – для того, чтобы найти виновника в своих неудачах, для запугивания других или для того, чтобы насолить Западу, – было бы вполне в стиле режима выместить зло на очередном писателе, как это бывало не раз. Понимаю, что обращаться за защитой некуда, и со мной, как показывает опыт других, может произойти всякое. Могу оказаться избитым или втянутым в инсценированное преступление, или просто исчезнуть посреди бела дня.

Они могут это сделать, но это будет иметь свои последствия.

Писатель, будь он велик или мал, есть ячейка мировой культуры. «Без меня народ не полон», – говорил затравленный Сталиным Андрей Платонов. Можно вынуть живого автора из печати и библиотек, это делалось не раз, но это лишь прибавляет интереса к его произведениям, ибо запрет создает духовный дефицит. Можно посадить или убить, и тогда он становится великомучеником, которого уже не изъять не только из современной литературы, но и из литературного будущего.

Сейчас, когда нас осталось мало, каждый писатель на виду. И чем больше его здесь преследуют, тем больше он на виду у

всего мира. Если они на это пойдут, в длинном списке русских писателей, затравленных и убитых советской властью и КГБ, будет еще одно имя.

Не знаю, готовятся ли они к этому, но именно потому сам должен быть к этому готов. Годы прошли в напряженной работе, и рукописи находятся на Западе в нужных местах с соответствующими распоряжениями. Если мне начнут препятствовать в выполнении моих профессиональных писательских обязанностей, это приведет к немедленной их публикации, в том числе даже неоконченных. Международная ситуация для этого самая подходящая.

Если со мной что-либо произойдет (несчастный случай, исчезновение, арест), прошу моих друзей немедленно сообщить об этом цивилизованному миру, как об этом договорено устно. Заранее заявляю, что ни на какие мои просьбы в устном ли, письменном, магнитофонном или печатном виде отменить решенное заранее, прошу не реагировать, ибо знаю и вы понимаете, что со мной могут сделать.

29 ноября 1984, Москва.

ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ

Когда один писатель обращается к другим, это, согласитесь, нечто большее, чем просто письмо. Я хотел выступить перед вами на собрании или в печати, но лишен слова.

Исполняется дата: 10 лет моего исключения из Союза писателей. Исключения, проведенного секретариатом Московского отделения тайно, в мое отсутствие, не по уставу и не по-человечески. Официально об исключении не уведомили до сих пор.

Мои книги и пьесы были запрещены, и на допросе в КГБ мне заявили, что я – «бывший писатель», и тогда мне осталось только уехать. Не тут-то было!

И вот – юбилей, юбилей не только моего исключения, но и творческой деятельности администраторов Союза писателей и вашего покорного молчания.

10 лет – как во всех издательствах наложено вето на мои книги: новый роман, два сборника рассказов, все одобренное рецензентами, опубликованное в планах, частью набранное. Запреты по звонкам (или письменно?) из Союза писателей. Не могу получить собственные рукописи.

10 лет – ни в одном печатном органе не могу опубликовать ни строки.

10 лет – в театрах сняты пьесы, нет рецензий, не дают выступить перед читателями, имя изъято. Само собой, выкинули из Литфонда, нашего профсоюза, из поликлиники, чтобы не лечился, из книжной лавки.

10 лет – черная литературная работа (между прочим, на те же печатные органы Союза писателей).

10 лет – Союз писателей не отвечает на мои заявления, на запросы коллег и литературных организаций из-за границы. Устно руководители Союза писателей говорят западным коллегам, что имярек процветает (одна легенда) и что он вообще не существует, что это ошибка.

На деле 10 лет – как Союз писателей воссоздал давно, казалось, похороненный образ лишенца, включив одного в черные списки.

И – 10 лет мне не дают выехать.

Причины, по которым 10 лет не выпускают? Они меняются. Вот примеры официальных ответов: «Есть соображения»; «По причине плохой погоды» (видимо, международной?); «Сами должны понимать, почему».

10 лет Отдел виз требует документы с места работы, а это Союз писателей. Секретарь Союза писателей Владимир Карпов на заседании Верховного Совета заявляет: «Писателя нельзя назначить, так же как нельзя снять его с работы» («Известия», 19 ноября 1986). А вам говорит, что вы исключены. Вы в Отдел виз, а там слышите, что не выпускают тех, «кого держит место работы», то есть опять Союз писателей. Может быть, решает КГБ, который во времена, теперь осуждаемые за отсутствие гласности, предупреждал меня о последствиях публикаций на Западе? Что имелось в виду: проза? рассказ об очереди в Отделе виз, той самой, в которой я и по сей день? или, скажем, телеграмма, поздравлявшая академика Сахарова с днем рождения?

Итак, 10 лет – лишенец в Союзе писателей, отказник в ОВИРе и писатель, готовый для психушки или лагеря в КГБ, – не слишком ли много почетных должностей?

Союз писателей давно стремился наладить отношения с международным ПЕН-КЛУБОМ, вступить в него коллективно. Но именно факты вроде данного, отношение к писателю, который давно избран в члены ПЕН-КЛУБА, являются препятствием к нормализации отношений. 10 лет мне не дают ни работать, ни выехать. В дело втягивается все больше наших коллег в разных странах, издатели, литературные организации. Главы государств передают просьбы выпустить такого-

то, отрывая время от глобальных дел. Кто же превращает выезд писателя в политику?

Почему я обращаюсь к вам? Часто читаю выступления членов Союза писателей, в которых говорится о необходимости узнать правду о прошлом, о жертвах советской литературы. Согласен, это важно. Приди Союз писателей на помощь Мандельштаму, Бабелю, Булгакову, Цветаевой, Зощенко, Платонову, писателям ни за что расстрелянным в 52-м, множеству других, тех, от кого не осталось даже могил... Увы, историю не отмоешь, но неужели никакие уроки из нее не извлекаем?

Настал предел. Гласность приходит, не так ли? Хочу, чтобы вы знали, что происходит у вас за спиной. Ведь если делается при вашем неведении, то – от вашего имени. Если произвол – не застрахован никто.

Среди членов нашего Союза писателей нет ни Золя, ни Короленко. Одни и те же холодные административные руки поднимают сейчас из могил мертвых, торжественно вписывая их обратно в Союз писателей, и закапывают в землю живого, потихоньку выскребая его имя. Что же мне делать, если я еще не умер, но книги мои уже похоронены Союзом писателей?

17 мая 1987, Москва.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

— Считаете ли вы возможным, что в СССР в обозримое время возникнет многопартийная система по западному образцу? Если да, то появление каких основных партий Вы предвидите? Оттеснят ли они на второй план коммунистическую партию?

– Я не политик и согласен с Набоковым, который говорил, что его устраивает любая система, лишь бы портреты вождей не превышали размеров почтовой марки. Набоков видел однопартийную систему издали, а мы – ее жертвы, хотя и выбрались из нее. Принцип однопартийности сразу, начиная с Ленина, оказался синонимом беспринципности. Партия в тупике. Но ее беспринципность есть приемлемая основа для чего угодно – от военной диктатуры до плюрализма. Поначалу, конечно, в афроазиатском, то есть политически малокультурном варианте. Мне кажется, партий будет много, больше, чем до революции в России и больше разумного предела. Говорильня как самоцель вполне в традициях нашей родины.

Политикам – серьезным и аферистам – стало сейчас хорошо, но еды не прибавляется. Влиятельными могут стать только партии, способствующие оздоровлению, то есть подъему фермера (кулака) и предпринимателя (купца, капиталиста). Я все еще верю в здравый смысл лучшей части российского общества. КПСС уже разваливается. Предложил бы лозунг: «Бегом из партии!» – для обретающих порядочность лю-

дей. Такие, несомненно, есть, и частью они войдут в другие партии.

— Допускаете ли вы возникновение авторитарного режима?

— Дряхлые лидеры Политбюро были по-своему правы, не допуская в свои ряды никого помоложе. Забрался один и, похоронив старцев, пытается стать Александром Вторым или Столыпиным. Какие бы мотивы Горбачевым не двигали (искренность, честолюбие, безвыходность), он сделал историческое добро. Нельзя, однако, сесть на два стула одним копчиком: сменить систему и сохранить власть. Промежуточное решение, как мы видели, нашел Пиночет в Чили. Горбачев уже доказал, что он человек гибкий: надо будет – спустит партбилет в унитаз. Возможен и тяжкий транзит к демократии через авторитарное правление. Эдакий советский царь в окружении бояр-академиков. Стремясь противостоять хаосу, азиатчине, и обещая полную демократию в светлом будущем, он будет вымогать деньги у Запада.

— Как скажется многопартийная система на экономическом положении страны?

— Сразу никак. Это в марксизме политика напрямую связана с экономикой. Догмы въелись глубоко в практику и сделали ее порочной. Горький, пока не вошел в сделку с чертями, говорил, что России нужно триста лет демократического развития. Может, теперь быстрее.

— Предвидите ли вы в ближайшее время распад Советского Союза?

— Распад фактически происходит, только не закреплен бумагами. Вопрос в другом: до какого предела он будет продолжаться? Декабристы мечтали о Соединенных Штатах России, но нынче эти штаты хотят быть разъединенными. Дальневосточная республика, Сибирское ханство, Уральские эмираты, кто следующий? Если серьезно, я бы сказал: географически идеальный параметр – историческая Московия.

— Усматриваете ли Вы опасность гражданской войны или бунта в СССР?

— Опасность взрыва есть. Вспышки на окраинах торопят разделение. Но в стране, где Павлик Морозов недавно был проверен и оставлен героем, достаточно осведомителей для

контроля за ситуацией. Центральные власти не всегда принимают меры, но не потому, что слабы. Вспышки насилия, беспорядки выгодны для угрозы: нужна твердая рука, а то мы не отвечаем за ваших детей!

— Усилилась ли после последнего Пленума ЦК КПСС угроза прихода к власти русской националистической партии? Существует ли реальная опасность еврейских погромов или слухи о них — результат паники среди еврейского населения?

— За пленумами ЦК КПСС я не слежу с тех пор, как в 1953 году сдал в институте экзамен по истории партии. Хотя с трибун чего только не несут, важные вопросы до сей поры решаются в кулуарах. Русские националисты давно захватили бы власть, но дальше что? Распад им не остановить. Внутренние проблемы русской нации они решить не способны. Запад возмутится, последуют санкции. Да и есть ли чисто русская нация в перепутанных с татаро-монгольских времен кровях? Хочу думать, что пар их уходит в свисток, в том числе и у фашиствующей части, которой манипулирует КГБ. Опасность погромов — составная часть вопроса. Летом 88-го я подписал коллективное письмо Горбачеву, что ему не отмыться, если что-то произойдет. Запад и интеллигенция в Советском Союзе должны бить в набат, чтобы слухами дело и кончилось.

— Ваш прогноз относительно эмиграции?

— Бывший отказник с десятилетним стажем, я знаю, что эмиграционные прогнозы хуже погодных. За те годы я помог выехать примерно тремстам семьям. А сейчас помочь не могу. Америка может, но не хочет. Израиль хочет, но не может. И все (не только евреи) хотят бежать из чернобыледышащей страны. Реальность в том, что на данном этапе осуществление прав человека упирается не в злую волю, а в деньги. Политические причины стали более относительными. Оттуда, где жизнь сносная, не бегут. Считаю, что именно советское государство, если оно хочет считать себя цивилизованным мировым партнером, обязано выплачивать отъезжающим законную компенсацию за труд и имущество для начала новой жизни.

1990, Нью-Йорк.

КУПЛЮ ПАМЯТНИК ПАВЛИКУ МОРОЗОВУ

Письмо Раисе Горбачевой

Уважаемая Раиса Максимовна, доходят до моей Калифорнийской глубинки вести, которые я принимаю со смешанными чувствами. В Москве разгневанная публика, покончив с Дзержинским и Свердловым и осекшаяся на бронзовом Ленине (не говоря уж о почти натуральном, лежащем в Мавзолее), устремилась в парк имени Павлика Морозова на Красной Пресне и скинула монумент мальчику-герою работы замечательного советского скульптора Иосифа Рабиновича.

Павлик Морозов – мой, как и Ваш, любимый герой. Восемь лет я пел о нем песню на слова выдающегося поэта-коммуниста Сергея Михалкова; музыку написал венгерский композитор, и тоже коммунист Ференц Сабо, нашедший убежище в Москве.

Памятник поставлен в Москве в 1947 году по личному указанию товарища Сталина на средства, собранные писателями. Максим Горький лично дал 500 рублей старыми деньгами (не знаю, много это или мало по нынешнему курсу), раскошались и другие писатели.

Я много настрадался за свою любовь к Павлику Морозову. Его сверстники, занявшие в мое время окопы на Лубянке, уговаривали многих из нас поступать, как Павлик, а мне грозили психушкой и лагерем.

Когда книга моя «Вознесение Павлика Морозова» была опубликована в Лондоне, по стране прошла массовая кампания, в которой меня шельмовали за оскорбление чести героя-пионера. А я, наоборот, говорил, что преступники – те дяди, которые сделали ребенка доносчиком. И дядям это не нравилось.

Получилось, что книга была опубликована в переводах вокруг Советского Союза, а внутри проворные журналисты стригли из нее куски, выдавая за свои, и перевирали факты. Разные печатные органы предлагали мне издать книгу, но потом отказывались, говорили, что не разрешают или не хотят портить отношений «сами знаете, с кем». Одна редакторша из издательства «Московский рабочий» просила меня вырезать из книги все, что говорится плохого о Ленине, а также фотографию лагеря (не пионерского) неподалеку от национального заповедника имени Павлика Морозова на его родине в Герасимовке. Но и при этих условиях дальше пожелания не двинулось.

И вдруг – журнал «Семья» Всесоюзного культурного фонда имени Ленина (или уже не Ленина?), где Вы – председатель, напечатал главу из книги – сенсационное разоблачение героя-пионера. Это-то и дало мне право считать, что Вы любите Павлика Морозова также, как и я. Правда, хотя там было объявлено, что будет печататься вся книга, дальше одной главы дело не пошло.

Газета «Московский комсомолец» опубликовала сообщение, что памятник Павлику снесли, а потом письмо читателя, что он по-прежнему стоит на своем месте. Так как же: снесли или не снесли? Призываю Ваш Всесоюзный культурный фонд вмешаться, чтобы сохранить эту историческую реликвию. Если же ей не найдется места, то я готов купить монумент.

Мои американские студенты изучают биографию Морозова и поют песню о нем. Они знают, что в Советском Союзе героев-доносчиков достаточно много. В Америке доносчики тоже есть, конечно, но вот героев среди них пока не обнаружено.

Я бы поставил бронзового героя у себя во дворе в Калифорнии или, что лучше, подарил бы Гуверовскому институту войны, мира и революции, находящемуся неподалеку от меня в Станфорде, где выступал Ваш супруг-президент. Там стоит

Роденовский памятник Мыслителю. Я подумал, что памятник Доносчику – единственный в мире – вполне достоин стоять где-нибудь сбоку как альтернатива.

30 ноября 1991, Дейвис.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

— Публиковались ли до эмиграции? Какие произведения, опубликованные в России, Вы считаете наиболее важными?

– До эмиграции вышли две книги прозы и две книги публицистики (педагогические эссе). Проза – книга рассказов «Что такое не везет» (Москва, Молодая Гвардия, 1971) – единственная не очень искореженная, уж не знаю, как вышла. Но и тут в последний момент цензоры отрубили конец. Роман «Подожди до шестнадцати» вышел, – не хватило духу запретить. Текст был сокращен наполовину и изменено название (слова из Библии «Из сих птиц одну в жертву»). А уж обе книги эссе: «Спрашивайте, мальчики» и «Скучать запрещается!» – редакторы курочили, как могли. Поэтому фактически вынужден публично отказаться от всего, что было напечатано до эмиграции. Сейчас восстанавливаю подлинные тексты и издаю. Так, только что вышел в «чистой» редакции в Москве мой юмористический роман для детей «Каникулы по-человечески», который был сперва кастрирован, а потом запрещен в семьедесят каком-то году в издательстве «Советская Россия».

— Когда приехали на Запад?

– В 1987 году. Но печатаюсь на Западе с семидесятых. Казалось бы, персонально появился на литературной ярмарке здесь поздновато (десять лет провел в отказе). Время отказа было временем напряженной скрытной работы при поддержке друзей и печатных изданий на Западе. Год существовал

подпольный литературный театр, где я сам был и автором, и исполнителем. Работала подпольная Литературная мастерская, которую посещали и лояльные писатели (чем они теперь гордятся). Под чужими именами и с чужими документами удавалось пробираться в архивы и доставать уникальные материалы, над которыми и сейчас продолжаю работать, время от времени выдавая что-то на-гора.

— Привезли ли с собой рукописи, которые не могли быть напечатанными там?

— Были закончены в Москве несколько рукописей, переправленных на Запад. Переправленные (не вывезенные, конечно) рукописи опубликованы: роман-хроника «Ангелы на кончике иглы» о московских журналистах (Нью-Йорк, 1989), «Вознесение Павлика Морозова» (Лондон, 1988), «Микророманы» (частично написаны уже в эмиграции – Нью-Йорк, 1991), «Узник России» – своего рода роман-исследование, первая в истории пушкинистики книга о стремлении Пушкина выбраться на Запад (Коннектикут, 1992). Абсолютно невозможно и думать было о публикации этого в Советском Союзе. Смысл эмиграции для меня: увидеть свои рукописи, годами собиравшиеся в столе, напечатанными при жизни. Это происходит сейчас более-менее планомерно.

— Публикуетесь ли в американской и эмигрантской периодике?

— Публикуюсь, пожалуй, во всех эмигрантских русских изданиях: главы из выходящих книг, эссе, статьи, даже стихи. В американских газетах печатаются больше интервью или отклики на мои публикации по конкретным поводам, чем мои статьи.

Дело в том, что прожив пять лет на Западе и будучи в состоянии писать на двух языках, я сейчас возвращаюсь к одному русскому, хотя лекции по русской литературе читаю на английском. Трудно объяснить, но мне жаль тратить время на писание прозы на английском, который я чувствую значительно хуже. Даже статьи для моей любимой газеты «Вашингтон пост» перестал писать. Итак, внутренний возврат к русскому языку.

— Есть ли рукописи, которые не удастся пока опубликовать? Почему?

– Что не удалось напечатать? Все, профессионально сделанное, идет сразу. Если оно не отвечает вкусу данного печатного органа, считаю это нормальным и отдаю в другое место, только и всего. Впрочем, за пять лет был случай. Я написал небольшой рассказ «Совиньон» – исповедь русского солдата-пограничника – без знаков препинания и модернизированно-неграмотным языком. Все долго и стеснительно отказывали. В Америке отважился журнал «Вестник», но из него сразу же перепечатала «Литературная газета» в Москве.

— Удастся ли существовать на литературные заработки? Совмещаете ли литературную работу со службой?

– Трудный для меня вопрос и совершенно не важный для читателей. Дело в том, что будучи профессиональным литератором в Москве, я жил на гонорары. Но то, что я бы хотел опубликовать там, нельзя было даже показать в редакциях. Так что родина приучила писать профессионально, но для души, «не требуя наград за подвиг», как выразился Пушкин.

Кстати, сам наш великий учитель был при жизни опубликован на одну треть, о чем мало кто знает, однако же писал до пули в живот. А содержание получал из казны или от имения. По статусу университета, в котором я нашел приют, профессор получает за лекции половину своей годовой зарплаты, а другая половина платится за исследования и творческую деятельность. При этом гарантируется академическая свобода, то есть никто не имеет права мне советовать, будь он хоть канцлер университета, о чем и как мне писать. Раз в два года я должен лишь представить список опубликованного. Издатели в русских изданиях платят, сколько могут, я понимаю их трудности.

Словом, пишу я добровольно, работаю каторжно, много раз переделываю каждую вещь, и затраты труда в любом случае не эквивалентны получаемым гонорарам, ибо я не американский писатель, сочиняющий ходовое чтиво. А в целом судите: живу я на литературные заработки или нет?

— Получали ли американские гранты или другие формы помощи в поддержку литературного труда?

– Получаю периодически прямые и косвенные. Прямые: гранты на работу в архивах в Москве или других городах

(надо поехать на месяц); деньги на поездку на конференцию, где я прочитаю коллегам главу из книги. Косвенные: гранты на покупку нового компьютера, лазерного принтера и программ.

— Печтаетесь ли ныне в России? Что там вами опубликовано?

— До попытки переворота в августе 91-года были предложения переиздать западные книги, даже договора с издателями в разных городах Советского Союза заключались, но не напечатали ни строки. Видимо, тотальный контроль еще имел место, и я содержался у них в черных списках пятнадцать лет, дольше многих других, — уж не знаю, за что власти меня так не взлюбили.

Зато после 91-го вскоре опубликовали роман «Ангелы на кончике иглы» в Москве, собираются издавать в Риге. Вышла в Москве, как я уже сказал, книга для детей, на днях выходит «Узник России» — книга о малоизвестном Пушкине. И еще две книги на горизонте. Ну, и периодика стрижет наши американские издания. Правда, там, в периодике, в отличие от издательств, по-прежнему корежат и режут, меняют заглавия по своему вкусу, оригинально понимая свободу творчества. Видимо, не вымерли монстры-редакторы, все рассматривающие как полуфабрикат для своих полуграмотных упражнений на трудах писателя. Поэтому пока моя установка для себя такова: ни строки туда, не опубликованной сперва здесь.

— Собираетесь ли впредь заниматься литературным делом?

— Пока жив, несомненно, и после — тоже наверняка. Один из моих учителей Константин Паустовский говаривал, что добровольной отсеив из нашего ремесла редкий: нет другой профессии на земле, столь захватывающей воображение.

— Как бы вы оценили жизнь русского литератора на Западе?

— Оценивать не берусь, слишком много разных судеб, а также талантливых и бездарных пишущих людей собралось в Америке. Лично я не нуждаюсь в толкучке типа цедеэльской, а с близкими по духу людьми постоянно связан, хотя живу на

другом побережье. Жить в России не хотел тогда, не хочу и теперь. В сущности, как русский писатель я состоялся только на Западе, то есть в независимой системе. Взгляд, что русский писатель в эмиграции отрывается от людей, языка и чего-то там еще, я называю овировским мышлением.

1992, Нью-Йорк.

ЗАМЕТКИ



Дружников. Шарж художника М.Беломлинского (США).

ЗАПИСКИ НА КЛОЧКАХ

Сколько я себя помню, моим любимым занятием было резать бумагу на мелкие кусочки и эти клочки рассовывать по ящикам письменного стола, сумкам, портфелям и просто по карманам. Карандаши я тоже резал на короткие огрызки, затачивал и прятал во все карманы, чтобы не искать, если понадобятся.

На клочках я записывал огрызками карандашей все, что казалось мне интересным: события, байки, сплетни, цитаты, мысли свои и мысли чужие. Это строительный материал для писания: сырье, заготовки, полуфабрикаты, дневниковые записи. Но на клочках оказывались и важные вещи: сюжеты, замыслы, планы. Часть этого бумажного богатства вошла в мои книги. Но многое остается неиспользованным.

Я не раз пытался систематизировать эти заметки, но они расплзались. Хаос считал себя хозяином и не хотел подчиняться моей логике. Потом я решил, что бессистемность этих клочков и есть их система, и самое лучшее – отдать их читателю в том беспорядке, как они складывались годами.

•

Слишком толстая книга – как слишком широкий автомобиль. Даже если она очень хорошая. Ведь автомобиль не может быть шире улицы. Но можно сделать широкий автомобиль в одном экземпляре и поставить во дворе.

•

Завет древних писателей «Ни дня без строчки» – в общем-то есть поощрение графоманства. Ни дня без наблюдения, ни дня без мысли, может быть?

•

Андре Моруа цитирует Бальзака: «Недостаточно просто быть человеком, надо быть системой».

•

Сатира, это еще Новиков подметил, имеет свою отрицательную сторону. Она ожесточает нравы, способствует обидам, озлоблению и пр.

•

Василий Катанян рассказал, как в школу пригласили выступать Маяковского. Он стоял в коридоре с маленькой толстой женщиной. Подбежала девочка, спросила:

– Кто здесь Горький?

Маяковский обиделся и указал пальцем на толстую соседку:

– Вот она!

•

Я родился в голодный 33-й год. Сталин был в разгаре, Гитлер пришел к власти. Наши жизни пересекали 37-й, война, послевоенный голод, все время террор, лишения и страх. Удивительно, что мы не сошли с ума и все еще вроде бы живы.

•

Обед по случаю моего приема в Союз писателей. Нелли Кальма: «Погодите, он поиграл с детьми и уйдет во взрослую литературу». Лев Кассиль: «Кончено, он взрослый писатель». Исай Рахтанов: «Вошел в литературу в шляпе, больших башмаках, при галстукe и в коротких штанишках».

•

Писать должен человек, которому есть что сказать. Так считалось раньше. В советское время успешнее пишут люди, которым что-то сказали наверху.

•

Писатель сродни энтомологу: его интересуеет наличие всех видов насекомых в данной местности.

•

Всегда будут существовать фанатики. Чувство меры служит условием спасения человека.

Самое трудное для новеллиста – уметь не сказать о чем-то.

Как ни странно, только свободная проза, описание поступков, чувств и мыслей приучает писать точно. Документальные статьи и эссе расплывчаты, слова произвольны, мысли хаотичны.

Начинается с мелочи, чепухи. Деталь тянет остальное. Однажды записал, вспомнив, что во время войны в лавках продавали без карточек только один предмет: американские стельки для ботинок. Несколько лет спустя стельки пригодились для героя, появилась семья, проблема и – рассказ «Всем мужчинам мужчина».

Кто-то: «Писателю мало, чтобы его хвалили. Ему еще надо, чтобы ругали других».

Мэтры не любят помогать молодым писателям. Они любят давать советы. Например, как бы они написали то, что у вас уже написано.

«В детских воспоминаниях нет последовательности. Что было раньше, что позже, не все ли равно? Это было». (Илья Толстой. Мои воспоминания.)

В декабре 1974-го на станции Голицыно стоял в очереди за билетом на электричку с Григорием Мирошниченко, комсомольским работником двадцатых годов. Человек недобрый, сталинец, не любит молодежь. Он рассказывал, как служил главным редактором журнала «Литературный современник», позже переименованного в «Неву». Алексей Каплер принес Мирошниченко сценарий фильма «Ленин в 18-м году». Редактор решил его печатать, но Щербаков, тогдашний секретарь Ленинградского обкома, запретил. Мирошниченко по молодой смелости написал письмо Сталину. Сталин прочитал сценарий и исправил в нем одно слово. Во фразе «Ленин будет жить сто лет» заменил слово «сто» на «тысячу». Сценарий был напечатан.

•

Нам десятилетиями твердили, что литература – это типические характеры в типических обстоятельствах. На деле все же работают три других варианта: исключительные характеры в исключительных обстоятельствах, обыкновенные характеры в исключительных обстоятельствах и исключительные характеры в обычных обстоятельствах. А тот, затверженный вариант – скука, нелитература вообще.

•

Брежнев приезжал в Кисловодск на дачу, которую для него построили, один раз: она ему не понравилась. Тогда же он пошел по городу. В магазины все завезли, но к нему обратилась старуха, которую не успели оттащить в сторону, дескать, почему с продуктами совсем плохо. Он ответил, что не знает, почему, он этим не занимается и отвечает за другие дела.

•

Машинистка печатала так, что клавиши дымились.

•

– Наше государство все же о людях печется, – сказала она. – ЗАГСы вместе со свидетельством о рождении или смерти выдают талоны на продукты. Но надо попросить. Они сами не напоминают, зажуливают.

•

Паустовский жаловался:

– У меня скопились сотни интереснейших цитат из великих людей. Но когда пишешь, все это не ложится.

•

«Иногда несчастные бывают очень счастливыми», – заметил Осип Мандельштам. Видимо, он имел в виду взгляд со стороны.

•

Проза должна была быть как женщина: на первом месте изящество. Нельзя чего-то, например, матерщины или сидеть, расставив коленки. Сдержанность и внутреннее чувство. Потом стало все можно.

•

Шаляпина пригласили петь в Италию, и кто-то про такое невероятное событие сказал:

– Да ведь это все равно, что в Россию стали бы ввозить пшеницу!

•
Недостатки талантов – их самые главные достоинства.

•
Трудность жизни читателя в том, что очень много пишут.

•
Смысл прозы (а может, и всего искусства): прочитав вещь, я спрашиваю себя, а стал ли я хоть чуточку лучше понимать этот мир?

•
Грузин в магазине:

– А грузинский глобус у вас есть?

•
Начальник военной кафедры МГУ говорил:

– Это секретно, но скажу для узкого круга ограниченных людей.

•
Всю жизнь собирал газетные вырезки и скопил их великое множество. А теперь смотрю их с другой стороны. Там – все самое интересное, а то, что вырезал, не нужно.

•
– Литература, голубчик, не должна ничего объяснять. Дай Бог ей показать, что происходит. А уж объяснить – пускай читатель это делает, каждый в меру своей испорченности.

•
Много лет с детства я вел дневники. Но лет в тридцать как-то перечитал множество толстых тетрадей и понял, что ничего такого, что еще не было сказано, или такого, что я не мог бы написать теперь, в моих дневниках нет. Они были неинтересны, и я их утопил в Москва-реке. Еще через десять лет, уже замыслив уехать, когда дневники вести было просто опасно, я, тем не менее, понял, что совершил ошибку. Неинтересное из молодости интересно, возможно, именно своей банальностью. Впрочем, люди, которые не ведут дневников, тоже живут, сжигая прошлое. Век таков, что все писатели идут по трупам собственных книг.

•
Имя его новой жены друга вписывали в записные книжки рядом с его именем только карандашом.

•

Люди делятся на тех, кому все нравится, и на тех, кому все не нравится. А еще есть равнодушные. Но есть такие равнодушные, которым все не нравится. Вот эти самые скучные.

•

Никогда не поздно стать честным, даже после смерти. Только подготовиться к этому надо при жизни.

•

Феллини: «Вторую половину нашей жизни мы проводим, занимаясь тем, что зачеркиваем табу: исправляем вред, который нанесло воспитание в первой половине жизни».

•

Есть сочинения, в которых единственное интересное – цитаты, которые автор нашел у других.

•

Достоевский говорил, что любое пятнышко на одежде отвлекает его от писания. И пока не сочистит, он смотрит на эту точку.

•

Ничто человеческое гениям не чуждо. «Желудок просвещенного человека, – говорил Пушкин, – имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».

•

Чичиков у Гоголя: «В натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума». Но это, конечно, сам Гоголь философствует, играя с нами в кошки-мышки.

•

Он не закончил оперную студию в Одессе – забрали на Гражданскую. Руки не были приспособлены держать винтовку. К тому же боялся, что его сделают запевалой и он сорвет свой драматический тенор. Поэтому в строю никогда не пел. В 25-й стрелковой дивизии Восточного фронта его поставили охранять фураж для лошадей и выдавать по норме, ведрами, потому что комиссару дивизии Фурманову он показался на вид единственным честным.

Солдаты не любили командира этой дивизии Чапаева за то, что комдив приносил их в жертву своему честолюбию, а проще говоря, гнал на смерть, чтобы заслужить похвалу от начальства. Выбрав удобный случай, когда пришлось отсту-

пать и Чапаев плыл через реку, красноармейцы своего командира сзади пристрелили. Тенор сам это видел, ибо плыл через холодную реку с другими. Сам он от переохлаждения или от нервов голос потерял навсегда. После стал фотографом.

•

Честертон: «Великие писатели не отдали должного нашим модным поветриям не потому, что до них не додумались, а потому, что додумались до них и до всех ответов на них».

•

Виктор Шкловский любил приводить слова Сергея Эйзенштейна о том, что в жизни правда существует всегда, но вот жизни обычно не хватает.

•

Жизнь состоит из четырех частей: потребление (есть, пить, читать), отдача (писать), движение (ходить) и отсечение (отказ от ненужного).

•

Читаешь, как классики входили в литературу: в самые мрачные времена то был рай. Мы входили на четвереньках, а кто и ползком.

•

«Что такое наука? – любил повторять академик-ядерщик Арцимович. – Это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет». Я слышал это от него в конце пятидесятых. Результатом этого любопытства были более сильные атомные бомбы.

•

Часть моих критиков утверждает, что я пишу слишком кратко, часть – что слишком длинно. И те, и другие советы мне очень помогают в литературной работе.

•

Говорят, детский писатель второй раз проживает детство, которого у него не было, и в результате получают детские книги. Можно прожить детство второй, даже третий раз, но нельзя всю жизнь оставаться ребенком. И, соответственно, детским писателем. Не случайно оба Толстых – Лев и Алексей – описав свои детства, с детской литературой покончили. Чуковский стал литературоведом. А Кассиль остался, но ничего стоящего после «Кондуита и Швамбрании» не написал.

•
Марк Твен: «Нерегулярному образу жизни я следовал с неуклонной регулярностью».

-
- Ваше заветное желание?
- Открыть толстый журнал.
- А если это не удастся?
- Притон.
-

Лев Кассиль: «В Союз писателей или принимают ни за что, или ни за что не принимают».

•
Чтобы расписаться, надо преодолеть некий звуковой барьер.

•
В январе 1972 года меня по-царски принимали в каком-то дворце культуры в Пензе. Молодая заведующая областным отделом культуры взошла на трибуну и сказала:

– У нас в Пензе бывали Пушкин, Белинский, Лермонтов и Маяковский, который здесь влюбился в дочь архитектора Яковлева. А теперь у нас Дружников, который пока здесь ни в кого не влюбился.

•
Оскар Уайльд: «Надо быть всегда чуть-чуть неправдоподобным».

•
В искусстве, в отличие от геометрии, часто кривая линия – более короткое расстояние между двумя точками.

•
Искусство предположительно исторгает вас из суеты и переносит в мир вечности. Поэтому торопливым оно быть не должно. «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». Что касается журналистики, суть ее – суета.

•
Лев Толстой о Мопассане: «Он дожил до того трагического момента жизни, когда начиналась борьба между ложью, которая его окружала, и истиной, которую он начинал сознавать».

-
- Ваше хобби?
- Зарабатывать деньги.

– Это как?

– Поскольку литература не кормит, я трачу свободное время, чтобы прокормить семью.

•

Писатель придумывает имя, но оно прирастает органически. Попробуйте принять роман «Евгений Ленский» с героем Владимиром Онегиным. Сделайте Наташу Ростову Мышкиной, а князя Болконского Карамазовым. Трудно дать подходящее имя герою, но уж если дано...

•

Мы живем в *сдвинутый* век. Узнаём, что происходило в собственной стране десять, тридцать, а то и семьдесят лет спустя. Не слишком ли дорогая цена для целого народа – жить архивным умом?

•

Стиль могучей советской пропаганды (газета «Правда»): «Сальвадорский диктатор сидит в бункере и оттягивает свой конец».

•

– Из чего состоит КПСС?

– Из глухих согласных.

•

Писатель обвиняет историю или время, в которое он живет. Защищать историю и время – дело политиков и военных. Получается, в некотором смысле литература – это прокуратура.

•

Ответственность учителя. В пятом классе учительница литературы Мария Александровна Шлыкова нам говорила:

– Обратите внимание, как Толстой описывает глаза. Глаза в портрете очень важны. Они – зеркало души. В глазах истина.

С тех пор, описывая человека, не забываю о глазах. Но теперь это все чаще лишнее. Глаза бегают, они лгут не хуже, чем уста.

•

Эпитафия на могильном камне: «Здесь обосновался человек, который всю жизнь старался избежать случайностей, но случайно не избежал смерти».

•

Отличие литературы от журналистики. Литература – это то, где сказано больше, чем написано. А журналистика – наоборот.

•

Съезд советских писателей (1970 год). В связи с тем, что с питанием стало плохо, на съезде вместо традиционных продуктовых спецзаказов писателям будут выдавать импортные подтяжки.

•

Уходя от друзей, как вспоминал В.Лифшиц, Зощенко сказал: «Знаете, Володя, я иногда думаю: я ведь ничем не могу быть вам полезен, почему же вы ко мне так относитесь? И вдруг понял: вы меня просто любите. Перехитрили вы меня. Перехитрили...»

•

Честертон: «Классик – тот, кого хвалят, не читая».

•

Рефлекс на автора. Должны пройти годы, пока новый оригинальный писатель приучит к себе редакторов и читателей. Чем талантливей – тем дольше приручение. Но есть риск, что редакторы и читатели быстрее приручат автора, чем он их, и тогда прощай его оригинальность.

•

– Я хочу быть самым главным, как Сталин, – сказал мальчик с легким грузинским акцентом, сын наших знакомых.

Это было в 46-м году, нам было по тринадцать. Первый раз в жизни я столкнулся с таким честолюбием. Мальчик тот вскоре случайно утонул. А то бы...

•

Название мемуаров: «Автобиография фантазера».

•

Хороший рассказ, как аквариум. В нем все видно насквозь, и все же есть тайна. Хочется смотреть и смотреть.

•

«Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним... Крепи у мира на горле пролетариата пальцы». Это «Левый марш» Маяковского. Сколько энтузиазма при воспевании террора, который рифмуется со словом «Аврора».

•

В моей рукописи была фраза: «Обыкновенные дворняжки – тоже люди». Редакторша исправила: «Обыкновенные дворняжки тоже имеют большое значение».

•

Ответственность фразы по отношению к целому.

•

Писатель и журналистика – тема нераскрытая. Кто остается журналистом в литературе, а кто писатель в журналистике.

•

Московская школа, в которой я учился, носила имя наркома Ворошилова. Сам Климент Ефремович, высеченный из камня, стоял перед школой на облупившемся постаменте. Нос у него был отбит. Каждый год в школе торжественно отмечали не наши дни рождения, и не учителей, а наркома обороны. К этому приурочивали день встречи со старыми выпускниками. Величественно зачитывали телеграмму приветствия вождю товарищу Ворошилову, каждый год одну и ту же. За все годы ни сам он, ни его помощники ни разу не ответили. Так он и остался в моей памяти – немой безносой мумией, которой посылали приветственные телеграммы.

•

Бергман: «В наше время пишущий художник вынужден ходить по канату без спасательной сетки».

•

Переход из детства в мир взрослых. Тут-то все и начинается: приспособление, ложь, обман, хитрости игры. Это все взрослые называют мудростью.

•

Способы взятия материала, учитывая, что люди боятся говорить.

Первый. Надо смотреть человеку в глаза. Пишешь в блокноте, не глядя, как попало. Журналисту надо учиться писать, не глядя. Говоришь с человеком, а сам будто рисуешь механически что попало.

Второй. Двойное интервью. Сначала пьешь со своим героем, и тот тебе рассказывает всё. Ты что-то запоминаешь. На другой день уже с блокнотом спрашиваешь: «А вот помнишь, ты мне вчера говорил?.. А это повтори...»

•

Как одолеть пропасть меж рукописью и книгой? Писатель в трудной стране за что ни возьмется, все непубликабельно. Приходится сделать и отложить до лучших времен. К сожалению, жизнь человека коротка относительно эпохи, и автор рискует не дожить до себя самого.

•

В 1970 году зимой Дом творчества писателей в Дубултах частично заполнили колхозники. Это была новая совместная инициатива Союза писателей и партийных органов. Газеты писали о большом успехе новой инициативы, о новых импульсах для творчества писателей и обогащении культуры колхозников.

В это время писатели возмущались, что по всему дому шум, песни под гармонь и пьянки, а колхозники жаловались, что писателей поселяют в комнаты по одному, а их впятером.

•

Сожженное большим писателем мы держим за гениальное, говорим: вот если бы... Но ведь это не обязательно так. Автор лучше знает, что сжигать.

•

Детство заканчивается, столкнувшись со взрослым разочарованием жизнью. Розовое становится черным, чистое грязным, романтика цинизмом. По экзистенциалистской философии – конфликт между абсолютным принципом личной морали и конкретными требованиями жизни. Кто сильнее: подростки или общество, в которое они попадают? Ответ ясен, их подгоняют под себя. Но завтра подростки сами станут этим обществом, которое нам не нравится. Порочный круг.

•

Знакомый сценарист: «Сумасшедший дом – это академия наук по сравнению с тем, что происходит у нас в кино».

•

Писатель – как женщина. Любопытство к нему, интерес, желание познакомиться поближе, сплетни вокруг. Увлечение, может даже, любовь. Пик. Усталость. Надоедает, уже не возбуждает. Хочется чего-то новенького. Развод.

•

Следствие соцреализма – скептический реализм, переходящий в пессимистический реализм.

•
Терпение – тонкий стакан, в который забыли положить ложку и льют кипяток.

•
Левша попал в автомобильную катастрофу и стал правой.

•
Горький: «Главное, не пишите рецензий для писателя. То, что вы хотите сказать писателю, передайте ему при встрече или позвоните ему по телефону. Пишите для читателя, привлекайте его к книге, объясняйте ему книгу».

•
Гиппократ: «Беспричинная усталость причиняет болезнь».

•
Писатель пишет не для всех, а для узкого круга. Такова природа литературы, а некоторые предаются иллюзиям всеохватности. Ничего нельзя сделать для всех – ни ботинок, ни политики, ни искусства, ни светлого будущего.

•
Чаще всего толчком для того, чтобы писать правду, бывает ложь.

•
В.Г.Короленко: «Смерть? Ну, так что же! Жизнь писателя должна быть также литературным произведением».

•
Свое русло копает экскаватором большой писатель с новой взрывоопасной темой. Но вокруг мириады меньших проблем, из которых составляется, которыми объясняется глобальное. Литература начинается и кончается «вокруг». О таком писателе говорят: «Он внимателен, как никто».

•
Писать – как рисовать многогранные фигуры в стереометрии. Человек многогранен: грань отвратительная, грань так себе, грань вдруг открывшейся порядочности. Показывать это, постепенно поворачивая многогранники новыми сторонами, чтобы читать было каждый раз неожиданно. У писателя должны быть фасетчатые глаза, как у пчелы. Разделять предмет на части и видеть каждой ячейкой отдельно.

•
И наступает момент, когда писателю с его выдуманскими героями становится встречаться интереснее, чем с живыми людьми.

•

Эпитафия. Он не был участником великих событий и не был знаком с великими людьми. Великие события обходили его стороной, а он обходил стороной великих.

•

Чтобы стать писателем в советской России, надо перестать печататься.

•

Дом в Чапаевском переулке, в который мы въехали по обмену, был построен сразу после войны пленными немцами. Слышимость потрясающая: дыхание соседки, будто она спит с тобой. С друзьями говорили только на кухне, включая громко музыку. А главное, оказалось, что в одной из комнат было две лишних двери, запертые на ключ. Предыдущие хозяева, меняясь с нами, завесили эти двери коврами, и мы их не заметили. Двери вели в две соседние квартиры.

В домоуправлении сказали, что двери сделаны на случай пожара, но ключей от них нет, а заделывать их категорически запрещено. После информированный сосед-грузин рассказал по пьянке, что двери сделаны на случай обысков или арестов, чтобы в любое время можно было незаметно войти в любую квартиру. Я нашел на соседней стройке двух рабочих; мы втроем завезли кирпич, цемент и заложили эти двери заподлицо со стеной. Пускай теперь въезжают из соседней квартиры на танке.

•

Михаил Пришвин (из дневника): «Довольно много написано... «полубеллетристики». Легче всего писать такие книги! Достаточно узнать кое-что о предмете, и это полужнание подать в соусе личного отношения, полуискусства».

•

Вдова Ивана Катаева Мария Кузьминична, вышедшая из лагеря, вспоминала, что жили они во Всехсвятском и ходили гулять на Братское кладбище (в мое время уже разоренное). В старый домик во Всехсвятском привезли сына, которого она родила в 1928-м. А сам Катаев хотел писать роман «Хамовники» и бродил там по переулкам.

•

Теперь часто пишут, что Валентин Катаев был злой человек. А может, просто ироничный?

– Вы фантастически популярны, – сказал он мне с неподдельной искренностью в голосе и хитростью в глазах, встретив на улице в Переделкине. – Кого бы ни перечисляли в газетах: членов правительства, писателей, артистов, лауреатов, героев, депутатов, – вы во всех этих списках.

Я все еще не понимал, и он торжественно объяснил:

– В конце всегда «и др.»

Он сделал эффектную паузу и объявил:

– «и Дррружников».

И пошел дальше месить мокрый снег, очень довольный своей шуткой.

Жена ростовского поэта Вениамина Жака Мария Семеновна рассуждала:

– Люди делятся на четыре категории: подлецы, подлецы, делающие также хорошее, люди, старающиеся не делать подлостей, а четвертая категория пока пуста.

«Еврей, – сказал он, – да ведь это у многих сейчас просто хобби».

Мандельштам о Пастернаке: «Набрал в рот Вселенную и молчит».

На реке Угре, под Калугой, повстречался тихий человек с сумкой. Встает в пять утра, идет в обход леса. Вынимает кротов, попавших в капканы. Ловит по 80–100 штук в день, шкурки обдирает на ходу, сдает их в заготовительную организацию по дешевке, но получает прилично. В десять вечера возвращается в деревню, ложится спать. И так всю жизнь.

Купил автомобиль, и с тех пор ему снится только один сон: автомобиль украли.

Уцененная комедия.

Директор театра тоже играл в спектаклях. Исключительно ответственных работников, секретарей обкомов, адмиралов, генералов.

Сереже четыре года. Он одноухий. Вместо другого уха – дырочка. С дырочкой в правой щеке. Говорит о себе гордо:

– Я результат пьяного зачатия.

Фамилия инженера была Рублик.

– Кому Рублик, а кому дырка от рублика, – говорила его невеста.

– За Рублика я и копейки не дам, – говорил его начальник.

– Пиши вместо «Р» «б», – советовали собутыльники.

– Я не б., – огрызнулся он.

И в ЗАГСе записал фамилию невесты. Теперь он Кобылицын. Совсем другой экстерьер.

Услышанное давным-давно: «Писать нужно стоя, а вычеркивать, сидя в удобном кресле».

Плакат по безопасности движения. Под умным лицом милиционера, стоящего на фоне машины скорой помощи, стихи:

Мечтая о чести и даже о славе,
Она позабыла об уличном праве,
Забыв, что простая неосторожность
Буквально отрежет такую возможность.

Для словаря труднопереводимых русских терминов:

Абортпроводник – гинеколог.

Башлевик – большевик, ставший дельцом.

Блудотека – публичный дом.

Виршмахер – поэт.

Плутотека – малина, воровской притон.

Трогательно – держась за.

Трубадур – дурак, трубящий об успехах.

Фистула – физкультура и спорт в Туле.

Эфирист – диктор на радио.

Юмористы вынуждены периодически отмежевываться от старых знакомых, которым они всё уже вышутили и всё осмеяли.

•

Хороший писатель отличается от других людей тем, что он умеет называть вещи своими именами.

•

Писатель о критике: он плохой критик, он высказывает свое мнение о моей книге. А хороший критик тот, кто высказывает об этой книге мое мнение.

•

Будущее они у нас не отберут. Они умрут, а будущее останется.

•

Прогрессивно ли то, что идет борьба за долголетие? Ведь старики дольше мешают молодым, прогресс замедляется. А что думают об этом старики?

•

Хозяйка: «Когда я готовлю завтрак, сначала у меня убегает молоко, потом какао, потом каша, потом все убегают из кухни – нечем дышать».

•

– Матерщина – это единственный язык, который партия не использовала для пропаганды.

– Использовала! Я использую. Все приказы сверху перевожу работягам для лучшего понимания.

•

Как узнают русских шпионов за границей? Женщина, когда садится, поправляет юбку. У мужчины хвостики шнурков не заправлены в туфли.

•

Мопассан – литератору Морису Вокеру: «Я думаю, нужно избегать неопределенного вдохновения. Искусство математично, великие эффекты достижимы простыми и хорошо скомбинированными средствами. Бюффон сказал: гений – это только долгое терпение. Думаю, что талант – это только упорное размышление, и дан он тому, у кого есть ум».

•

Терраса была закрыта ставнями, и снимать их хозяева дачи не разрешали. Радость была в щелях. Сквозь них проходил свежий воздух и солнечные лучи. Я старался писать, положив бумагу под зайчика.

•

Есть множество определений пессимиста и оптимиста. Вот еще одно: пессимист тот, кто считает, что он был счастлив вчера, а оптимист – сейчас.

•

Эффект неизвестного мне доктора Орлова: «Мы долго помним тех женщин, с которыми у нас что-то не получилось».

•

Он занимался своим делом, чтобы иметь деньги заниматься чужим.

•

Любит ходить на похороны и рассказывать анекдоты про покойного.

•

Дефект присутствия.

•

Компиляция – слово латинское, значит оно – воровство.

•

Человек, заявляющий: «Я один пить не люблю», – вовсе не коллективист, а алкоголик.

•

– Слушай, давай с тобой «на ты». Я человек компанейский, больше двух дней «на вы» не могу.

– А вы потерпите еще день – расстанемся.

•

Первым Домом творчества русских писателей была Петропавловская крепость. Декабристы, Писарев, Чернышевский, Достоевский и многие другие плодотворно работали в ее камерах.

•

В Иване Карамазове просвечиваются черты Белинского, которого Достоевский хорошо знал.

•

Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

Это Блок. Вот уж поистине зарок для нашего поколения.

•

Анекдоты записывать? Нет уж, пускай летают по воздуху!

Диалог:

– С «Новым миром» покончено. Куда теперь спускать пар?

В «Мурзилку»?

– Ни в коем случае! В журнал Общества глухонемых.

Семейная сцена в зрительном зале:

– Скажи, а то спектакль сорву!

Щегол и его жена щеголиха.

– В большие праздники я не верю, – сказала она, – и на них не веселюсь. Я верю в маленькие, которые как-то случайно устраиваются. Вот встреча с тобой – маленький праздник.

У него вкус заменен апломбом.

– А дальше?

– Дальше, как пишут настоящие писатели, кусты черемухи выдали им брачное свидетельство.

На семинаре молодых писателей:

– Почему все говорят, что я плохо пишу?

– Флобер и Достоевский были эпилептиками, Мопассан сифилитиком, Бетховен гидроцефалом. Твоя беда в том, что ты слишком здоров.

Люди делятся на деловых и обещающих. Обещающие – те, кто помнят, что вам обещали, но думают, что вы забыли про свою просьбу.

Уродился – от слова «урод». Пожилой – от слова «пожил».

В преферанс играл под псевдонимом.

– Испаряюсь, – сказала она зычным голосищем.

Шаман – это теперь психотерапевт.

•
Казахское поверье: верблюд, когда соврешь, обязательно посмотрит в глаза и покачает головой.

•
В мужчине важны два отношения: к труду и к женщине.

•
Есть люди с большим умственным развитием, есть с малым, а есть вообще без.

•
Зайдешь в театр – все счастливы, зайдешь в больницу – все больны.

•
Стефан Цвейг: «Итак, Бальзак теперь основательно берется за работу. Он извлекает из библиотек мемуары современников, он изучает отчеты о военных действиях и делает подробные выписки. Впервые обнаруживает он, что именно мелкие, неинформативные, но достоверные детали, а вовсе не размашистые мазки, которыми пользуются другие авторы, придают роману жизненное правдоподобие. Но без правды и правдоподобия не может быть искусства, и никогда образы не оживут, если они не показаны в связи с непосредственным своим окружением, с почвой, пейзажем, средой, если они не связаны специфическим воздухом эпохи».

•
Роман Франса «Восстание ангелов» – это гнездо, откуда вылетели многие современные фантасты. Сатана после восстания приходит к власти и провозглашает себя Богом. Он объявляет справедливое несправедливым, а истину – ложью. Это дало пищу Оруэллу и питает еще многих.

•
Генерал Игнатъев говорил:

– Телефон – ужасное изобретение. Кто хочет, врывается в ваш дом бесцеремонно, без дворцового. Говорит вам, что вздумает, может обругать, а вы даже перчатку ему не можете швырнуть.

•
Эстонский прозаик Энн Ветемаа в подпитии, в 1973-м:

– Когда я вижу радостного человека, мне это уже подозрительно. А грустный человек – норма.

•

Корней Чуковский сказал, что этой девочке никогда не будет больше четырнадцати лет. Я часто встречал ее то на улице, то в магазине, и однажды не выдержал:

– Не могу больше! Не здороваюсь с вами, а ведь знаю вас с детства, мальчиком видел в ЦДРИ.

– Замолчите! – строго произнесла она. – Я и так себя потеряла в этом... как его... во времени. Вы взрослый дядя, а я кто?

– Вы всегда девочка. Для всех.

– Да вы что! Поглядите, я давно уже старуха. Меня теперь просят документы предъявить, не верят, что я Рина Зеленая. А вы – «девочка, девочка»... Постыдились бы!

•

Жан Грива рассказывал:

– Когда я был секретарем парторганизации Союза писателей Латвийской ССР, меня вызвали в ЦК и просили последить за Фолманисом. Есть данные, что он, мол, говорит лишнее, не то, что следует, да и моральный облик коммуниста Фолманиса оставляет желать лучшего. Хорошо, говорю, постараюсь последить. А ведь неувязочка у них вышла. Фолманис – мое настоящее имя, Жан Грива – псевдоним.

•

Как я стал Гулливером. В мае 72-го я оказался в Караганде по командировке одного московского журнала. Жил в центральной гостинице, которую заполнили артисты приехавшего на гастроли цирка шапито, все они были лилипутами.

•

Сергей Антонов заметил, когда я стал жаловаться на что-то (1969):

– О чем говорить! Да чтобы просто быть порядочным человеком, надо иметь гражданское мужество.

•

Несколько лет «Новый мир» был журналом либерально мыслящей интеллигенции. Могли его прикрыть? Разумеется. Однако долгие годы КГБ было выгодно, что такой журнал существует. Легко было вести учет инакомыслия, тех, кто интересуется такого рода литературой. Подписчики, не говоря уж об авторах журнала, изучались, с наиболее активными «ве-

ли работу», то есть вербовали, беседовали, предупреждали. Полезность для властей такого, в общем-то лояльного журнала теперь забылась, и создается однобокая картина только героического противостояния.

Старый журналист и сиделец Григорий Литинский вспоминал, что его друг Виктор Кин говорил о сокращениях текста.

– Надо резать до живого мяса, пока не будет больно.

Кин был жесткий и квалифицированный редактор. Роман свой он так сократил, что оставшееся было меньше вычеркнутого. Именно Виктор Кин дописывал и переписывал полуграмотного Николая Островского, который работал на кухне вокзального ресторана, а после окончил Высшее начальное училище (только после революции могли такое название выдумать). В результате Островский занял чужое место в советской литературе. А Кина замучили в лагерях.

Евгений Замятин сказал, что пока над литературой будет висеть политическая дубинка, у нее будет одно будущее – ее прошлое. Но вот дубинки нет, а другого будущего не появилось. Впрочем, культура в России всегда жила и питалась за счет прошлого, а настоящее топтала.

Добрый человек и писатель Исай Рахтанов за обедом у нас рассказывал:

– Однажды Аркадий Гайдар, подвыпив, шел по улице и остановился возле какого-то посольства.

– Это что за дом?

– Проходите, гражданин!

– Что за дом, спрашиваю? Я не просто интересуюсь, я бомбу бросить хочу.

Забрали его сразу, думали совсем. Но в дело включились сильные люди. В результате, продержав Гайдара три дня, его выпустили.

За столом в Доме творчества писателей все ругали Горького. Один из присутствующих молчал. Наконец, он взорвался:

– Перестаньте! Как вы можете так о нем говорить?! Он мой первый рассказ напечатал!

Известная журналистка делилась со мной опытом (конец шестидесятых):

– Когда я еду писать очерк для «Известий» о герое труда, я никогда не задерживаюсь на месте больше трех дней. Если дольше – то увидишь и услышишь такое, что лучше совсем не писать.

О том же и тогда же другой известный публицист:

– Чем глубже я копаю факты и чем ближе к истине, тем меньше шансов это опубликовать. Я непрерывно занимаюсь щелеведением.

Рассказ инженера из «почтового ящика»:

– В курилке у нас был выступ в стене, какой-то строительный дефект, об него тушили окурки. Раз поздно вечером кто-то, уходя, заметил: пришел человек и стал чистить этот выступ и что-то там крутить. Вот когда дошло, что это микрофон. А чего только там не говорилось, пока курили в стороне от начальства!

Почему в России матерятся? Потому что каждую секунду возникает матовая ситуация. Или инфаркт, или выматериться. Мат – это, в сущности, матоотвод. Хамство везде как терапевтическое средство для одних, которое, однако, разрушает других.

Шлюшность нашей эпохи.

«Я не редактор. И всегда буду стараться вести праведную жизнь, чтобы Господь не сделал меня редактором» (Марк Твен).

«То выражение особенно хорошо, которое, с точностью передавая определенную мысль, вместе с тем дает вам чувствовать и отношение ее к другим мыслям, более или менее к ней близким или отдаленным, но которые не входят непосредственно в цепь излагаемых вами понятий» (А.В.Никитенко. Дневник).

Йома, по-латышски – граница между водой и берегом, несуществующая линия, вечно меняющаяся от прибоя. По-

русски подходящего слова нет. Кромка, край – неточно. Но точно то, что все мы идем по йоме.

•

«С появлением пианино возобновилась наша игра на рояле». (Анастасия Цветаева. Воспоминания. Изд. «Советский писатель», 1972, с.117.) При встрече в Коктебеле, между всяким прочим, более важным, я сказал ей об этом. Она в ответ:

– Такое пусть редакторы поправляют. Им за это деньги платят.

Не был уверен, что она поняла. А спустя месяц Анастасия Ивановна прислала мне в Москву открытку: не обнаружил ли я еще ошибок, для нее это очень важно.

•

Тост: «За нечаянную радость!»

•

Пушкин и Некрасов собирались стать военными, а страсть к картам была у них не слабее страсти к стихам. Чайковский учился на юриста, был ленив и всю жизнь боролся со своей ленью. Мария Конопницка вышла замуж за каменщика, родила шестерых детей. В 35 забрала детей и уехала в Варшаву. К 39 годам выпустила первую книжку стихов. Жила уроками, сама учила детей и... стала национальной поэтессой Польши.

•

Эразм Роттердамский говорит: во всем есть доза глупости. Суть сатирика – помочь нам увидеть ее.

•

Бальзак сказал: когда историк говорит, все верят, а писатель должен всё доказывать. И правда: если Гофман пишет, что женщина превратилась в куницу – все верят. А когда у Софронова говорится, что человек вошел в комнату, не верит никто.

•

О литературе он вещал как-то чересчур развязно, например: осталось раздвинуть рукописи ноги и оплодотворить ее. Впрочем, а чем лучше Джонатан Свифт? «Смех, – пишет он, – является самым безвредным из всех мочегонных».

•

Каков гонор, таков гонорар.

•

Из письма: «Твоей любовью я остался доволен, но не удовлетворен».

•

В Германии это занятие называется горизонтальным ремеслом.

•

Синклер сказал о гигантских мясокомбинатах: там используется все, кроме пороссячьего хрюканья. Так у писателя все должно использоваться из жизни для литературы. И даже хрюканье.

•

- Рассказ пишете? Первую фразу придумали?
 - Придумал.
 - Выкиньте! Начните сразу со второй.
-

Среди множества интеллигентных профессий в русской культурной традиции главных три: врач, учитель и писатель. Они лепят человека.

•

Старый писатель: «Начало пишется с конца».

•

Посадите своих героев в лодку и пустите в бурное море. Посмотрите, как они себя будут вести, даже если такой сцены у вас не будет.

•

Сколько написано о важности пейзажа. С пеленок знаем о важности портрета. Но с некоторых пор не могу читать рассказ, если в нем пейзажи и портреты.

•

Заголовок – это витрина вашей лавочки. В ней могут быть замечательные вещи, но если витрина засижена мухами, не хочется входить.

•

Бабель:

«Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два».

•

Если в нормальной стране о писателе судили по тому, что написано в его книгах, то в нашей стране – по тому, о чем он избегал писать.

•

Максим Горький (оставим без комментария): «Кстати, Христос, «сын божий» – единственный положительный тип, созданный церковной литературой, и на этом типе неудачного примирителя всех противоречий... показано... слабосилие церковной литературы» (Доклад на Первом съезде советских писателей).

•

Кровавые утописты.

•

По Спинозе, есть три радости: богатство, слава и чувственные удовольствия. Но есть, по-моему, еще одна радость: ощущение свободы. Например, для заключенного или для писателя, которому не дают быть самим собой.

•

Заходил своеобразный поэт Николай Глазков и декламировал:

Под небом жаворонок вьется,
Зеленая блестит трава,
А Эмма мне не отдается,
И в этом Эмма не права.
Вопрос возникнет поневоле:
Чему ее учили в школе?

•

Запрет на максимальные слова: гениально, эпохально, прекрасно, отвратительно, безобразно, чудовищно. Крайности оставлять на после, отодвигать как можно дальше.

•

Гёте о сути писательства: «Вы, люди, не можете ни о чем говорить, не вынося тут же приговора: это безумие, это разумно, это хорошо, это плохо. А почему? Разве вы пытаетесь понять, почему совершен тот или иной поступок? Что вызвало его, что сделало его неизбежным? Если бы вы знали это, вы бы не судили так поспешно».

•

Он очень гордился, говоря, что на бюсте его любимой женщины можно расставлять рюмки и закуску.

•

Жюль Ренар, один из моих любимых писателей, в дневнике: «Каждая строчка в записной книжке должна быть сочной, как земляника».

Должна... Но сушеные ягоды тоже хороши к чаю.

•

Национальная черта эстонцев – ритмичность. Если повар варит вкусный суп, то он будет делать такой же до пенсии. Русский бы убавил масла, потом мяса, в общем, творил бы. А тут методизм в генах.

•

Внедрили серию таблеток для докладчиков: «Для задушевности», «Для величия», «Для гнева». На докладе, запивая таблетки водой, докладчик их перепутал. Но никто этого даже не заметил.

•

Начало рассказа. Я вошел в купе и сразу понял, что мне как всегда не повезло. Две толстых деревенских бабы, чавкая, ели, запивая пивом из одной бутылки. А ведь кто-то оказывается в купе с молодой актрисой.

•

Наш стиль – наплевантизм.

•

Молодого Хемингуэя взяли работать репортером в газету по благу. Об этом радостно сообщает советская его биография.

•

В Вайвари, на Рижском взморье, по соседству со мной жила писательница, похожая на домработницу, и у нее была домработница, похожая на писательницу. Гости проходили мимо писательницы к домработнице и говорили:

– Какое счастье, что вижу, наконец, известного автора собственными глазами!

– Не видите! – отрезала домработница указывая глазами на писательницу.

Некоторые визитеры сопротивлялись, начинали спорить, думали, что их разыгрывают. Вскоре домработницу уволили.

•

Один пишет – говорят, читать можно, а печатать нельзя. Но этот один лучше того, которого печатать можно, а читать невозможно.

•

Константин Паустовский довольно спокойно, с улыбкой рассказывал, что он пишет свободно, без условностей. Он сказал: «Я открываю все шлюзы». Но потом, правда, он занимался самоцензурой, эти шлюзы закрывая, вот что печально.

•

Труд облагораживает человека.

•

Искусство писателя, говорил Чехов, не в том, чтобы решать вопросы, а в том, чтобы их правильно ставить.

•

Настоящая литература рождается из настоящего скепсиса. Скепсис – это оптимизм циников.

•

Качество в литературе может превратиться в количество. Количество в качество – никогда.

•

Если у писателя нет биографии, ее надо придумать. Писатель без биографии все равно, что писатель без книг.

•

Селинджер: «Надо писать так, чтобы тебя прочитали как можно больше старых библиотекарей».

•

В Переделкине поздней весной выпал пышный снег. Мы стояли на крыльце с писателем-волжанином, украшенным белой шкиперской бородкой. Незнакомый человек подошел и сказал:
– Красиво как! Жаль, что всё уже описано. И как-то стыдно братья: напишешь хуже.

– Человек неповторим, – возразил волжанин. – Другой писатель напишет не хуже, а иначе. Как он чувствует. Если только вспоминаешь, как было у других, ты читатель. И если стесняешься – тоже не писатель.

•

Джон Чивер: «Ее тощая, длинная физиономия напоминала унылый подъезд захудалой гостиницы в ненастный день».

•
Есть писатели, а есть описатели.

•
Познакомился с человеком с польского радио. Он переводчик письменной речи на устную. Меняет порядок слов, вставляет разговорные выражения и пр. Но сам говорит по-русски строгим письменным языком.

•
Подход к микророману: жанр, промежуточный между рассказом и повестью, миниповесть, когда события шире рассказа, но короче повести.

•
Достоевский писал в 1861 году: «Все искусство состоит в известной доле преувеличения, с тем, однако ж, чтобы не переходить известных границ».

•
Важен вопрос, когда пишется. Если по горячим следам, то много живых, которые не простят ни одной детали. Если история, то можно домысливать, как А.К.Толстой в «Федоре Иоанновиче». Вымышленные исторические лица, целые коллизии и т.д.

•
Опять Жюль Ренар: «Я люблю людей больше или меньше в зависимости от того, больше или меньше дают они материала для записных книжек».

•
Зощенко пародировал Шкловского: «Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше».

•
Писателю нужен свой камертон. Начинаешь читать вещь, она кажется ничьей. Но вот автор взял в руки камертон, ударил им о край стола – и уже ясно, что вещь не ничья, а только его. Если проза без камертона – она плохая или сырая, и над ней надо еще работать.

•
Владимир Федорович Одоевский написал «Городок в табакерке» – страшный срез человеческого общества с бюрократами и рабами, в общем, почище любой утопии. А Виссарион Григорьевич Белинский, большой социальный мыслитель, сказал об этой вещи, что «через нее дети поймут жизнь машины».

•

Во дворе попался навстречу Шкловский, заулыбался и прошепелявил:

– Мне сегодня очень хорошо писалось. Даже если бы меня привязали за ногу к потолку, я бы все равно писал.

•

Это снова Ренар: «На минуту представьте себе, что он умер, и вы увидите, как он талантлив».

•

Лев Толстой в работе своей видел три этапа. Первый: поставить слово «конец». Второй: поставить на место мысли. Третий: поставить абзацы.

•

Иннокентий Анненский о воображении: «Из похорон элегии не выкроишь. Надо еще вообразить и пожалеть себя в гробу».

•

В соавторстве можно делать вещи, в которых надо много придумывать, спорить и мало писать: эстраду, пьесу, песню. Но роман – бррр!

•

Чехов по многим параметрам – французский новеллист. Многие вышли из Чехова и еще будут выходить. Создается неочеховское направление. Мне встретился молодой, приткий автор со связями, который просто переписывает рассказы Чехова, добавляя современную атрибутику, и это печатают толстые журналы. Да здравствует гибкий соцреализм!

•

Опять Виктор Шкловский: «Тут книжка начала писать себя сама».

•

Эккерман записал слова Гете о творчестве. «Мы точно женщины: когда они рожают, то дают зарок не подходить к мужчине; и раньше, чем заметишь, глянь, они уже снова беременны».

•

Искусство делится на совестливое и бессовестное. Бессовестное искусство можно категорически считать неискусством и успокоиться, уверившись, что только совестливое искусство

– подлинное. Но то, другое, все равно существует, и остается решать, какое делаешь ты сам.

•

Этот поэт пишет стихи только потому, что не может найти женщину, которая бы его удовлетворяла.

•

«Талант – это подробность», – сказал Тургенев. Подробности умеют видеть и записывать многие. Писатель составляет из подробностей пасьянс, потом собирает все карты в одну колоду. А в чем же талант? Не в общем ли и целом?

•

Литература – есть умелый выбор дефектов из жизни общества.

•

Хороший писатель отличается от других людей тем, что он умеет называть вещи своими именами.

•

Набоков: «От стихов она требовала только ямшикнуго-нилошадейности».

•

Джон Чивер сперва считал, что роман – это свидетельство неторопливой жизни девятнадцатого века и сейчас устал. Чивер долго писал рассказы, а потом пришел к группе связанных рассказов-глав, которые сперва печатал отдельно. А потом получились «Хроника семейства Уопшотов» и «Скандал».

•

Роберт Конквест: «Не следует впадать в другую крайность и отрицать какие бы то ни было достоинства в людях, чьи действия бывали сомнительными. Это означало бы руководствоваться столь же узкими критериями, какие установили для себя сталинисты».

•

Русский спрашивает американца:

– Каково ваше мнение?

– Мне нравится...

Русский немедленно начинает спорить, потому что хотел услышать от другого свое мнение, а его мнение должно быть обязательно противоположным.

•
Злое письмо в редакцию: «Больше я вам не читатель!»

•
Старый писатель молодому: «Это плохо, это отложи. Это ты напечатаешь, когда у тебя будет имя».

•
Едва ли не самый большой разрыв был в советской литературе между тем, как писатель понимал, о чем писать, и как он писал на деле.

•
Набоков в «Даре»: «Вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть современников, а ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки, не говоря уже о том, что малейший поворот моды может изъять их из употребления... Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного, будущего, – который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени».

•
Бабель: «Никакое железо не может войти в сердце человеческое так леденяще, как точка, поставленная вовремя». Он заимствовал эту мысль у Флобера: «Точка, поставленная вовремя, входит в тело человека глубже, чем остро заточенный нож».

•
Древний китайский мудрец: «Если в двенадцати фразах ты не можешь ясно выразить свою мысль, оставь ее».

1970-87, Москва.

БЫЛИНКИ

Былины – это, как всем давно известно, легенды про старинный быт и про древних богатырей. А былинки – это истории про современный быт и про новых богатырей. Некий слегка модернизированный фольклор нашей прекрасной эпохи.

Обмен

Меняю квартиру из семи комнат на Тверской на квартиру из семи комнат в Манхеттене. Все шестеро соседней на обмен согласны.

Просчитались

Мирно спали пассажиры поезда номер 35, когда бандит проник в кабину машиниста. Угрожая оружием, он замедлил ход поезда, а другой бандит бежал впереди и укладывал рельсы в сторону границы.

Но рельс не хватило. Просчитались!

Ни года без отдыха!

Юбилейную, десятую сваю строители решили забить в фундамент Дворца бракосочетаний и разводов в этом году. Всего в фундаменте 3650 свай.

Сплетня

К вахтеру Неваниной вошел начальник, и она отдала ему честь.

Гигиена прежде всего

Перед распятием на кресте необходимо смазывать гвозди йодом.

Ефрейтор проводит политчас

– Мы здесь сейчас мирно живем, а в этот момент в Америке Кукрыниксы негров линчуют!

С приветом

Бывший колхозник Бурундуков из села Новая жизнь нашел за околицей баллистическую ракету. Теперь, пролетая над Азией, Африкой и Америкой, Бурундуков посылает приветствия борющимся народам.

Ценная находка

Депутат Петушков на углу Дерibasовской потерял сознание. Он был удивлен, когда неожиданно нашел его в вырезанном вите.

Попытка — не пытка

Гражданин Т. сделал попытку оскорбить гражданина К. словом. После этого гражданин К. сделал попытку оскорбить гражданина Т. действием. Обе попытки увенчались успехом.

Сервис

Новый вид услуг ввели в сбербанках города Карагинска: с любого вклада может получить деньги любой вкладчик.

Конверсия

Конструктор К.Г.Бешников предложил использовать атомные бомбы для уничтожения комаров.

Бездушие

В гостиницах города Сомовска нет душа.

Заявление

Прошу перевести меня из внутренней эмиграции в наружную.

Песня входит в быт

Умелец Шутейко сделал летающий велосипед, на котором можно промчаться сквозь тайгу, пургу и черный дым, а также через реки, горы и границы. Изобретателя поздравил главврач психбольницы.

К сведению покупателей

Магазин закрыт на беременность продавца.

В мире агротехники

Известно, что растения реагируют на музыку. Агроном Яшкин доказал недавно, что они внимают устному слову. Призыв начальства увеличить урожай, усиленный в поле репродуктором, привел к желаемому результату.

Объявление

Меняю одни убеждения на два в разных партиях.

Объявление

Меняю. Возможны варианты.

Люди с сильной волей

Усилием воли жарит яичницу повар Сердяков. Масло остается.

Для вас, туристы

В далеком походе и загородной прогулке незаменима циркулярная пила, выпускаемая оборонкой в результате конверсии. Весит пила 1240 килограммов.

Пятиэтажную палатку освоила фабрика солдатских шинелей. Если палатку положить набок, на всех пяти этажах можно спать.

Приказ

За систематические опоздания на концерты тенора Сидорекина И.И. понизить на должность баритона.

Внимание!

Завтра два юбилея: 800 миллионов лет Каспийскому морю и 750 миллионов лет реке Волге. Деньги на складчину сдавать секретарю Бунькиной.

Пенсионер ведет поиск

Закон сохранения материи просуществовал лишь 250 лет. Самогонный аппарат пенсионера Штуцера не требует продуктов, однако из него исправно выползает зеленый змий.

Только для писателей

Ателье творческих услуг жилкооператива «Беллетрист» принимает заказы на сочинение стихов, романов и другой литпродукции на бумаге ателье и заказчика. На заказанные произведения изготавливаются рецензии, положительные или отрицательные по желанию клиента.

Хобби экономиста

Старший экономист Очник научился читать газеты вверх ногами. Теперь на чтение газеты у него уходит не 20 минут, а четыре часа. Так умелец решил проблему культурного досуга.

Свидетельство

ЗАГС удостоверяет, что гражданка Прокофьева Ф.А. действительно является гражданину Абрамовичу Н.И. двоюродным сыном.

Выдано для представления в ОВИР.

Товарищи клиенты!

После отстоя пены требуйте перевеса колбасы.

Происшествия

Токарь Федорук случайно вошел в женский душ, где мылась чертежница Иванова. Иванова вышла в декретный отпуск.

Волшебство перевода

Известный переводчик-полиглот Александр Вертеп обнаружил, что при переводе одного стихотворения с русского на финский, с финского на испанский, с испанского на хинди, а с хинди снова на русский Пушкину, Лермонтову и Блоку удастся достичь уровня Андрея Вознесенского.

Объявление в столовой города Сыктывкара

Пальцы и яйца в соль не мочать.

Объявление на пляже

Кто потерял протез нижней челюсти, обращаться по адресу, где я сдала его в полицию.

Объявление на вокзале

Вниманию пассажиров! С 31 августа контактная сеть будет под напряжением 3300 вольт.

Граждане пассажиры!

На остановке автобуса картошку сажать запрещается.

Плакат

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

«Аэрофлот».

Объявление в Доме творчества в Коктебеле

Сегодня помывка писателей производится не будет в связи с отсутствием воды.

Объявление в Доме творчества композиторов в Репине

Композиторы, к которым приезжают соавторы с ночевкой, должны сообщить об этом администрации для выдачи чистого белья.¹

В мире шахмат

На мат противника Петров ответил тройным матом.

Кампания

Превратим Карфаген в образцовый город!

¹ Эту надпись принес и подарил мне Д.Д.Шостакович на следующий день после того, как я ему прочитал несколько объявлений из своей записной книжки. Ту зиму я жил в Комарове, в Доме творчества писателей, и Шостакович иногда приходил к нам обедать из Дома творчества композиторов.

Для тех, кто дома

В случае пожара не забудьте сообщить адрес пожара.

Жалоба врачу

– Я докатился до того, что, глядя на светофор, не имею ни единого процента цветоощущений.

Приказ

Переименовать Институт культуры в Институт культуры и отдыха.

Для вас, деловые люди

Оригинальные часы выпустил Чистопольский завод: их минутная стрелка ходит против часовой.

Полезный совет

Кофе становится вкуснее, если во время варки его помешивать по направлению вращения нашей Галактики.

Сказка

Жил debil Иван Царевич...

1969-79, Москва.

ЧТО ГОВОРИЛА ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДОЧКА ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

– Папа у нас стихотворечник. Но лучше бы придумать такую машинку – стихосочинялку. Тогда бы он со мной играл.

•
– Молоко такое длинное, никак выпить не могу.

•
– И почему это папа спит с моей мамой? Пусть спит со своей, а я со своей буду.

•
После детского сада.

– Мы целый день веселились, ходили вокруг крематория и на братскую могилу.

•
– Пап, кто такой стерв?

– Не стерв, а стерва.

– Нет, он был стерв!

– Откуда ты это слово взяла? Это же ругательство.

– Как падл, да?

•
Получив подарок:

– Папа, ты мой потребитель.

•
Читает плакат: «Золотом буквы на солнце горят, да здравствует дружба советских ребят!»

– Это же бумага. А где золото?

•
– Когда я вырасту большая, буду белкой. Вы будете ходить внизу, а я прыгать по веткам и орешки есть.

•
– Вам не понять, как это приятно, когда в гости приходит собака!

•
Увидела на улице портреты вождей.

– А Маршак почему не висит?

•
На Пушкинской площади.

– Вот Пушкин. Его написал Заходер.

•
Летом возле речки.

– Сегодня вода на целый килограмм теплее.

•
– Зачем меня называли Леной? Лучше бы назвали Ирочкой, тогда я была бы лучше.

– Почему?

– А соседская Ирочка – очень хорошая девочка.

•
– Черепах голову прячет в живот, а черепаха в животу.

•
– Хотя Витя молодой, он мой старый друг.

•
После детского сада.

– Это буква Миша, это Оля, а это буква Кукла.

– А ты с какой буквы начинаешься?

– Я с буквы Ленин.

•
Умер мой отец. О похоронах решили ей не говорить. Но она через бабушку каждый день передавала ему приветы в больницу, и раз та сказала: "Дедушка умер".

Ленка зарыдала. Обняла бабушку за шею, и обе плакали. Успокоившись, Ленка спросила:

– А папа знает?

•
Пришла в гости.

– Вам везет: у вас краны поют.

•
Обнимая отца:

– Когда у меня плохое настроение, я тебя не люблю, а когда хорошее, очень люблю. Только почему у тебя уши холодные?

•
– Поиграй мне на гитаре.

– Мне писать нужно.

– Все пишешь, пишешь, а толку что?

•
Поет песню про солдата.

– Хорошую я песню придумала – солдатскую? Сейчас придумаю еще солдачее.

•
Про мальчика, с которым играла:

– Это мой друг.

•
Издали видит каждую церковь и сообщает:

– Вон кремлевская стена!

•
– Лена, эти грибы есть нельзя. От них можно умереть.

– А где мой дедушка?

– Умер.

– Поел таких грибов...

•
– Подумай! Для чего у тебя головка?

– Для шапочки.

•
Играет в доктора.

– Кукла умирает, и я ей помогаю.

•
– Папа, ты куда идешь?

– В туалет.

– Надо говорить «до свиданья». Если, конечно, ты вежливый.

•
– Бабушка, я знаю одну тайну: взрослые тоже бывают дураки.

– Это тебе папа сказал?

– Конечно! Он же взрослый.

•
После выступления по телевизору жонглера.

– Ты чего плачешь?

– А я бублики ртом ловить не умею.

•

Долго называла карандаш «Мяу», потому что я рисовал им кошку.

•

Слушая по радио последние известия:

– В Англии живут англичаны, в Италии – итальяны, в Индии – индиоты, в Америке – америсты, а в России – россисты.

•

Новый год. Открытка Лене от Деда Мороза.

– Это же папа. Дед Мороз написал бы аккуратнее.

•

Подарили цветные карандаши.

– Ну, конечно, папа ходил в магазин – там карандашей нет. А Дед Мороз узнал, и теперь вам деньги тратить не надо.

•

– В зоопарке плохо.

– Что тебе не понравилось?

– Слон.

– Почему?

– Он пахнет майонезом.

•

Обедаем. Ленка говорит:

– Съела холодец, окрошку, котлету с рисом, напиток, клубнику, и теперь у меня джинсы не спадают.

•

Грустно, сама с собой:

– Сначала меня воспитывали туда, потом сюда. Все равно я после сама воспитаюсь обратно.

•

Скороговорку повторяет целый день:

– Карл Маркс у Клары Цеткин украл кораллы.

•

Бабушке по секрету:

– А папа когда-то знаешь кем был? Мальчиком!

•

В день рождения смотрели кино «Козленок, который считал до десяти».

– Все-таки рано мне исполняется пять лет. Я еще считать до десяти не умею и даже не школьница.

•

– Папочка, я тебя очень, конечно, люблю. Но все-таки лучше бы ты был мамой. У меня было бы две мамы и обе бритые.

1966-69, Москва.

ЧТО ВИДЕЛ И ГОВОРИЛ ПИСАТЕЛЬСКИЙ СЫН ОТ ДВУХ ДО ВОСЬМИ

Разговор с дедушкой наедине: дед-а-дед.

•

Девиз учителя: каждой твари по паре.

•

Праздник: Октябрьская гадовщина.

•

Дорожный знак: «Вправо только для обкома партии».

•

Уголовный кодекс: статъистика.

•

Новое имя: Терянтый.

•

Новый псевдоним: Папин-Сибиряк.

•

Новая советская наука: имдохренология.

•

Наша логика: алкологика.

•

Баня: гололюдица.

•

Любитель мыться: мыломан.

•

Друг в бане: мылый друг.

•
Толстяк: великотушный человек.

•
Из Летописи: жена черниговского князя Изяслава сказала:
«Изя, возьми Киев!»

•
Лоторея во время голода: денежно-пищевая лоторея.

•
Народная песня об отказниках: «Но нельзя рябине к дубу перебраться».

•
Надпись на дверях ОВИРа: «Добро пожаловать в наш фигвам».

•
Шотландский классик: Мак-Коган.

•
Из инструкции: «Стоны пылесоса как живого существа не допускаются».

•
Лубянка по-английски: Чекаго.

•
Оговорка учительницы: оберштурбманфюрер КПСС.

•
Объявление: «Выгул собак запрещен из-за как».

•
Объявление: «Запрещается водить собак на чердак со всеми вытекающими последствиями».

•
Объявление: «Требуется боец охраны, имеющий не менее двух нижних конечностей».

•
У посла было послиное лицо.

•
Ругаться дипло-матом.

•
Мать детям: «Кашить подано!»

•
«Во-кал!» – сказала тенору лаборантка в поликлинике.

•
Болтун: мели-оратор.

•
Вероятность отравления: вероядность.

•
Из газеты: ударный коллектив боксеров.

•
Новый русский коньяк: «Хамю».

•
Анонс ТВ: Вместо передачи «Камера смотрит в мир» состоится передача «Из камеры смотрят в мир».

•
Гуд-баюшки-баю!

1973-78, Москва.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЭССЕ, ФЕЛЬЕТОНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

Я РОДИЛСЯ В ОЧЕРЕДИ. Написано в Москве по-английски и опубликовано в «Вашингтон пост», 15 июля 1979. Затем публиковалось в газетах «Сан-Франциско кроникл», «Сент-Луис пост диспетч», «Лонг-Айленд ньюсдэй», в журнале «Католик дайджест», «Экспрессен» (Стокгольм) и др., всего в переводах в двухстах других изданиях разных стран. По-русски впервые в переводе с английского: «Новое русское слово», 31 октября 1979.

ЛИКВИДАЦИЯ ПИСАТЕЛЯ №8552. «Вашингтон пост», 8 ноября 1979. Радио «Голос Америки», ноябрь, 1979.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ. Написано в Габлице, Австрия. «Новое русское слово», 13 октября 1987. Газета писала: «Писатель Юрий Дружников, которого советские власти лишили возможности печататься десять лет назад, в конце сентября покинул Москву. Это его первые страницы, написанные в маленьком пансионе для беженцев «Венский лес» сразу после того, как автор очутился на Западе». Перепечатано: «New Life», San Francisco, №99, 1988.

ЩЕЛЬ В ПРИОТКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ. «Новое русское слово», 12 июля 1988.

ЧУДЕСА ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ, ИЛИ ПАРТИЙНАЯ ТОПОНИМИКА. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 8 ноября 1988.

ЦЕНА ТОЧКИ. «Новое русское слово», 2 ноября 1988.

ФЕЛЬДФЕБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ. «Панорама», №440, 1989.

РОДИМЫЕ ПЯТНА, ИЛИ МОСКОВИТЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ. «Панорама», Лос-Анджелес, №433, 1989. Перепечатано в сокращении: «Литературная

газета», Москва, 29 апреля 1992 года под названием «Как открывает нас Америка».

БЮРО ПОГОДЫ ИМЕНИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА. «Новое русское слово», 9 января 1990.

АД, РАЙ И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА. «Вестник», Балтимор, №2, 1992. «Московский клуб», №2, 1993.

БЕГОМ ИЗ ПАРТИИ. Радио «Свобода», Мюнхен, 1990.

ВЛАСТЬ И СЛОВО. «Новое русское слово», 9 июля 1990.

ЛЕТОПИСЕЦ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ. «Новое русское слово», 30 августа 1990.

ТУСОВКА ДЛЯ НИГИЛИСТОВ. «Новое русское слово», 21 января 1992.

ХОРОВоды ВОКРУГ МИФОВ. «Новое русское слово», 3 апреля 1992.

ПРЕДПОСЛЕДНИЕ МОДЫ ВЕКА. «Вестник», 7 апреля 1992. Перепечатано с сокращениями: «Век», Москва, №5, 1992.

ТЕХАССКИЕ ЗАСКОКИ. Из книги «Я родился в очереди», Hermitage, Tenafly, 1995.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ. «Новое русское слово», 30 октября 1992.

ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ ПУБЛИЦИСТА. «Новое русское слово», 8 июля 1992; М. Поповский. На другой стороне планеты. Рассказы о российской эмиграции. «Побережье», Филадельфия, 1994. (Вместо предисловия).

БЕЗ НАМОРДНИКА, БЕЗ ПОВОДКА, ДАЖЕ БЕЗ ОШЕЙНИКА. «Литературная газета», 21 апреля 1993.

ПАРАДОКСЫ КАМПУСА. «Литературная газета», 29 июня 1994 (в сокращении). Полностью в «Панораме», 17 и 24 августа 1994.

КАК МЕНЯ РЕДАКТИРОВАЛИ. Из книги «Я родился в очереди», 1995.

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ И ПОСЛЕ. «Новое русское слово», 16 июня 1995; «Русская мысль», №4083, 1995; «Пятница», Иерусалим, 20 июля 1995; «Огонек», Москва, №29, 1995.

МЕСТО ДЛЯ ГОГОЛЯ. «Новое русское слово», 12 июля 1995.

АКТИВИСТЫ ТЕАТРА АБСУРДА. «Новое русское слово», 24 ноября 1995; «Огонек», Москва, №2, 1997.

СВЕТОФОР ПО-МОСКОВСКИ. «Новое русское слово», 15 марта 1996; В переводе: A Russian Odyssey. *The Sacramento Bee*, June 23, 1996.

ИНТЕРВЬЮ, ДИАЛОГИ

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ В АМЕРИКЕ. «Панорама», №582, 1992; «Московские ведомости», №38–39, 1992.

ОТ «БЕСОВ» ДО «АНГЕЛОВ». Опубликовано в «Новом русском слове», 2 октября 1992.

МИФ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ. «Панорама», №673, 1993.

ЛИТЕРАТУРА В ЭМИГРАЦИИ: ИЗ ВЧЕРА В ЗАВТРА. «Вестник», №6, 1995.

ДВА ПОЛЮСА НАШЕЙ ИСТОРИИ. Радио «Голос Америки», ноябрь, 1994.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ: КУРИЦА, КОТОРАЯ НЕСЕТ ЯЙЦА. «Иностранец», Москва, №2, 1996.

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПУШКИНЫМ И ПАВЛИКОМ МОРОЗОВЫМ? «Литературная газета», №36, 1997.

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА, АНКЕТЫ

ПИСЬМО НА СЛУЧАЙ АРЕСТА. Публикуется впервые.

ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЯМ. «Новое русское слово», 28 мая 1987.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ». Опубликовано в №108, 1990.

КУПЛЮ ПАМЯТНИК ПАВЛИКУ МОРОЗОВУ. Публикуется впервые.

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ «НОВОГО РУССКОГО СЛОВА». Полностью публикуются впервые.

ЗАМЕТКИ

ЗАПИСКИ НА КЛОЧКАХ. Частично в книге «Я родился в очереди», 1995.

БЫЛИНКИ. Частично в «Литературной газете», 5 апреля 1995.

ЧТО ГОВОРИЛА ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДОЧКА ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ. «Вестник», №17, 1994; «Литературная газета», 19 октября 1994.

ЧТО ВИДЕЛ И ГОВОРИЛ ПИСАТЕЛЬСКИЙ СЫН ОТ ДВУХ ДО ВОСЬМИ. «Литературная газета», 5 сентября 1997.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

(Первая цифра указывает том, вторая — страницу.)

- Ад, рай и колючая проволока — 6, 85
Активисты театра абсурда — 6, 227
Александр Куприн в дегте и патоке — 4, 190
Ангелы на кончике иглы — 2, 7
«А у вас есть квитанция?» — 5, 256
- Бабочки — 1, 556
Бегом из партии — 6, 97
Без намордника, без поводка, даже без ошейника — 6, 184
Былинки — 6, 375
Бюро погоды имени Павлика Морозова — 6, 71
- Вверх и вниз — 1, 337
В гостях у Сталина без его приглашения — 4, 210
В зените славы и после — 6, 214
Виза в позавчера — 1, 235
Владан — 1, 348
Власть и слово — 6, 101
Впереди планеты всей — 6, 165
Вторая жизнь: курица, которая несет яйца — 6, 298
- Генка, флора и фауна — 5, 293

Два полюса нашей истории — 6, 296
Два рояля в одной комнате — 1, 408
Дверь — 5, 241
Дело о шляпе — 1, 438
Деньги круглые — 1, 113
Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова — 4, 299
Допрос — 1, 504
Досье беглеца (Хроника вторая) — 3, 207

Есть ли связь между Пушкиным и Павликом
Морозовым? — 6, 311

Женщина и мужчина — 1, 533
Жизнь и житие публициста — 6, 175

Зайцемобиль — 5, 286
Записки на клочках — 6, 343
Заходи, дорогой! — 1, 492
Земной шар на нитке — 1, 327

Изгнанник самовольный (Хроника первая) — 3, 7

Как избавиться от клички — 1, 431
Как меня редактировали — 6, 204
Каникулы по-человечески — 5, 7
Квартира №1 — 1, 365
Когда исполняется 176 — 1, 515
Конец командировки — 1, 75
Конкурс женихов — 1, 526
Коробка гуаши — 1, 267
Коровье счастье — 1, 452
Кровать «Желание» — 1, 547
Куплю памятник Павлику Морозову — 6, 333

Летописец третьей волны — 6, 111
Литература в эмиграции: из вчера в завтра — 6, 287
Лишний персонаж в водевиле — 1, 161
Ликвидация писателя №8552 — 6, 15

Лучезарные стихи — 1, 467
Любовь жива намеками — 1, 535

Медовый месяц у прабабушки, или Приключения
генацвале из Сакраменто — 1, 204

Место для Гоголя — 6, 221

Меченый лещ — 5, 300

Миф, который всегда с нами — 6, 278

Могила поэта — 1, 498

Мой первый читатель — 1, 183

Моей знакомой восьмого марта — 1, 545

Мой приятель книгу написал — 1, 524

На макушке березы — 1, 530

Не выше четверки! — 5, 266

Нельзя любить из чувства благодарности — 1, 543

Нет велосипеда, есть велосипед — 5, 322

Неудачники — 1, 389

Нефёдов и Нефёдова — 1, 315

Ночь с 11 на 12 марта 1981 года — 1, 542

Необычайные приключения Линейкина-сына в калошах
без зонтика — 5, 163

Няня Пушкина в венчике из роз — 4, 9

Обойдемся без Джульетты — 5, 315

Одиннадцать заповедей — 1, 549

Опасные шутки Альбера Робиды — 4, 137

От «Бесов» до «Ангелов» — 6, 259

Ответы на анкету «Нового русского слова» — 6, 336

Ответы на анкету журнала «Время и мы» — 6, 330

Отец на час — 5, 405

Парадоксы кампуса — 6, 189

Партия в шахматы — 1, 538

Перо и штык — 1, 550

Письмо на случай ареста — 6, 324

Письмо советским писателям — 6, 327

Поплавок — 1, 529

- Последний урок — 1, 93
Пощечина — 1, 418
Предпоследние моды века — 6, 135
Преступление билетерши — 1, 303
Притча о двуногих — 1, 472
Проводы — 1, 531
Прости меня — 1, 539
Прощание с Москвой — 6, 22
Птицы — 1, 523
Пусть говорят, мол, любят ни за что — 1, 536
Пушкин, Сталин и другие поэты — 4, 112
- Размышление о ценности жизни — 1, 540
Робинзон Гошка — 1, 485
Рог избылиия — 1, 546
Родимые пятна, или Московиты на диком Западе — 6, 62
Родная стена — 5, 334
Розовый абажур с трещиной — 1, 52
Русский писатель в Америке — 6, 246
- Светофор по-московски — 6, 235
Семь автобусов и грузовик — 5, 307
Сирень и маэстро — 1, 237
Смерть еще одного поэта — 1, 528
Смерть царя Федора — 1, 31
Сновидения — 1, 555
«Совиньон» — 1, 460
Современная элегия — 1, 544
Солист без скрипки — 1, 250
«С Пушкиным на дружеской ноге» — 4, 89
113-я любовь поэта — 4, 42
Судьба Трифонова — 4, 262
- Таблетки от хулиганства — 5, 249
Таинственные письма — 5, 329
Тайна погоста в Ручьях — 4, 237
Техасские заскоки — 6, 144
Точка «зет» — 1, 537
Требуются кошки — 5, 278

Тридцатое февраля — 1, 137
Тусовка для нигилистов — 6, 117

Узник России (Хроника первая и вторая) — 3, 6
Уроки молчания — 1, 275
Учитель влюбился — 5, 343

Фельдфебели человеческих душ — 6, 54
Фиолетовый луч — 1, 478

Хороводы вокруг мифов — 6, 124
Хромой Дед Мороз — 5, 273

Цена точки — 6, 47

Через век — 1, 551

Что видел и говорил писательский сын от двух до восьми — 6, 387

Что говорила писательская дочка от двух до пяти — 6, 382

Чудеса переименований, или Партийная топонимика — 6, 36

Чужая свадьба — 1, 288

Шлагбаум — 1, 553

Щель в приоткрытом обществе — 6, 29

Я верю в Бога своего — 1, 558

Явная и скрытая жизни Константина Вентцеля — 4, 155

Я родился в очереди — 6, 9.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭССЕ, ФЕЛЬЕТОНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

Я родился в очереди	9
Ликвидация писателя №8552	15
Прощание с Москвой	22
Щель в приоткрытом обществе	29
Чудеса переименований, или Партийная топонимика	36
Цена точки	47
Фельдфебели человеческих душ	54
Родимые пятна, или московиты на диком Западе	62
Бюро погоды имени Павлика Морозова	71
Ад, рай и колючая проволока	85
Бегом из партии	97
Власть и слово	101
Летописец третьей волны	111
Тусовка для нигилистов	117
Хороводы вокруг мифов	124
Предпоследние моды века	135
Техасские заскоки	144
Впереди планеты всей	165
Жизнь и житие публициста	175
Без намордника, без поводка, даже без ошейника	184
Парадоксы кампуса	189
Как меня редактировали	204
В зените славы и после	214

Место для Гоголя	221
Активисты театра абсурда	227
Светофор по-московски	235

ИНТЕРВЬЮ, ДИАЛОГИ

Русский писатель в Америке. <i>Интервью М.Зараеву («Огонек»)</i>	246
От «Бесов» до «Ангелов». <i>Диалог с критиком В.Свирским</i>	259
Миф, который всегда с нами. <i>Диалог с критиком В.Свирским</i>	278
Литература в эмиграции: из вчера в завтра. <i>Ответы на вопросы Вольфганга Казака</i>	287
Два полюса нашей истории. <i>Интервью «Голосу Америки»</i>	296
Вторая жизнь: курица, которая несет яйца. <i>Интервью Ж.Васильевой («Иностранец»)</i>	298
Есть ли связь между Пушкиным и Павликом Морозовым? <i>Беседа с П.Басинским («Литературная газета»)</i>	311

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА, АНКЕТЫ

Письмо на случай ареста	324
Письмо советским писателям	327
Ответы на анкету журнала «Время и мы».	330
Куплю памятник Павлику Морозову.	333
Ответы на анкету «Нового русского слова»	336

ЗАМЕТКИ

Записки на клочках	343
Былинки	375
Что говорила писательская дочка от двух до пяти	382
Что видел и говорил писательский сын от двух до восьми	387

ПРИМЕЧАНИЯ	390
Алфавитный указатель к собранию сочинений в шести томах	393